

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

2013

47

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН
КАРИНЭ АРУТЮНОВА
ХАМУТАЛЬ БАР-ЙОСЕФ
НАУМ БАСОВСКИЙ
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ
ЮЛИЯ ВИНЕР
ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ
МИХАИЛ ГОРЕЛИК
ЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ИВАНТЕР
ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ
КОНСТАНТИН КИКОИН
КЕРЕН КЛИМОВСКИ
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
ХАВА КОРЗАКОВА
ВАДИМ ЛЕВИН
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ГЕННАДИЙ МАЛКИН
МАРИНА МЕЛАМЕД
ЕВГЕНИЙ МИНИН
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР
МИХАИЛ ПОЛЬСКИЙ
ТАТЬЯНА СОКОЛОВСКАЯ
ВЛАДИМИР ХАНАН
ВЕЛВЛ ЧЕРНИН
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН
АЛЛА ШИРОНИНА
И ДРУГИЕ

N47



JERUSALEM LITERARY REVIEW

יְרוּשָׁלַיִם לִטֶּרַטוּרָה

2013' 47

*От всей души поздравляем со славными датами
наших замечательных авторов –*

Асю Веслер,

Тамару Дубину,

Арнольда Каштанова,

Вадима Левина,

Петра Межурицкого,

Михаила Хейфеца!

Многая лета! Многая книги!

Редколлегия «Иерусалимского журнала»

10024

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

Иерусалимский журнал, № 47, 2013

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор), Зезв Гейзель, Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Виктория Райхер, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: Евгений Минин

Художник: Сусанна Черноброва; **Веб-дизайн:** Карина Пастернак

Корректура: Бина Смехова, Галина Культиасова, Люба Лейбзон

Организационное и техническое обеспечение номера: Михаил Басин, Елена Берлянд, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Владимир Попов, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2013. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Владимир Ханан
ЕСЛИ ЗАБУДУ...

* * *

Пути

Поедем в Царское Село!

О. Мандельштам

Поехать, что ли, в Царское Село,
Пока туда пути не замело
Сухой листвой, серебряным туманом,
Набором поэтических цитат –
Не то чтоб искажающими взгляд,
Но, так сказать, чреватými обманом

Вполне невинным: например, легко
Июньской белой ночи молоко,
Грот, Эрмитаж, аллеи и куртины
Плюс выше обозначенный туман
Оформить как лирический роман
(Земную жизнь пройдя до половины),

В котором автор волен выбирать
Меж правдой и возможностью приврать,
Однако же, к читательской досаде,
Он, больше славы истину любя,
Не станет приукрашивать себя
Красивой позы или пользы ради.

Кривить душой не стану. Автор был
Застенчивым и скромным, но любил
Не без взаимности. Деталей груды,
Пусть даже неприличных, сохраню
И поцелуй в кустах не подменю
Катаньем в лодке по Большому пруду.

Мы можем увеличить во сто крат
Сентябрьский дождь, октябрьский листопад,
Помножив их на долгую разлуку,
И всё же им не скрыть от взгляда то,
Как на моём расстеленном пальто
Мы познавали взрослую науку.

Без ЗАГСов и помолвок. Не беда,
Лишь только это было б навсегда,
Надёжней и верней, чем вклад в сберкассе,
Чем в лотерею призовой билет,
А было нам тогда семнадцать лет,
И были мы ещё в десятом классе.

Конечно – едем в Царское Село!
Уже в Иерусалиме рассвело,
Проснулись люди и уснули боги
Воспоминаний и тоски. Ну что ж –
Жизнь просит продолженья. Ты идёшь...
Идёшь – и вдруг застынешь на пороге.

И в памяти мгновенно оживут
Осенний парк, заросший ряской пруд,
И поцелуев морок постепенный,
И юношеской страсти неуют –
Там было всё, о чём я вспомнил тут...

Но это было в той, другой вселенной,
Где нас забыли и уже не ждут.

июль 2012

* * *

Если сможешь представить – представь себе эту беду:
Ветошь старого тела, толпу у небесного склада
Или как через Волгу ходил по сиротскому льду,
Задыхаясь от коклюша, – аж до ворот Волголага.
Рядом с хмурым татаринком в красной резине галош,
Мужиком на подшипниках в сказочном кресле военном
И Тарзана с Чапаем представь сквозь тотальную ложь
Кинофильмов и книжек – взросленьем моим постепенным.

Если сможешь отметить – отметь каждодневный рояль,
Глинку, Черни с Клименти и рядышком маму на стуле
С офицерским ремнём, что страшнее вредительской пули...
Раз-два-три, раз-два-три... А за пулю хотя бы медаль.
А в придачу к роялю лихой пионерский отряд
Под моим руководством и поиски металлолома,
А помимо всего – написание первого тома
Неизбежных стихов... Неизбежных, тебе говорят!

Если сможешь забыть – позабудь сабантуй у стола,
Где Ильич на простенке, как мог, заменял Богоматерь,
И густой самогонки струя из бутылки текла,
Чьей-то пьяной рукой опрокинутой прямо на скатерть.
А в соседней квартире компанию тёртых ребят,
Где мне в вену вкатили какую-то дрянь из аптеки,
А ещё одноклассницу в свадебной робе до пят
Не с тобой, а с другим и, как в старом романе – навеки.

Если сможешь запомнить –
запомни, как школьник, подряд:
Волжский лёд в полыньях,
царскосельскую зернь листопада,
Новогодних каникул сухой белоснежный наряд
И в дождливую осень
сырые дворы Ленинграда.
Стихотворцев-друзей непризнанием спаянный круг,
Культипоходы в Прибалтику
в общем, как воздух, вагоне
И, как фото на память – кольцо обнимающих рук
Под прощальный гудок
на почти опустевшем перроне.

август 2012

* * *

Из пачки соль на стол просыпав,
Что, как известно, на беду...
Куда вы, Жеглин и Архипов,
Как сговорясь, в одном году?

Земля, песок, щебёнки малость,
Слепая даль из-под руки.
Она к вам тихо подбиралась,
Петля невидимой реки,

Что век за веком, не мелея,
Несёт неспешную волну.
Лицом трагически белея,
В свой срок я тоже утону.

Былого не возненавидя,
Не ссорясь с будущим в быту,
В дешёвом (секонд хенд) прикиде,
С железной фиксою во рту.

Семье и миру став обузой,
Отмерю свой последний шаг
С беспечно-пьяноватой Музой
И книжной пылью на ушах.

Туда, где ждут за поворотом,
Реки перекрывая рёв,
Охапкин, Генделев – и кто там? –
Галибин, Иру, Шишмарёв.

Успеть бы только наглядеться,
Налюбоваться наяву...
Ау, нерадостное детство.
Шальная молодость, ау!

август 2012

* * *

Когда я ночью приходил домой,
Случалось так, что все в квартире спали
Мертвецким сном – и дверь не открывали,
Хоть я шумел, как пьяный домовой.
Я по стене влезал на свой балкон,
Второй этаж не пятый, слава Богу,
И, между кирпичами ставя ногу,
Я без опаски поминал закон
Любителя ранета и наук,
И – он был мой хранитель или градус –
Я цели достигал семье на радость,
Хоть появлением вызывал испуг.

Мой опыт покорителя высот
Во взрослой жизни помогал мне мало,
Хотя утёс, где тучка ночевала,
И соблазнял обилием красот.

Но как-то так случалось на бегу
От финских скал до пламенной Колхиды,
Что плоские преобладали виды,
Я в памяти их крепче берегу.

Ленпетербург, Москва, потом Литва.
Я прорывал границу несвободы,
На что ушли все молодые годы
(И без того у нас шёл год за два,

А то и за три). Как считал Страбон,
Для жизни север вообще не годен.
Тем более когда ты инородец
И, говоря красиво, уязвлён.

Цени, поэт, случайности права!
С попутчицей нечаянную близость...
– Молилась ли ты на ночь? – Не молилась.
Слова, слова... Но только ли слова?
Под стук колёс дивана тонкий скрип,
Взгляд на часы при слабом свете спички,
Локомотивов встречных переклички,
Протяжные, как журавлиный крик.

Прощай... Потом, на даче, с головой
Я погружался в стройный распорядок
Хозяйственных забот, осенних грядок,
Деревьев жёлто-красный разнобой.
Грохочет ливень в жестяном тазу,
В окне сентябрь, и в комнате нежарко.
Бывает в кайф под лёгкий треск огарка
Взгрустнуть, вздохнуть и уронить слезу.

25.02.2013

* * *

В Петергофе однажды, в году девяносто четвёртом,
В ночь под Новый по старому стилю, под водку и грог,
Я случайно увидел на фото, довольно затёртом,
Старика в филактериях, дувшего в выгнутый рог.

«Прадед где-то в Литве, до войны, – объяснился хозяин, –
То ли Каунас, то ли...» Я эти истории знал.
Даже немцы прийти не успели, их местные взяли,
Увели – и убили. Обычный в то время финал.

Этот мёртвый старик дул в шофар, новый год отмечая,
В тёплый месяц тишрей, не похожий ничуть на январь.
Тщётно звал я на помощь семейную память, смущая
Тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь.

Не такая уж длинная, думал я, эта дорога –
От тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времён.
У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога:
Если всё по Закону – зачем этот страшный Закон?

...Был обычный январь. Снегопад барабанил по крышам,
За окном проносились пунктиры автобусных фар.
Город медленно спал,
и единственный звук, что был слышен, –
Мёртвый старый еврей дул в шофар,
дул в шофар,
дул в шофар.

27. 03. 2013

* * *

без обид
а прощается аж до семижды семи
вдоль по старому тексту в довольно плохом переводе
где всего и знакомого
разве *талита куми*
в смысле дева вставай
что конечно противно природе
но имело
как сказано
быть
в наших спорно земных
и небесно уверенных
вроде заката над морем
на полста языков человеческих помимо иных
подтверждённые этим
дословно записанным
горем
дескать встань и иди
а проточная смывает вода
в голубую клоаку
ненужные больше пелены
в неизбежных тисках неожиданного стыда
на глазах онемевшей толпы

до сих пор эти стены
вспоминают и помнят
неровную арку ворот
где проход на машбир
на проспекте Георга
ну а дальше
куда повезёт
и когда повезёт
да и фиг ли ловить
возле этого спорного морга

20.04.2013

* * *

Кутить, геройствовать. Бывать за океаном,
Есть устриц и лангуст, пить скотч и «Абсолют».
Общаться запросто с изгнанником – титаном
Поэзии. Нигде не ждать, когда нальют.

Работать на износ за жалкую зарплату,
Мечтать о пенсии, глотать валокордин,
Не позволять себе сверхплановую трату,
Меж съёмных и чужих скитаться до седин.

Похоже, Время спит, и только мы проходим.
Где детство в Угличе? Рай Царского Села?
Не замедляя шаг, меж двух несхожих родин
Так жизнь моя пройдёт или уже прошла.

Там бедный воздух сер, а здесь горяч и древен.
Там прожил пасынком – и здесь не ко двору.
Засохшей веткой на своём фамильном древе
Я здесь – не важно где: в Хевроне, Беэр-Шеве –
Когда-нибудь умру

Усталым, видимо, и вряд ли слишком смелым,
Уже не издали глядящим за порог,
Где ждёт нас всех она – костлявая, вся в белом,
Всему на свете знающая срок –

Геройству, кутежам, смиряющей работе,
Диковинному сну, где вместе ад и рай,
Хулон, Кацрин, Бат Ям, Хермон в крутом полёте,
Седой Ям а-Тихон* в полуденной дремоте,
Цфат, Иерусалим – и солнце через край!

* Ям а-Тихон (*иврит*) – Средиземное море.

Юлия Винер

*БЫЛОЕ И ВЫДУМКИ**

ШКОЛА

К семи годам я умела читать и писать, поэтому пошла сразу во второй класс.

Самый первый день в школе я не помню. Зато второй запомнила на всю жизнь. Вернее, не день, а утро. Мама разбудила меня словами: «Деточка, вставай, в школу пора», и я вдруг с тоской поняла, что так теперь будет всегда! Каждое утро, каждый день. Как же это я согласилась, как вступила без протеста на этот бесконечный, тяжелый, неприятный, неинтересный путь? А теперь поздно. Ловушка захлопнулась. Вот такое у меня было тогда ощущение.

Это ощущение не оставило меня полностью на протяжении всех десяти моих школьных лет. Скучно, трудно – и не выскочить.

Отец научил меня читать в четыре года. «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?» По этому тексту я училась. Насколько я могу припомнить, чтение, хотя давалось легко, казалось мне занятием бессмысленным. Зачем я буду стараться и разбирать буквы, когда взрослый может прочесть мне это вслух гораздо быстрее и лучше, а я при этом могу спокойно рисовать в воображении все то, что он читает? Если же читать самой, приходится полагаться на картинки, которые совсем не такие, какие должны быть.

В начале войны попав в эвакуированный детский дом-интернат, я не призналась там, что умею читать, хотя иногда почитывала в уборной обрывки газет. Через некоторое время меня, как и всех, начали учить, но я была бестолковой ученицей. Путала буквы, не понимала, как их складывать, приводила в полное отчаяние добрую Анну Зиновьевну Смирнову, которая говорила мне с мягким упреком: «Ты же умная девочка, неужели тебе не хочется научиться читать?» Я упрямо повторяла: «Я не понимаю». А втайне писала печатными буквами письма маме и дедушке.

В школе обнаружилось, что я читаю бегло, и меня спросили, какие книжки я читала. Но я после «Что такое хорошо» никаких книжек сама не читала и читать не хотела. Чтение – это было нечто, что мы делали с папой и ни с кем другим делать было нельзя.

В школе, однако, никто меня не спрашивал, чего я хочу или не хочу. Надо – и будешь читать, вообще, будешь делать, что тебе велят. И я подчинилась. Подсознательно я чувствовала, что меня сжимает в своих клещах нечто огромное, мощное и враждебное, чему сопротивляться безнадежно. Впервые в жизни я до конца поняла, что нахожусь в полной власти взрослых. Разумеется, так оно было и дома – но там меня любили, и в интернате – но там, в за-

* Истории из этого цикла были опубликованы также в «ИЖ» №№ 40, 44, 46.

ведении, наспех организованном Литфондом, порядок был весьма относительный, а потому имелись и лазейки для некоторой свободы, да и добрых людей там было все-таки больше, чем недобрых.

Я не хочу сказать, что в школе было много недобрых людей. Наверняка не больше, чем везде. Но эти люди были полунищие советские учителя, особо темная, замученная и задерганная категория граждан, у которых просто сил не было на добрые чувства.

Первые четыре класса мне было так легко учиться, что учителя вообще не обращали на меня особого внимания, я не чувствовала с их стороны враждебного ко мне отношения и не замечала их недоброты. Да и учителя у нас в младших классах были терпимые, во всяком случае, ничем не запомнились. Кроме одной, в четвертом классе, беспомощной старушки-«француженки», которую мы, десятилетние дылды, мучили, как хотели, вымещая на ней все обиды, проглоченные от других учителей.

А глотать обиды приходилось чем дальше, тем чаще. Уже с пятого класса я резко перестала быть «отличницей», а с шестого вообще превратилась в «троечницу». Тому были серьезные причины.

Первая, главная была – скука. Смертельная, сводящая скулы скука.

Годам к девяти я все же начала читать книжки. Начала – и уже не могла остановиться (до сих пор). В доме было очень много хороших книг. Мать не запрещала нам с братом читать что захотим. Рассуждение ее было простое: если будет непонятно и неинтересно, мы и сами читать не станем, а если интересно, то и вреда быть не может. Так я и прочла множество книг, якобы не соответствовавших моему тогдашнему возрасту, но самых первоклассных. И «Одиссею» с «Илиадой», и Толстого с Чеховым, и непристойного Апулея, и едкого Салтыкова-Щедрина... Кстати, тогда же я убедилась (убедилась позже, но на тогдашнем моем опыте), что для детей вовсе не обязательно писать «понятно», непонятное они способны без удивления и без усилия принять как данность – и читать дальше. А со временем поймется.

Так, в десять лет я прочла книгу, которую поняла едва ли на четверть, но это было первое литературное произведение, которое показало мне, что оно имеет отношение к реальной жизни, хотя и безмерно далекой от моей. До этого у меня было такое неосознанное ощущение, что книги как-то зарождаются и живут сами собой, причем они были всегда. И в головы своих авторов приходят в целом, законченном виде. Русские классические авторы представлялись мне фигурами легендарными и тоже бывшими всегда.

Книга, о которой я говорю, «Волшебная гора» Томаса Манна. Трудно сказать, почему именно она, которую я читала, частенько пропуская страницы, произвела на меня такое неизгладимое впечатление. Может быть, потому, что в ней посреди мирной, беззаботной жизни в роскошном санатории, внезапно, без всякой (для меня) подготовки начинается война. Точно так же, как началась война для меня. Тут и выяснилось, что война, которую я знала, вовсе не единственная такая. То есть я смутно слышала что-то насчет Первой мировой, но это было, как говорится, давно и неправда. А тут эта давняя война ударила меня по голове, совсем как

знакомая недавняя. «Волшебная гора», которая так многому меня научила и которую я потом перечитывала много раз, осталась со мной на всю жизнь.

Так вот, я начала читать и очень скоро заметила, что из книг узнаю массу неизвестных и увлекательных вещей про людей и про мир – а на уроках косноязычно разжевывают что-то скучное и совершенно мне не нужное. В сущности, всему нужному я обучилась уже в первых четырех классах. История и география – ну да, их не вредно бы и знать, но они присутствовали во множестве хороших книжек. И оттуда их легче было и понять, и запомнить, чем из сухих казенных учебников, тем более что в те годы из учебников то и дело вымарывались имена и события. От этого и оставшиеся имена и события воспринимались со скептическим недоверием.

Биологию я бы, может, и любила, но глубокое невежество нашей биологички в сочетании с неумолчной критикой некоего «менделизма-морганизма» (как раз пришлось на ту пору), о котором даже спрашивать, что это такое, не позволялось, наводило тоску. Русский язык и литература... Литература и была причиной многих моих бед.

Школа моя, как и положено было в те времена, была женская. Кто и зачем придумал это разделение полов, неясно. Видимо, для пущей чистоты нравов. Результат был такой, что, пообщавшись с мальчишками в раннем детстве – во дворе, в детском саду, мы затем длительное время не видели, как они постепенно превращаются в подростков. И к тому времени, как мы сами стали молоденькими девицами, образы их представлялись нам загадочными, труднодоступными и потому особенно завлекательными.

Как в заправской женской гимназии или какой-нибудь монастырской школе, существовало у нас такое явление, как «обожание». За отсутствием мужского контингента (лишь позже появился один учитель-мужчина) мы «обожали» учительниц, тех, что почеловечнее и подобнее. Вот такой нам показалась новая учительница русского языка и литературы, и мы немедленно ее заобожали. Поначалу мои отношения с ней складывались лучше некуда. Я писала диктанты без ошибок, с легкостью строчила сочинения «на свободную тему», избегая осточертевшего «идейного смысла», и она журила меня только за кляксы, которые так трудно было не ляпнуть тогдашними перьями. Меньше «пяти с минусом» я у нее не получала.

Тем временем дома я читала Достоевского. Мой теперешний опыт говорит мне, что в двенадцать лет читать Достоевского гораздо легче и безопаснее, чем, скажем, в шестьдесят. В двенадцать лет что ни страница – потрясающее новое открытие, не имеющее, однако, ко мне никакого отношения. А в шестьдесят что ни страница – очередной удар в знакомое больное место.

Итак, в двенадцать лет я с захватывающим любопытством, но без особого душевного волнения читала Достоевского. Пока не прочла «Кроткую». И совершенно потеряла голову. Мне казалось, что в мире просто не знают, какая это гениальная книжка. Я ведь никогда раньше о ней не слышала! И помчалась с этой книжкой в школу – надо было немедленно всем о ней рассказать и дать прочесть.

Скандал, который произошел из-за этого, был для меня полнейшей неожиданностью. Учительница увидела книжку у меня на

парте и немедленно отобрала ее. Меня вызвала к себе директорша и с пристрастием допрашивала, где я эту книжку взяла и кому давала читать. Не зная за собой никакой вины, я сказала, что взяла дома, с книжной полки. А прочесть, кроме меня, никто не успел. Вызвали в школу мою маму. Книжку ей вернули, а что ей говорили, я не знаю. Она мне сказала только: «Детка, не носи в школу книжки из дома». Мне поставили двойку по поведению. Надежда Петровна, «обожаемая» учительница литературы, которой я пожаловалась на несправедливую двойку, ответила мне со злостью: «Сколько неприятностей из-за тебя! Кто тебе велел читать такие книги? Обязательного чтения тебе мало?» Я ничего не понимала, но обожание мое сильно уменьшилось. И с тех пор уменьшалось, пока совсем не сошло на нет.

Достоевский в те времена не был официально запрещенным автором. Школьное начальство явно перестраховалось. Такие уж это были времена – лучше перестраховаться, чем недо. Запрещенным он не был, но в библиотеке его было не получить, и купить тоже нигде. В школьную программу по литературе он не входил, только позже, в одном из старших классов, мельком упоминалось, что был такой известный писатель, автор романа «Преступление и наказание».

Это было лишь начало моих «литературных» бед. Тут, кстати, я хочу выразить свое глубокое недоумение по поводу того факта, что миллионы российских граждан, обучавшиеся в школе, тем не менее любили своего Пушкина. Моя школа сделала все, что только могла, чтобы мы возненавидели великого мулата, да и всех других русских классиков. Всех их, словно вредных насекомых, неутомимо посыпали дустом «идейного смысла», «связи с народом», «прогрессивности» либо, наоборот, «реакционности», а также всяческих «черт» (назовите четыре основные черты произведения Тургенева «Записки охотника»). Бедные классики бледнели, скукоживались и замирали кверху лапками, как заморенные клопы. Но я все равно люблю Тургенева, а особенно, особенно Пушкина, восхищаюсь его умом и прозрением и до сих пор не могу примириться с его нелепой гибелью.

К тому времени, как мы начали «проходить» «Евгения Онегина», я знала две первые его главы почти на память. Надежда Петровна начала читать нам роман вслух. Я в ее исполнении просто не узнавала звонких, складных строк. Она переиначивала слова, ставила неверные ударения, совсем не слыша размера, вставляла по своему усмотрению всякие «и» и «но», а кое-где даже делала Пушкину выговоры. После строчек «Вздыхать и думать про себя, / Когда же чёрт возьмет тебя!» она заметила: «Так про больного дядю думать, конечно, неправильно». Я долго терпела. Перетерпела и «родился на берегах Невы», и «монсьер» вместо «месье». Но когда она прочла «как данду (dandy) лондонский одет», я не выдержала и прыснула: данду! Рядом со мной сидела смешливая Тоня-Тонюсечка, она тоже захихикала. В соседнем ряду кто-то радостно подхватил: данду! По всему классу прошел тихий смешок. Английского мы не знали, но и по-французски это слово нельзя было прочесть как данду!

– Тихо! – крикнула учительница. – Ничего смешного тут нет.

Поскольку большая часть класса и сама не знала, чему смеялась, сразу стало тихо.

Но на следующем уроке литературы произошла настоящая сентиментальная драма. Надежда Петровна велела нам читать вторую главу «Онегина» вслух. Ко второй главе стоит эпиграф «O rus!» латинскими буквами, а под ним «О Русь!» по-русски. Мама объяснила мне, что «rus» по-латыни означает «деревня», и этот многозначительный двойной эпиграф мне очень понравился. И вот, когда очередная ученица прочла эпиграф, она спросила – что это, «rus»? Надежда Петровна засмеялась и сказала:

– Ты что, не видишь? Там же внизу ясно сказано: «Русь»! Что непонятного?

И в тот же момент выскочила я:

– «Деревня»!

– Что ты сказала, Винер? При чем тут деревня? Кого это ты «деревней» обзываешь?

По выражению ее лица я видела, что делаю что-то не то, но необходимо было объяснить:

– Я не обзываю... «Рус» – это деревня по-латински...

– По-латински? Так ты у нас и латинский язык знаешь? С каких это пор?

– Нет, я не знаю... Просто там сказано...

И тут наша учительница вдруг села на свой стул, закрыла лицо руками и проговорила рыдающим голосом:

– Стараешься для них, стараешься, а они...

А затем вскочила и выбежала из класса.

Мы все застыли в полном ошарашивании. Потом кто-то спросил меня:

– «Рус» – это правда «деревня»?

– Ну да... Мне мама сказала, а потом велела посмотреть во французском словаре, туда много латинских слов вошло, так там «рустик» и означает «сельский, деревенский».

– Тогда чего она?

Мы сидели, ничего не понимая, тихонько переговаривались, придавленные страхом перед неизвестностью.

Прибежала директриса и грозно объявила, что мы оскорбили нашу учительницу и довели ее до слез.

– Да мы же ничего такого...

– Ничего такого? А что она ушла домой в слезах, это ничего такого?

Вопрос был поставлен так, что ответить на него было трудно.

Меня-то, может, это не слишком огорчило, я злилась на нее за Пушкина, но разумно прикусила язык.

– Вы должны перед ней извиниться.

Все молчали. Извиниться? За что?

– Ну? Или вы хотите, чтобы она от вас ушла насовсем?

– Нет! Не хотим!

– Тогда немедленно все поезжайте к ней и просите прощения!

А вот это другое дело! Тут мы были вовсе даже не против! Законно сорваться с уроков и всем классом прогуляться на другой конец города – это нам очень даже улыбалось. А извиниться – ну и извинимся, языки не отвалятся.

Мне, впрочем, ехать не хотелось. Я догадывалась, что все дело было в «деревне», то есть во мне. Да еще я и «данду» вспомнила. И уже почти понимала причину драмы. И что-то мне подсказывало, что именно меня наша учительница не простит. Однако все поехали, пришлось и мне.

Визит наш к учительнице был душещипательный и успешный. Она с матерью и двумя детьми-подростками жила в одной комнате в коммунальной квартире. Когда мы всей гурьбой ввалились в ее комнату, детям и матери пришлось уйти на кухню. Пара самых красноречивых девочек начали просить прощения и умолять ее вернуться к нам, обещая больше никогда, никогда... Тут они не очень знали, что сказать, но Надежда Петровна немедленно всплакнула, начала обнимать близстоящих девочек, уверять нас, как она всех нас любит и как ей было обидно... но она все равно прощает... Что обидно, что прощает – она так и не сказала, но класс был доволен, и некоторые тоже слегка захныкали от избытка эмоций. Впрочем, после этого эпизода «обожание» сильно подтаяло у всего класса. Я все ждала, что она скажет что-нибудь плохое про меня, но она меня даже не упомянула. Пронесло, решила я.

Но я ее недооценила. Она ловко избежала признания в своем невежестве, а меня все-таки наказала, и весьма жестоко. На следующем уроке литературы, когда мы мирно шептались с Тонюсечкой на своей последней парте, учительница вызвала меня к доске.

– Винер, – сказала она, – ты у нас много знаешь. Это хорошо. Но с задней парты мне тебя не слышно. Поэтому давай-ка пересаживайся на первую.

Парты, на редкость неудобные двойные скамьи с жестко приделанными к ним наклонными столиками, приняты были тогда во всех школах. Парт нужных размеров всегда не хватало, и в нашем классе они были расставлены так: спереди самые маленькие, и на них сидели самые миниатюрные девочки, дальше парты и девочки побольше, а с тыла самые большие. Я как раз тогда сильно пустилась в рост, и мне даже большая парта была уже маловата – колени под столиком не помещались и ноги приходилось высовывать вбок, а сам столик был слишком низко. Когда надо было писать, нам, трем или четверем самым высоким девицам, приходилось сидеть скрючившись. И вот теперь учительница пересадила меня на самую маленькую переднюю парту. Я пыталась что-то вякнуть, но на мой протест она ответила с улыбкой:

– Ничего, ничего, устроишься. Ишь ножищи себе отрастила, а ума на копейку.

Длинные ноги тогда не считались особым достоинством, и я сильно переживала по поводу своих «ножищ», так что мне было вдвойне обидно.

Мои мучения на маленькой первой парте описывать не буду. Но подозреваю, что проблемы со спиной, изводившие меня всю последующую жизнь, начались именно тогда.

У нас пошла настоящая война. Я не спускала учительнице ни оговорки, ни нелепицы и уж конечно никаких фактических ошибок. Класс следил за этим с интересом и с некоторым злорадством – по отношению к обеим сторонам. Она выгоняла меня из класса, грозила вызвать в школу маму. По русскому языку за каждую кляксу

мне снижался балл, а за описку два. По литературе тоже появились тройки.

Ума у меня и в самом деле было на копейку. Я совершенно не отдавала себе отчета в том, с кем сражаюсь и зачем. Я не видела перед собой немолодую женщину, измученную чудовищным бытом в одной комнате с двумя детьми, которых надо кормить, одевать и учить на ничтожную учительскую зарплату. Со старой беспомощной матерью, которой она наверняка не раз в минуту отчаяния желала скорой смерти, а потом рыдала у нее на груди бессильными слезами. Я не видела перед собой малообразованную женщину, которая – ну да, не прочла столько книжек, сколько повезло прочесть мне, и не выросла в такой интеллектуальной атмосфере, которая окружала меня с детства. Я не понимала, что это не делает ее ни лучше, ни хуже меня и уж наверняка не делает меня лучше ее.

Ни о чем таком я не думала. Я просто видела перед собой врага. И точно так же она видела врага во мне. Разница была в том, что я была в ее власти. И моим единственным оружием были бесконечные подковырки и ехидное поправление ее ошибок. Это доводило ее до белой ярости, но никакого настоящего преступления она мне вменить не могла. Слишком часто жаловаться директрисе она благоразумно воздерживалась, обвиняла меня только в нарушении дисциплины. Плохие отметки были ее оружием.

Плохие отметки сыпались на меня не только по литературе. Я перестала зубрить скучные домашние задания по географии, получала однообразные тройки и только однажды блеснула ответом у доски, когда с жаром рассказала о знаменитом мореплавателе капитане Джеймсе Куке, исследователе неведомых земель, убитом туземцами на Гавайях в восемнадцатом веке. Именно после этого я и услышала случайно разговор нашей географички с другой учительницей:

– Странная она, эта Винер.

– А что?

– Девочка начитанная, но для евреечки туповата.

Фраза врезалась в мою память на всю жизнь, я даже использовала ее потом в одном из своих писаний. Позже я слышала еще одно учительское мнение обо мне, которое оказало серьезное влияние на всю мою молодость, но это было уже в девятом классе. А я пока еще в шестом-седьмом. И здесь мои страдания не ограничиваются литературой.

Математика! Алгебра-геометрия-тригонометрия! После первых двух-трех уроков я перестала что-либо понимать, и вскоре в классном журнале против моего имени начали появляться не только тройки, но и неведомые мне доселе двойки. До конца седьмого класса я едва-едва дотащилась. Я только стереометрию полюбила, там все было наглядно и понятно, да и чертить всякие трехмерные кубы и пирамиды мне нравилось, это казалось занятым фокусом. Впрочем, стереометрия была, кажется, позже.

По окончании семилетки я сказала маме, что намерена оставить школу и поступить в техникум. Мне очень хотелось поскорей начать работать и зарабатывать, немножко облегчить жизнь маме, а главное, расстаться со школой. Я и техникум себе подыскала

подходящий – текстильный, декоративно-художественное отделение. Рисовать узоры для тканей казалось мне очень привлекательным занятием.

Мама выслушала меня и сказала твердо и безапелляционно: через мой труп. Ты закончишь школу и поступишь в институт. Получишь высшее образование – а тогда рисуй, что хочешь.

Я видела, что мамой спорить бесполезно. Поступить же против ее воли мне и в голову не приходило. И снова потянулась серая школьная рутина, и продолжалась наша война с Надеждой, и не знаю, чем бы она закончилась, но в середине восьмого класса я заболела ревмокардитом и осталась на второй год.

Сегодня врачи лечили бы меня совершенно иначе. Легкая физическая нагрузка, ежедневные недолгие прогулки, особая диета, а для школьницы – безусловно домашнее продолжение учебы. А тогда меня почти на полгода уложили в постель. Строго приказали вставать только по нужде, на улицу ни в коем случае, читать поменьше, писать нельзя вообще... Вся болезнь моя выражалась в слабости, вялости и постоянной так называемой субфебрильной температуре, то есть слегка повышенной. От лежания ни слабость, ни вялость не проходили, а температура вдруг взяла да и скатилась гораздо ниже нормы, отчего я слабела еще больше. Тоска меня мучила невообразимая, так что даже хождение в школу начало казаться желательным. Единственным развлечением были визиты подружек, сперва частые, а потом все реже и реже... У них шла своя школьная жизнь, а мне даже сплетни их, которые я всегда любила, становились все менее понятны.

И к весне, хотя я чувствовала себя хуже, чем в начале, я решила, что валяться больше не буду. Встала, надела зимнее пальто, легшее на мои плечи тяжелым душным грузом, и выползла на улицу.

Вскоре и врач объявил, что я начинаю выздоравливать.

Последние три класса школы дались мне легче, чем предыдущие. Нет, учиться мне по-прежнему не хотелось, и слушать объяснения на уроках было по-прежнему скучно. Но то ли от долгого лежания, то ли просто оттого, что я повзрослела, невежество и недружелюбие наших учителей перестало так сильно меня задевать. И впереди уже начинал светиться конец школы, он становился все ближе, прежнее давящее ощущение, что это навсегда, несколько отпустило.

Я, честно говоря, побаивалась идти в новый класс презренной второгодницей. Однако все прошло на удивление гладко, девочки приняли меня вполне доброжелательно, а со своей соседкой по парте (парта была большая!), красоткой класса Анькой Плаксиной я вскоре подружилась.

Но на следующий год я эту свою подружку оставила. В начале девятого класса к нам пришла новая ученица, приехавшая из Куйбышева. Ее привели в класс, я только посмотрела на нее и сразу решила: именно с этой девочкой я хочу сидеть вместе и дружить. В самом последнем ряду у нас стояла пустая парта (наш класс был меньше других, в нем было не сорок две ученицы, а всего со-

рок). Я быстро сложила свой портфель, пересела на пустую парту и крикнула новенькой: садись со мной! Она неохотно подошла, глянула на меня с сомнением и села рядом. И стала моей ближайшей подругой. Мы дружили до самой ее смерти три года назад.

Моя любимая подруга Ада. Мне трудно описывать ее, потому что я ее любила, а ее уже нет.

Это было редкое существо, непохожее на других окружавших меня людей. Была она крестьянского рода – ее мать вырвалась в свое время из деревни на какие-то курсы, отец остался в армии, пошел по военной линии и дослужился до генерала. Что называется, из простых... Но ничего простоватого в ней не было. Была простота высокого качества, как и пристало истинной аристократке. От генеральства ничто к ней не прилипло. Ни чванство, ни тщеславие, ни желание властвовать. Впрочем, и отец, и мать ее были неплохие люди.

Материальным своим благополучием – а оно было – она не гордилась, а стеснялась его. Я долго не понимала, почему она, не раз уже побывав у меня дома, все еще не приглашает меня к себе. И сердилась на нее. А она стеснялась, считала, что по сравнению с нашей полунищей семьей живет в роскоши, и это стыдно. Однажды она пришла в школу в новеньких синих сапожках. Женские сапожки еще только начинали входить в моду. Во всей школе ни у кого таких не было. Девочки смотрели на Аду с завистью, подходили полюбоваться на сапожки, потрогать, одна даже попросила примерить, и Ада дала. И больше она в них в школу никогда не приходила. Кто-то спросил ее, где же твои сапожки. Разорвались, сказала она, пришлось их выбросить. Все стали возмущаться, огорчаться, задавать вопросы, но Ада в долгие объяснения никогда не вдавалась. Как-то раз, уже в десятом классе, она позвала меня к себе пожить, и я увидела у нее в шкафу эти сапожки, новенькие, как в первый день.

С Адой многие девочки в классе хотели бы дружить, пытались подойти к ней поближе. Она была в меру общительна, со всеми охотно болтала и смеялась, но только тогда, когда другие обращались к ней. Сама она инициативы к сближению никогда не проявляла. Подружиться с ней было нелегко, мне пришлось долго и настойчиво ее завоевывать, но когда это удалось, лучшей подруги нельзя было и желать.

Нам всем было в ту пору около шестнадцати лет, и вопрос собственной внешности сильно занимал каждую. И тут-то я и услышала разговор на эту тему двух классных руководительниц, нашей и параллельного класса:

– Некрасивые у меня в классе девочки, – сказала вторая. – Маленькие какие-то все, недокормленные. Военное поколение.

– А у меня ничего, – ответила наша. – Возьми что Балашову, что Сергееву, что Винер. Здоровые кобылки. И все три вообще обещают... Ну, хотя Винер – это, конечно, будет типичная еврейская красота.

Будь мне не шестнадцать, а, скажем, тридцать, я бы, вероятно, восприняла это как комплимент. Но тогда... Слова «красота» я словно не слышала. Я слышала только, что внешность у меня «типичная еврейская», и по тону этих слов было ясно, что хорошего

в этом мало. К тому же это «ну, хотя»... Дома я долго разглядывала себя в зеркало, пытаюсь понять, в чем же это нехорошее отличие. Все, что я в зеркале видела, казалось мне неприятным, некрасивым, не таким, как у других. «Все три обещают», но я обещаю, видно, что-то совсем не то... Эти слова причинили мне серьезный ущерб – надолго лишили меня веры в свою физическую привлекательность.

Промучившись с этим какое-то время в одиночку, я все же решила в конце концов поделиться с Адой. Начала я издавна:

– Как ты считаешь, антисемитизм – это нормально?

Ада, выросшая на военных базах, мало с этим явлением сталкивалась, оно ее не занимало.

– Да не знаю. А что?

– Ну, я ведь еврейка.

– Я знаю. И что?

– Да ничего... Просто... Неужели я так сильно от вас от отличаюсь?

– От кого – от нас? Ты еврейка, Наташка Нунупарова татарка, я русская, а Земфира вообще цыганка. От кого ты так сильно отличаешься?

– Так ты что, вообще про антисемитизм ничего не знаешь?

– Почему не знаю? Знаю, больше, чем хотелось бы. Мало ли всяких гадостей на свете. Зачем мне ими заниматься? И тебе незачем.

– Мне есть зачем. Это прямо ко мне относится.

– Ничего к тебе не относится. Все мы просто люди, и все одинаковые.

Чтобы не получилось слишком чувствительно, я решила обидеться:

– А, так я для тебя, значит, одинаковая со всеми людьми!

– Конечно. Но только ты моя лучшая подруга, и этим отличаешься от всех.

– И больше ничем?

– А еще ты умная, и у тебя у одной во всем классе пятерка по черчению, и на коньках умеешь кататься, и вообще, отстань, дурында!

– От дурынды слышу!

Вопрос с антисемитизмом был ясен, и я рассказала про подслушанный разговор учительниц. Ада пожала плечами:

– И ты убиваешься? А вот я бы рада была, если бы про меня такое сказали.

Ада не убедила меня, но я привязалась к ней еще больше.

Дружба с нею очень скрасила мне последние два года в школе. Да, собственно, она и была лучшее, что я вынесла из школы.

Были в старших классах и другие положительные факторы. В новом классе была другая учительница литературы. Никаких конфликтов у меня с ней не происходило, она просто не запомнилась – ни плохим, ни хорошим. А запомнились двое новых учителей. Мы впервые почувствовали, что нам преподают серьезные, знающие люди, совершенно иного калибра, нежели прежние наши бедолаги. Правда, оба они собственно школьными учителями и не были.

Математику преподавал Иван Алексеевич Чижов. Мы, разумеется, немедленно окрестили его Чижом и Чижиком, но это никак не

означало нашего непочтительного к нему отношения. Наоборот, мы его побаивались, уважали и даже любили. А он относился к нам со снисходительной, беззлобной насмешкой. «Барышни, – говорил он нам, когда его объяснения в очередной раз натыкались на непробиваемую стену нашего тупоумия, – вам головки для чего даны, шляпки носить?» Объяснять по многу раз одно и то же, разжевывать очевидное он явно не умел. Мы учились у него неважно, в среднем на троечку с плюсом, но все так явственно ощущали в нем что-то иное, нешкольное, нескучное, что зла на него за плохие отметки не держали. Знали, что большего и не заслуживаем. Одна только Ада чаще всего понимала его объяснения и вопросы, но с ответами никогда не высказывала. А он любил вызывать ее к доске, и там они разбирали какие-то непонятные другим формулы и теоремы. Мы же в это время спокойно занимались своими, нематематическими делами – перебрасывались записочками, играли в «крестики-нолики» и «морской бой», читали, делали домашние задания по другим предметам. Иван Алексеевич на все эти наши занятия никакого внимания не обращал, дисциплиной нас не мучил, а мы и сами вели себя на его уроках солидно и тихо.

Вторым человеком подобного ранга была учительница физики Рахиль Львовна. И в ней тоже ощущалось что-то явно не учительское. И ее тоже мы никогда не решились бы «доводить», как других учителей, и на уроках ее дисциплина соблюдалась сама собой. Однако и у нее мы учились весьма средне. И не потому что физика была неинтересным предметом или она плохо ее преподавала. В ней чувствовалась какая-то отстраненность, отчужденность, она словно бы не очень-то и видела нас. Никогда не ругала и не упрекала за невыученный урок или плохой ответ, за приличный ответ не хвалила. Никогда не повышала голоса. В ней не было даже Чижиковой насмешки – мы явно были ей глубоко безразличны. Слегка оживлялась она только, если кто-нибудь демонстрировал вдруг настоящее понимание предмета. Это случалось очень редко. Ада понимала физику хорошо, но никогда не поднимала руку, чтобы ответить на не понятый другими вопрос. А я иногда высказывала. Я сначала старалась изо всех сил – очень хотелось завоевать расположение именно этой учительницы, поэтому я слушала внимательно, пыталась вникнуть и даже прилежно выполняла домашние задания. Рахиль выслушивала меня молча, замечаний не делала, ставила пятерку или четверку – без всякого выражения, как всегда. И я вскоре потеряла интерес и к ней, и к физике и перестала что-либо понимать. Позже я узнала, что она присматривалась ко мне, прикидывала, а вдруг и правда из меня выйдет толк. Я-то знала, что толку из меня по физике не будет, но грустно было, что я обманула ее надежды так быстро и так основательно. Как ни странно, она, такая всегда бесстрастная и безразличная, даже упрекнула меня однажды:

– Юля, почему бы вам не начать заниматься всерьез? Вы ведь можете.

Мне было стыдно и огорчительно, что я обратила на себя ее внимание именно таким образом. Мне хотелось обещать ей, поклясться, что буду теперь заниматься, буду стараться... Вместо этого я ляпнула угрюмо:

– Не понимаю я ничего в вашей физике.

– И не хотите понимать?

Я молча покрутила головой.

– Жаль, – сказала она.

Мы многому могли бы научиться у этих двух наших учителей. Если бы мы умели учиться и любили учиться. Умения этого нам никто не прививал, а любовь к учению напрочь отбили еще в младших классах. Даже хорошие наши ученицы, даже отличницы любили и хотели не учиться, а получать пятерки. Что и делали вполне успешно.

Винить этих двух учителей в таком положении вещей нельзя. Насколько я понимаю теперь, оба принадлежали прежде к академическому миру, и оба были из него изгнаны по тем или иным причинам – причин для этого в те времена долго искать не приходилось. Можно себе представить, как тоскливо им было в школе, среди тупых и ленивых учениц и темных, замученных учительниц. Приспособиться им было трудно, в «дружный коллектив» они включиться не могли. Теперь-то я хорошо понимаю, как им хотелось найти хоть какой-то интеллектуальный просвет в думающей ученице. Чиж нашел его в Аде, а у Рахили с Адой как-то не сложилось, и она искала его во мне. Она была права, я была думающая девица. Да только думала я совсем не о том. И освоить физику на школьном уровне я бы вполне могла, если бы не дурное мое отращивание к любому школьному предмету. Мне было стыдно перед Рахилью, и хотелось бы ей угодить, но сидевший во мне бес противоречия не позволял мне даже учебник открыть лишний раз. А ведь в начале года я этот учебник прочла от корки до корки, и физика показалась мне тогда довольно занимательным предметом...

Станным образом Рахиль не отплатила мне злом за мое дурацкое поведение. Зная, что уроков я не делаю и материала не усвоила, она тем не менее неукоснительно ставила мне тройки, что и позволило мне перейти в десятый класс. Почему она так поступала, я не знаю. Может быть, просто потому, что тоже была еврейка?

К десятому классу дурость с меня слетела. Я, видимо, сообразила, что так недолго и экзамены на аттестат зрелости завалить, то есть остаться в школе еще на год. Я начала прилежно заниматься. Даже с физикой кое-как разобралась, и тройки у меня теперь были заслуженные, а часто и четверки попадались. Но разговоров со мной Рахиль больше не заводила. Во второй четверти у меня уже не было двоек, были пятерки по всем гуманитарным предметам и только одна тройка – по математике. Классная руководительница сказала мне: подтяни математику, и будем вести тебя на медаль. Но только прежде всего, непременно вступи в комсомол.

В свое время, в четырнадцать лет, когда положено вступать, меня не приняли из-за скверной успеваемости. А мы, как говорится, и не хотели... Я тогда решила, что пронесло, теперь меня больше не побеспокоят. В комсомол я не хотела не по каким-либо глубоким идейным соображениям, а из-за наметившейся уже тогда неприязни к коллективности. Да на собрания ходить и общественную работу какую-то вести – все это казалось мне скучным и фальшивым. И ненужным – пользы от членства я тогда не видела никакой.

Один давний инцидент показал мне, что не в членстве счастье. В сорок восьмом году осенью пришли в наш класс два мужика в штатском, сказали что-то учительнице, а затем начали ходить по классу и внимательно нас разглядывать. Отобрали четырех девочек, в том числе меня, сказали, что мы будем участвовать в приветствии комсомола великому Сталину в день его семидесятилетия и должны теперь ходить каждый вечер на репетиции в Дом пионеров.

— Но она у нас не комсомолка! — запротестовала учительница (все остальные были старше меня на год и комсомолки). — И двоючница.

— А! Ну да, — сказал один из мужиков. — Зато рост хороший и мордочка годится.

Так что тогда меня взяли и без комсомола, и двойки не помешали.

Но теперь все было иначе. Теперь я знала, что медаль обеспечила бы мне поступление почти в любой институт. И может быть, даже в университет на языки, куда мне хотелось. На медаль я, правду сказать, не очень надеялась, но меня собирались «вести», а без комсомола, скорее всего, не поведут. И я вступила, без радости, но и без каких-либо переживаний по поводу своего конформизма. Вступила, заплатила членский взнос, уведомила классную руководительницу о великом событии и забыла о нем, да так прочно, что вспомнила, только когда меня, уже студентку, вызвали в райком комсомола и объявили о позорном моем исключении из рядов за злостную неуплату взносов. Впрочем, сказали мне, уплати за последние три месяца, и мы тебя восстановим. Я сказала, что денег у меня сейчас нет, а когда будут, я приду и попрошусь. И больше я там не бывала. И ничего, обошлось.

В последний раз мое комсомольство всплыло неожиданно годы спустя. Уже находясь в Израиле, я попросила американскую визу. В консульстве мне дали заполнить анкету, в которой один из вопросов был такой: состояли ли в рядах Коммунистической партии Советского Союза или любой родственной организации? Я с чистой совестью ответила — нет. И только уже ответив на все вопросы, я вдруг сообразила, что комсомол — это «Коммунистический союз молодежи», и я в нем состояла! Пришлось срочно зачеркивать «нет» и вписывать «да, в комсомоле».

Как это ни смешно, американцы тогда ничего толком не знали про комсомол. Консул с пристрастием допрашивал меня, как и почему я в него вступила, и разделяю ли его идеологию, и какие функции в нем исполняла, и поддерживаю ли связь с его руководством... Членов советской компартии тогда в Америку не впускали, и мне тоже чуть было не отказали в визе. Вмешался кто-то авторитетный, и визу мне дали, но против моего имени в документах Госдепартамента навсегда осталась отметка, и меня мучили по этому вопросу каждый раз, когда я просила американскую визу. Уже и знали все про комсомол, но отметка оставалась, а значит, и подозрение...

Итак, надо было «подтягивать» математику. Моя мама напрягла все силы, собрала деньжонок и попросила Чижа позаниматься со мной частным образом. Учитель жил в отдельной квартире, у

него была семья, но я ни разу никого из них не видела. Ходила я к нему раз шесть-семь. Он мгновенно разгреб огромную гору моего непонимания, загадочные алгебраические формулы встали передо мной во всей своей стройной ясности, и я почти готова была полюбить математику, а перед Чижом просто благоговела, хотя за все это время он ни разу не сказал мне ни одного постороннего слова. Я впервые в жизни писала контрольные работы с удовольствием, радуясь тому, как четко и легко складывались на бумаге безусловно верные ответы. И у доски я бойко стучала мелом, без колебаний выстраивая длинные цепочки уравнений. Никакой потачки на уроках Чиж мне не давал, тем не менее к концу второй четверти в моем дневнике появились первые пятерки по алгебре.

Это было слишком прекрасно, чтобы продолжаться. У мамы кончились деньги, а через какое-то время кончился и мой математический запал. Без Чижиковой поддержки мозги мои снова начали затягиваться тиной непонимания, в дневнике снова запестрели тройки.

Ясно было, что о медали можно не мечтать, и меня перестали «вести». А я с облегчением перестала напрягаться по физикехимии-математике. Так я и добрела до конца школы, и аттестат зрелости у меня получился красивый – поровну пятерочек да троечек, да одинокая четверка, по Сталинской Конституции.

Незадолго до окончания школы свершилось большое историческое событие – умер великий Сталин. Я говорю «великий» без всякого цинизма или сарказма. Он был не просто велик – он был огромен. Он был везде, во всем и всегда. В отличие от большинства моих одноклассниц, я не питала к нему никакой любви, и даже наоборот – в окружавшей меня среде очень многое было уже известно, но я прожила всю свою жизнь при нем, и трудно, просто невозможно казалось представить себе, что эта гигантская глыба, неизменно стоявшая за всем и висевшая надо всем, внезапно превратилась в пустое место. Люди были в ужасе – как же теперь жить дальше, без него? Я в ужасе не была, но и мне казалось странно, непривычно. И еще – так, будто свалилась со всех нас огромная тяжесть, а легче не стало...

В школе классная руководительница начала было траурную речь, но на полуслове залилась слезами. В классе раздались громкие рыдания. Я посмотрела на Аду. Она сидела с мрачным, слегка безразличным выражением лица. Но – в глазах у нее стояли слезы!

– Ты чего? – шепнула я ей.

– Действует! – прошептала она. – На тебя тоже?

Тут только я почувствовала, что и сама готова заплакать. Я не испытывала ни малейшей печали, напротив, настроение было приподнятое, возбужденное, но всеобщие слезы увлекли и меня. И я с удовольствием заплакала. Рядом всхлипнула Адка.

В классе шла настоящая вакханалия горести. Девочки стонали, падали головой на парту, обнимались, рыдали друг у дружки на груди, громко сморкались. Мы с Адкой сдвинулись поближе и тихо перешептывались сквозь слезы:

– Вот идиотство!

– Массовая истерика.

– Мы с тобой тоже хороши.

– Две рёвы-коровы!

Через пару дней тело было выставлено в Колонном зале для всеобщего прощания. Народу туда повалило – видимо-невидимо. Ну и мы с Адочкой отправились, конечно. Интересно же. Ну и, разумеется, подоспели в нужное время в нужное место. Иосиф Виссарионович, как известно, захватил с собой в подземное царство порядочное число своих горюющих сограждан. И мы с подругой чуть-чуть было не попали в эту почетную свиту. Шагали мы, шагали в густой толпе, обменивались потихоньку замеченными любопытными деталями, и вдруг с широкой площади толпа втянула нас в узкий коридор – с одной стороны глухая стена дома, а с другой плотно стоящие в ряд военные грузовики, и между ними кое-где конные милиционеры. Сразу стало тесно и душно, сзади напирала все сильнее, мы с Адой вцепились друг в дружку, и толпа приподняла нас обеих, ноги оторвались от земли. Нас несло прямо к углу, а из-за угла слышались раздирающие вопли. Сделать ничего было нельзя, и я поняла, что сейчас нас сомнут, свалят и растопчут. В этот момент кто-то схватил меня за ворот пальто, моя рука вырвалась из Адиной, меня выдернули из толпы и бросили в кузов грузовика. Я закричала «Ада! Ада!», и тут же она плюхнулась в грузовик рядом со мной. «Вот тебе твоя Ада!» – крикнул молодой милиционер на лошади и снова свесился с седла, вытаскивая из толпы следующего.

Мы шли на подгибающихся ногах по Сретенскому бульвару. На всех скамейках лежали люди – мы решили, что не тела, а просто придушенные и придавленные. У Ады на пальто все пуговицы были как ножом срезаны. А я только варежки потеряла.

– Н-да, красиво проводили вождя, – сказала Ада.

И мы обе расхохотались. Молодые идиотки! Нам было весело.

Я проучилась в школе десять лет. Проучилась? Нет. Провела. Провела огромный кусок своего детства и юности бессмысленно и бесполезно. Из всего, чему я там научилась, в жизни мне пригодилось только одно: таблица умножения.

ГРУППА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ

Утром того дня я проснулась с тяжелым чувством. Что-то мне предстояло в тот день, трудное и неприятное. Сделав мысленное усилие, я постаралась не вспоминать, что именно, и решила спать дальше. Накрылась с головой – и отчетливо вспомнила.

Нет, не пойду! – завопил категорический протест. Не пойду, я не обязана, никто меня не заставляет. Не пойду, там прекрасно обойдутся без меня. Не пойду, мне страшно, и все это не имеет смысла, никакого толку не будет, один только риск... И на родных может отразиться, я не имею права... нет, не пойду. Лучше буду спать.

Ехала в метро и сама перед собой делала вид, что направляюсь вовсе не туда. А когда вышла на улицу и увидела массивное темное здание библиотеки Ленина, полностью, наконец, проснулась и пошла прямо – туда. Словно кто тянул меня на веревке – а ведь не тянул никто, не уговаривал, и сама я не хотела. Странно, да?

Туда – то есть в Приемную Верховного Совета СССР.

Это я собираюсь рассказать о событии, которое уже не раз жевано-пережевано другими его участниками и не-участниками. Рассказано-пересказано – с пафосом, с героизмом, с высокими сионистскими идеями. Зачем же я хочу опять о нем говорить? Развенчиванием мифов я заниматься не собираюсь. Существенно нового мне вряд ли удастся прибавить. Это если по большому историческому счету. Однако в жизни мало что на самом деле складывается по большому счету, это мы уже задним числом, в перспективе назад, невольно или вольно завышаем оценки и себе, и другим, и всему событию в целом. Событие, конечно, и для меня было немаловажное, но с течением времени пафос из него сильно повыветрился, героизм начал представляться в несколько ином свете.

Для меня это событие остается в памяти не этапом еврейского освободительного движения, а моим личным переживанием, по малому, личному счету. Со всеми сопутствующими ему мелкими и незначительными деталями, которые и сохраняют его в моей памяти не застывшим в смоле истории, а живым и реально бывшим.

Тем не менее, прежде чем писать о нашем сидении в Приемной Верховного Совета СССР в феврале семьдесят первого года, я попыталась заручиться достоверным о нем свидетельством, записанным по свежим следам. Моим собственным. Данным мной сотрудникам госбезопасности вскоре по приезду в Израиль. Сотрудники были молодые, симпатичные, на русском языке говорили плохо. Но расспрашивали меня дотошно, поскольку здесь очень мало еще знали о еврейском советском бытовании, о сионистской же деятельности имели представление, нередко меня смешившее. А может, это они нарочно так, может, это их профессиональные приемы были такие. Тем не менее я отвечала охотно, даже с жаром – это ведь не кагэбэшники были злобные, а наши, родимые органы безопасности.

В свое время все эти материалы были глубоко засекречены, но ведь все это было так давно, сорок с лишним лет назад, какие уж теперь секреты! И однако мне их не дали, хотя за меня ходатайствовал большой генерал.

Ладно, значит, придется полагаться на собственную ненадежную память.

Прежде всего, отметить то, что я помню точно. То, чем поход наш *не был*.

Во многих публикациях говорилось о захвате Приемной Верховного Совета группой евреев-сионистов. Это я считаю необходимым отбросить сразу. «Захват» предполагает насилие, оружие, борьбу. Ни о каком захвате и речи быть не может. Просто пришли и сели.

По другим сведениям, это была «голодная забастовка» в Приемной Верховного Совета СССР. Звучит красиво, но и это неправда, голодной она никак не была. Да у меня у самой было в кармане полпачки печенья. У кого-то были, кажется, бутерброды. Не говоря о том, что длилось все мероприятие едва полсуток. Так уж много не наголодаешь, хотя кушать, конечно, захочется.

А сидячая забастовка действительно была. Хотя и тут – почему, собственно, «забастовка»? Бастовать, от слова «баста», озна-

чает прекращать что-либо, чаще всего работу. Мы вовсе не «бастовали», большинство из нас и так уже не работали. Собрались в Приемной Верховного Совета двадцать четыре советских гражданина с отметкой в паспорте «еврей», принесли петицию к властям с требованием урегулировать законным образом процедуру эмиграции в Израиль и с просьбой предоставить им возможность встречи с председателем Верховного Совета Подгорным. И заявили, что не покинут Приемную, пока не получают ответа. Забастовки никакой не было, вернее будет назвать это демонстрацией – демонстрацией своей решимости.

А решимость была, это правда. Многие из участников уже получили отказ на прошение о выезде. В том числе и я. Правда, мой срок пребывания «в отказе» был незначительный, месяца два-три, не больше. Но я знала про себя, что дыхание у меня короткое, долгого ожидания я не выдержу и либо сделаю какую-нибудь отчаянную глупость, либо вообще откажусь от мысли о выезде.

В одной отчаянной акции я уже чуть было не поучаствовала. К счастью, ее инициатор вовремя отменил ее. Иначе это неизбежно было бы еще одно «самолетное дело», а то и похуже.

Он планировал взять несколько человек, пробраться в Севастопольский порт, угнать военный катер и уплыть в Турцию. Я готова была к нему присоединиться. Я, разумеется, понятия не имела, насколько такой план нереален и как велики его опасности. Но я полностью полагалась на Фиму Файнблума, нашего предводителя. Это был (и есть) человек сдержанный, с мягкими манерами и негромким голосом, но смелый и решительный. Упрямый к тому же. Уже добиваясь выезда в Израиль, он добивался одновременно восстановления в партии, откуда его выгнали сразу после подачи заявления с просьбой о выезде. И зачем ему это надо было? А для справедливости. Для законности. Из упрямства!

Теперь Ф. Ф. предприниматель. Бизнесмен. А может, вообще уже пенсионер. Наверняка знаю, что дедушка. Мне трудно представить себе его в любой из этих ипостасей, я давно его не видела. Помню деятельного, худого, красивого, с усами.

Это был один из инициаторов нашего похода, такой же нетерпеливый, как и я, только несравненно более опытный и авторитетный.

Второй был гораздо спокойнее и методичнее. О нем написано было немало, а теперь имя его естественным ходом вещей начинает забываться, тем более что его уже почти тридцать лет нет в живых. Пожалуй, я могу позволить себе назвать его по имени. Если что и привру, он был человек не мелочный, простил бы, я думаю. Имя его начинает превращаться в легенду, а по этой канве дозволено вышивать свое, что многие и делали без всяких церемоний. А я сделаю осторожно, хотя тоже, скорее всего, не вполне достоверно. Такова уж судьба легенд.

Меир Гельфонд. Этот человек вызывал у меня восхищение и робость. Восхищение, потому что был и умен, и разумен, к тому же любил классическую музыку, к тому же, по общим отзывам, был очень хорошим врачом. А робость – потому что уж очень героическое стояло за ним прошлое. Лагерь, длительный сионистский активизм. Я к героям отношусь как-то с недоверием, особенно к тем, которые сами признают за собой это достоинство. В нем этого ге-

ройства не было совсем. Что в нем было, так это сионизм. Как черта характера. Упорный, последовательный, фанатичный. Прямо с детства. В четырнадцать лет мальчишка уже был членом сионистского кружка! Я вспоминаю себя в четырнадцать лет... О сионизме я и слыхом не слыхала, а еврейство мое было лишь досадным источником неприятностей.

Наряду с восхищением и робостью человек этот вызывал у меня некоторый страх. Фанатизм любого сорта всегда отталкивал меня. Я немало встречала всяких фанатиков-сионистов, они не пугали меня, а только раздражали и иногда смешили. Раздражали шоры на их глазах, смешила высокая самооценка при глубоком невежестве. Не таков был Меир Гельфонд. Слишком он был значительной фигурой, чтобы раздражать, тем более смешить. Известная узость взглядов и интересов для фанатика неизбежна, но в невежестве его никак нельзя было упрекнуть. Сионизм у этого человека начинал превращаться в профессию, в цель, тогда как для меня он был лишь средством попасть в Израиль. Я, впрочем, иногда думала, что некоторая мера фанатизма не помешала бы и мне. Отучила бы от привычки всегда видеть обе стороны медали, что обычно сильно тормозит деятельность. Проще говоря, прибавила бы решительности. Действительной сионисткой я стала лишь в Израиле, когда здесь это уже практически вышло из моды.

Эти две легендарные личности, Фима Файнблюм и Меир Гельфонд, и были главными двигателями нашего похода (возможно, были и другие, но я их не знала). Я помню жаркие дебаты по поводу этого замысла. Подходящий момент или не подходящий? Насколько рискованно? Может ли дать результаты, не повредит ли всему еврейскому движению в целом. Кто пойдет, кого звать. А я слушала и думала, только бы сговорились, только бы не отменили...

Это было до. А теперь я подходила к красивым дверям Приемной с ужасом в душе. И с надеждой, что меня туда просто не впустят. И я с чистой совестью смогу вернуться домой.

У дверей я встретила двоих или троих соратников. Все радостно, весело приветствовали друг с друга, и я так же весело поздоровалась. Ужас быстро ушел на дно. Нельзя было его показывать. Другие-то не боялись! Пусть думают, что и я несколько не боюсь.

Вошли беспрепятственно, стражи у дверей едва глянули на паспорта. Об обыске с ощупыванием электронными лопатками и проходом сквозь электронные воротца никто и не мечтал тогда. Беззаботные были времена, бестеррорные!

Все, я внутри, никаких оправданий и отговорок больше нет. Отступать поздно. И стыдно.

Просторная прихожая с дежурным за столом, из нее вход в зал, то есть в самую Приемную. Большой зал, вдоль стен плотно сидят люди. Все с какими-нибудь жалобами, заявлениями и прошениями. Каждый сам по себе, на соседей не смотрят, не разговаривают. Лица хмурые и понурые.

Всем вместе нам сесть было негде, мы расселись в разных концах зала. Постепенно я выискала знакомые лица. Мы начали понемногу собираться в кучку. Сколько именно народу придет, никто точно не знал. То один подходил, то еще один. Я говорю

«один, еще один», потому что женщин нас было всего две. Ближе к полудню решили, что пора подавать нашу петицию. Под ней было тридцать с лишним подписей, пришли не все, но решили больше никого не ждать.

Насчет того, кто именно с бумагой в руках стал в очередь к окошку, куда положено было протягивать свое прошение или заявление, я с полной уверенностью сказать не могу. Мне кажется, что это был Лёва Фрейдин, ныне Арье Гилат, но имеются еще двое или трое претендентов. Один из них спустя годы прямо рассказывал: «Я встал, я подошел, я протянул...» Видимо, память подвела, бывает — но занятно, что именно таким образом. А может, просто очень хотелось, чтобы это было так. А в другом месте это действие приписывается другому лицу, довольно известному, про него я точно помню, что это не он подавал. Такие фокусы память проделывает с нами на каждом шагу, именно это я имею в виду, когда говорю, что пафос несколько поветрился...

Так или иначе, петиция была подана. И немедленно отвергнута. Из окошка подателю было сказано: мы здесь принимаем заявления только от частных лиц, групповых не принимаем, заберите обратно. Подавший обратно не забрал, бумага осталась лежать перед чиновником. А чиновник немедленно схватился за телефон.

Если посмотреть на дело непредвзято, наша акция была подготовлена довольно-таки слабо. Главная наша защита, иностранные корреспонденты, которые должны были оповестить мир о происходящем и тем сдерживать карающую руку властей, получили информацию поздно. Тут важен был точный, до минут, расчет: радио и телевидение в мире должны были сообщить о нашей акции не слишком рано, чтобы не предупредить о ней преждевременно кого не надо. Но при этом достаточно рано, чтобы власти поняли, что в мире всё известно — еще до того, как нас посадят в кузова военных машин и отвезут неведомо куда. Довольно долго чаши весов колебались и склонялись не в нашу пользу. Это мы, разумеется, узнали только потом.

И еще. Акция готовилась вроде бы в условиях строжайшей секретности. Но никто не предупредил, например, меня, чтобы я никому-никому ни словечка... Поэтому, встретив накануне на улице знакомого, но очень мало знакомого собрата-сиониста, я с энтузиазмом принялась его вербовать. Расспросив о деталях, знакомый немедленно согласился присоединиться. Как я могла знать, куда он пойдет, расставшись со мной? Я слышала, что многие, кому предлагали участвовать в походе, отказывались. Само-то по себе это нормально, но таким образом круг посвященных все расширялся, секретность таяла на глазах...

Но чудеса бывают. Мировая пресса все же успела прийти к нам на подмогу как раз в нужный момент. Встреченный знакомый присоединился к нам, как и обещал. Из всех посвященных ни один — ни один! — не побежал стучать. Ну ведь не может же быть, чтобы среди нас не было ни одного осведомителя?! Никак это невозможно. И тем не менее наша акция застала власти врасплох. Я с тех пор слышала такую версию, что, мол, она вообще была спровоцирована самими властями. Что-то насчет стремления Советов укрепить Израиль ак-

тивными еврейскими силами с тем, чтобы напугать арабов и тем самым усилить зависимость арабских стран от СССР... Власти, мол, и сами хотели выпустить какое-то количество самых бойких и шумных, но не могли этого сделать напрямую, а то и другие захотят. И вот, мол, придумали сделать это таким хитрым способом... Не знаю, может, что-то в этом и было, но как-то уж слишком по-византийски. Да и вообще, арабы прямо так уж испугались бы нескольких десятков, пусть даже сотен, добавочных израильтян? А что в конце концов будут сотни тысяч – этого, мне кажется, не предвидел никто.

А главное, мне трудно поверить, что заранее был специально организован такой тотальный спектакль. Как стало ясно позже, с противной стороны в нем участвовали сотни людей. Это уж даже для щедрой на людские ресурсы советской власти был явный перебор. Нет, не верю я в вышеупомянутую версию.

Мы сидели и сидели, и ничего не происходило. Просители в зале приходили и уходили, тихо подавали свои заявления, чиновники в окошках негромко им что-то говорили. Вообще, было на удивление нешумно. И в этой полутемноте прекрасно слышно было, как по всему огромному чиновничьему дворцу надрываются телефоны. Было полное ощущение, что телефоны эти отчаянно взывают в пространство: что делать? как поступить? срочно дайте указания!

Зал постепенно пустел. К пяти часам кроме нас никого не осталось. А мы сидели – и рассказывали анекдоты. Некоторые были очень смешные, мы громко ржали, и тогда из прихожей заглядывали в зал дежурившие там офицеры и смотрели на нас с недоверчивым удивлением. Все рассказывали, и мне тоже очень хотелось что-нибудь рассказать, но я, как всегда, ни одного анекдота вспомнить не могла. Вот досада! Вдобавок у меня начала болеть спина. Я уже тогда страдала хроническим заболеванием позвоночника, вот он и разболелся от долгого сидения. От смеха становилось только хуже. Я вставала, прогуливалась, садилась – боль не проходила. И ни у кого не было никаких таблеток от боли. Меня начали уговаривать идти домой. Но я теперь домой вовсе не хотела. Я уже переболялась, отпереживалась – и что же, все это зря? Теперь только и продолжать акцию!

В зал ввалилась бригада уборщиц – четыре мускулистые бабищи средних лет с ведрами и швабрами. Начали гонять нас с места на место, злобно покрикивая:

– Чего расселись тут? Чего надо? Пошли вон! Только работать людям мешаете!

Мы на слова не отвечали, послушно переходили от одной стены к другой, снова рассаживались и продолжали веселиться.

– Ишь гогочут! Ни стыда ни совести. Ну ничего, погодите! Вы свое получите!

Спина болела все сильнее. Я вынула сигарету, закурила – не помогло. И тогда я решила выйти и сходить в аптеку. Все мое решение одобрили, но были уверены, что я не вернусь. А я сказала, что вернусь, и нисколько в этом не сомневалась.

Вышла. Первое, что увидела справа от входа – огромную серо-зеленую машину. Танк не танк, а что-то вроде. Подивилась, что он тут делает? Откуда взялся? И пошла искать аптеку. Обогнула здание слева и обнаружила, что вдоль всего его тыла тянется веревка

ница серо-зеленых крытых брезентом грузовиков, плотно набитых вооруженными солдатами. Учения какие-то, решила я.

Учения? В центре города?

И тут у меня мелькнула абсурдная мысль: а что, если это против нас? Даже самой смешно стало. Против нас! Полк солдат против нас! (Я не знаю, сколько в полку солдат, но там их явно было несколько сотен). Что бы они с нами делали? Если выводить нас из зала, так там хватило бы наряда милиции. Да нет, ерунда, это не имеет к нам никакого отношения. Власть, конечно, дура, но ведь не настолько же!

Нашла, наконец, аптеку и купила «пятерчатку». Средство довольно сильное, а продается, к счастью, без рецепта. На месте проглотила таблетку, заела печеньем и пошла обратно. Пока шла, боль в спине почти утихла. По дороге купила чего-то съедобного, не то пирожков, не то бубликов (голодная забастовка!).

Ни моя мать, ни брат ничего не знали о нашей акции. Я им ничего не сказала, считая, что так безопаснее для них. А теперь подумала – может, все-таки позвонить, предупредить? Что, если я исчезну и они долго ничего не будут знать, начнут тревожиться, разыскивать? Но мной к тому времени уже владела бесшабашная, ни на чем не основанная уверенность, что ничего со мной не случится. И звонить сейчас, пока все не кончилось, значит заставить близких понапрасну мучиться беспокойством за меня. Нет, решила я, расскажу все потом.

Шла и размышляла с удивлением: странно все-таки устроен человек. Вот передо мной прямой открытый путь домой. Садись в метро и поезжай! Я так сильно боялась, так не хотела идти, искала любого предлога, чтоб не пойти. А теперь предлог истинный, не выдуманный, спина у меня действительно ломаная и больная. И перед товарищами не стыдно, они понимают и сами настаивали. А я куда иду? Обратно туда же. И даже ни малейших колебаний нет. Тем более спина уже почти не болит и пятерчатка в кармане. И мне, подумать только, даже весело!

– Приемные часы закончены, – сказал мне офицер у входа. За его спиной я видела, что прихожая полна военных, солдат и офицеров.

– Я знаю, – ответила я. – Но мне нужно туда. Я там была, только вышла на минутку. Меня там ждут.

– Ждут? Кто? – офицер обернулся, перекинулся несколькими словами с кем-то внутри. – Эти, что ли? – он качнул головой в сторону зала.

– Да.

– И вы хотите к ним?

– Да.

– Зачем?

– Мне нужно.

Офицер пожал плечами:

– Ну, дело ваше. Если хотите, идите.

И пропустил меня. Очень просто.

Я пробралась между солдатами. Прошла, как призрак. Они меня в упор не видели.

В зале было уже чисто прибрано, пусто и тихо. Только телефоны со всех сторон трезвонили по-прежнему. Долго же они совещаются, никак не решат!

Меня встретили радостно и изумленно. Я рассказала про машины с солдатами.

– Это по наши души, – уверенно сказал Фима.

– Да брось.

– Точно, точно.

– Такие силы ради нас подымать? Ты что?

– Для страха. Чтоб неповадно было. Чтоб боялись.

– Мы?

– И мы, и все другие. А вдруг у нас заготовлено подкрепление, целое вооруженное войско? Вдруг оно спрятано где-нибудь поблизости. Или вдруг – они нас потащат, а прохожие бросятся нас защищать? И начнутся массовые беспорядки!

Это тоже был анекдот, мы посмеялись, но как-то уже не так весело.

– Солдатики жалко, – сказала я. – Гоняют их туда-сюда почем зря.

– Жалко-то жалко, но если прикажут, эти солдатики разорвут тебя в клочья.

Анекдоты постепенно иссякали. Доброхотные историки говорят про нас, мы, мол, пока ждали, читали вслух Библию... Трогательно. Такие подлинные еврейские евреи. Что-то не припомню такого. Может, это когда я в аптеку ходила?

Заглянул к нам в зал какой-то генерал (не разбираюсь в звездочках, возможно, всего лишь полковник), прямо от двери настоятельно предложил нам покинуть помещение. Говорил совсем не грубо, наоборот, доверительно объяснял нам, какая неприятная нас ждет судьба. Вернее, не объяснял, говорил обвиняками, но дал понять. Особенно нам понравилось, когда он сказал:

– Ну и зачем вам это? А нам столько лишних хлопот.

Кто-то хихикнул. Генерал хотел, чтоб мы ему посочувствовали!

– И зря смеетесь! – обиженно сказал генерал. – Покамест вы еще можете свободно отсюда выйти и идти по домам. А потом...

– А что потом?

Генерал махнул рукой и удалился обратно в прихожую.

Он еще мог показаться фигурой полукомической.

Но затем к нам из глубин и высот дворца спустилось, наконец, лицо весьма серьезное. Как потом выяснилось, высокопоставленный чиновник из канцелярии Подгорного. Он нам, разумеется, не представился, но видно было, что важная шишка.

Первым делом он объявил нам, что, находясь в данном помещении после приемных часов, мы нарушаем общественный порядок, а это поступок наказуемый. Не дождавшись от нас адекватной реакции, он продолжил:

– Подача коллективных заявлений запрещена советскими законами.

Начетчиков среди нас хватало, кто-то немедленно выкрикнул статью советской конституции, обещавшую соответственную свободу.

– Это прекрасно, что вы так хорошо знаете нашу конституцию. Но вы знаете свое, а мы знаем свое.

В этом никто не сомневался, и, хотя с нашей стороны посыпались возмущенные реплики, на самом деле возразить было нечего. Да и вообще, смешно ведь было пытаться что-то ему доказать, в чем-то убедить. Но мы все-таки горячились, наперебой говорили, доказывали, требовали. В главном, однако, мы его, видимо, убедили – в твердости нашего намерения сидеть тут, пока не добьемся результата.

– Хорошо, – сказал он. – Давайте поговорим спокойно. Я попрошу двоих-троих ваших руководителей подняться со мной в мой кабинет. Мы все обсудим и посмотрим, что можно сделать.

Мы объяснили, что обсуждать будем только с Подгорным.

– Товарища Подгорного нет сейчас в стране. Я уполномочен действовать от его имени. Прошу вот вас... вас... и вас, – он ткнул наугад пальцем в троих, – пройти со мной в мой кабинет.

– Они не руководители! Никуда они не пойдут.

– Тогда сами укажите мне, кто будет вас представлять.

– Никто не будет нас представлять. Никто никуда не пойдет. Ответьте на наши требования здесь и сейчас.

– Это нереально, и вы сами это знаете. И если будете упорствовать, добром дело не кончится.

С этими словами чин повернулся и ушел.

Все мы почувствовали, что где-то что-то движется. Хоть чиновник и пригрозил нам – как же без этого! – однако все-таки разговаривал с нами. Было ясно, что он еще вернется.

Время приближалось к девяти вечера. Телефоны внутри здания по-прежнему не умолкали. Не может быть, что все по поводу нас. С другой стороны, кому и зачем может понадобиться звонить сюда в нерабочее время? Или они здесь всегда так поздно работают? И все еще получают от кого-то какие-то указания? Или, наоборот, все уже ушли, и на звонки ответить некому?

Гадать пришлось не очень долго. Важный товарищ вернулся. Быстро, деловым тоном объявил:

– Принято решение удовлетворить ваши требования. Будет создана специальная комиссия, которая в кратчайший срок рассмотрит все ваши дела. Те, в отношении кого нет серьезных противопоказаний, получат возможность уехать.

В первый момент мы обрадовались. Победа! Но очень скоро сообразили, что на самом деле ни одно из наших требований не удовлетворено. Мы ведь не просили за себя лично! Мы требовали общего решения проблемы эмиграции в Израиль (правозащитники справедливо упрекали нас в узко-еврейской постановке вопроса, но я считаю, что лучше так, чем никак, тем более что нашему примеру последовали и другие, неевреи) и прекращения преследований, которым подвергались подавшие заявления на выезд.

Мы стояли в нерешительности. Лично я, в приливе внезапно обуявшего меня героизма, настаивала на продолжении сидячей демонстрации. Согласие на предложение чиновника представлялось мне поражением. Меня поддерживали многие, но без большого энтузиазма. Да мне и самой, если честно признаться, совсем не улыбалась перспектива провести здесь ночь. И когда наши «старшие товарищи» решили, что чрезмерно натягивать струну не

стоит, что большего сейчас уже не добиться и надо уходить, мы все восприняли это с облегчением, хотя и знали, что потерпели неудачу.

А с другой стороны – чего бы мы, собственно, стали добиваться дальнейшим сидением? Чтобы этот чиновник вынес нам готовый закон о беспрепятственном выезде советских евреев в Израиль? Чтобы он обещал не преследовать подающих заявления? Чтобы их не выгоняли с работы и т. п.? То есть чего-то совсем уж нереального.

Так что неудача наша была относительная. Тем более что позже другие последовали нашему примеру, заседали в приемной и тоже кое-чего добивались. Единственное, что мне до сих пор представляется загадочным во всей этой истории, это тот факт, что мы сразу и безоговорочно поверили его обещанию насчет комиссии и пересмотра дел. Казалось бы, откуда такое доверие к власти? Ей-богу, просто загадка. То, что они слово сдержали, теперь мне не кажется странным. Но мы-то этого знать заранее не могли! А поверили, не усомнились... Очень удивительно, до сих пор не пойму.

И когда он обещал нам беспрепятственное возвращение домой, мы тоже ему поверили. И разошлись по домам – и никто нас не тронул. У меня, как и у всех, был личный охранник в штатском – шел всю дорогу в двух-трех шагах позади меня, и в метро со мной ехал, и до самого дома довел, и ни разу не заговорил со мной.

Настроение было какое-то смутное. После сидячей эйфории произошел неизбежный спад. В том, что нас скоро выпустят, я была почти уверена. Ну, тут бы и радоваться. Ликовать. Ради этого ведь и участвовала в мероприятии!

А я – вероятно, впервые – по-настоящему осознала, что мне предстоит уехать от всех и от всего – навсегда. Навсегда! Мы ведь тогда уезжали навсегда, с неясной надеждой, что, может быть, когда-нибудь... И мне стало страшно. Совсем иначе страшно, не так, как перед походом в приемную. Теперь это не был обычный страх за себя. За себя я тогда не слишком беспокоилась. Так или иначе, непременно устроюсь на новом месте. В крайнем случае замуж выйду. Но – а вдруг в самом деле никогда больше не увижу мать и брата? И друзей? И вообще все, знакомое и родное?

И зачем только я все это затеяла! Так уж рвалась жить среди евреев? Ведь нет, не было этого. И мать моя, которая родилась и выросла в белорусском местечке, не раз говорила мне: «Не знаю, как ты там уживешься. Ты ведь евреев совсем не знаешь. Ты представляешь их себе высококолобыми интеллектуалами, как твой отец и дед. Ты сильно заблуждаешься».

Она была права, в моем окружении евреев было очень мало, и почти все – самого высшего качества. Мое представление об «обыкновенных» евреях почерпнуто было в основном из полушувтовских рассказов Шолом-Алейхема и куда более серьезных и мрачных произведений Давида Бергельсона. Бергельсона я высоко ценю как писателя, но желания общаться с ними его герои не вызывали. И еще сильнее отталкивали меня произведения полуклассика советской литературы Исаака Бабеля – мне явственно чувствовалась в нем подделка. Подделка мастерская, чрезвычай-

но ловкая и талантливая, но – созданная на потребу и в угоду не-евреям. Еврейская, так сказать, экзотика в наилучшем исполнении.

Таким образом, литературное мое знакомство было не очень-то в пользу евреев. Однако я никогда не забывала, что еврейка и я сама. Я к тому времени уже хорошо понимала, что еврейство – это такая вещь, отделить которую от себя нельзя никаким образом, и любые попытки это сделать недостойны и унизительны. Но и жить с этим отличием в России тоже казалось мне унизительным. Особенно после так называемой «пресс-конференции» еврейских деятелей искусств. Пятьдесят именитых, популярных, любимых народом актеров, писателей, художников сидели перед телевизионной камерой и публично покрывали себя позором, проклинали сионистских агрессоров.

Я не удивлялась их поведению. Слава богу, сама ведь выросла в этой стране. Нет, не удивлялась и даже не осуждала – но ужасалась. Вот что могут ведь сделать и со мной. Не на таком, разумеется, высоком уровне. Но вот устроят, скажем, в моем группковом собрании на эту тему – и что мне тогда? Изворачиваться, отговариваться болезнью? Можно. Но слишком уж унизительно. А в следующий раз? И в следующий?

К этому времени я уже вполне созрела до понимания, что нет и не будет у меня в этой стране никакой возможности сохранить собственное достоинство – избежать тех или иных унизительных ситуаций, связанных с моим пятым пунктом. Тех или иных – порой грубых и прямолинейных, порой скрытых и жалящих исподтишка, – какие бывали в моей жизни не раз.

Единственная возможность – жить там, где этого пятого пункта нет, вернее, есть у всех.

Пока я подходила к дому, мои мысли проделали полный оборот, и я снова не сомневалась в правильности моего решения. Не радовалась, нет, просто угрюмо сжала зубы, зная, что пойду этим путем до конца.

Власть свое слово сдержала. Очень скоро, второго марта, меня вызвали в ОВИР (Отдел виз и регистраций). Сказали, что мне разрешен выезд. Дан срок до десятого марта. Велели принести деньги за визу и за отказ от гражданства. Еще мне сообщили, что мне надо зайти в некую комнату в том же здании, на втором этаже. Я догадывалась, что это за комната, и хотела было не идти, но товарищи, тоже вызванные в ОВИР и ожидавшие внизу своей очереди, сказали, что лучше не злить их, не рисковать.

Встретил меня приятной, мужественной внешности человек в штатском костюме. Позже стало известно, что это был генерал КГБ Минин. Не представился, конечно, и навстречу мне не встал. Но сесть предложил. Беседа началась в задушевном, комплиментарном тоне.

– Юлия Меировна, мы знаем вас как умную, интеллигентную женщину. Что толкает вас на этот опрометчивый поступок?

Они меня знают! Да я-то вас не знаю! И знать не хочу. Но я промолчала.

– Неужели вам так плохо в нашей стране?

Опять пришлось промолчать.

– Какие-то проблемы? Но их можно решить.

– Спасибо, у меня нет проблем.

– Работаете вы, говорят, неплохо. А как с жильем? Мы ведь действительно можем помочь.

С жильем у меня было плохо, и они это знали. А вдруг и впрямь помогут? Голова знала, что поддаваться этому никак нельзя, но сердце ёкнуло.

– Спасибо, не надо.

– Ну, как хотите. Мы ведь к вам со всей душой, а вы вон как.

Человек посмотрел на меня с обиженным укором.

– Ну да ладно. Итак, вы уедете. Но у вас остаются здесь мать и брат. Мы знаем, что вы к ним очень привязаны. А вы подумали, каково им будет тут без вас?

– Вы будете их преследовать?

Человек рассмеялся:

– Что это вы все такие напуганные? Везде вам чудятся преследования, всякие страхи, бог знает что...

Да, отчего бы это так? Какие у нас могут быть основания для страха!

– Не в этом дело. Но они будут без вас очень скучать, тяжело ведь знать, что они больше никогда вас не увидят. А вы их.

– Почему же никогда? Со временем, когда я устроюсь, они тоже переберутся ко мне.

– Да? Вы в этом уверены?

– Уверена быть не могу. Но надеюсь – разве что вы их не отпустите.

– Ну вот, опять вы. Опять вы делаете из нас каких-то монстров. Зря вы так, Юлия Меировна, ей-богу, зря.

– А то что?

– Да ничего. Почему же не отпущу? А вы уверены, что они этого захотят?

Я и в этом не была уверена. Брат еще не созрел, а мать прямо говорила, что делать ей там нечего, работы она не найдет, друзей новых не заведет, а языка наверняка не выучит. А генерал словно подслушал мои мысли:

– Вы сами-то как, знаете идиш?

– Идиш? Нет, не знаю.

– Как же вы будете там без языка?

– Язык выучу. Только не идиш.

– Не идиш? А что?

Позже я узнала, что генерал знал и идиш, и иврит, и для чего он ломал комедию – не вполне понятно. Видимо, это был такой способ расслабить меня, настроить на более спокойный лад, внушить мне, что это у нас не игра в кошки-мышки, а нормальный человеческий разговор. Он порасспросил меня про иврит, выразил свое восхищение тем, что евреи оживили древний язык Библии и говорят на нем.

– Я одного не понимаю, – сказал он, задумчиво постукивая карандашом по лежащему перед ним делу, наверное, моему. – Как такая достойная, интеллигентная женщина могла связаться с этим сбродом, – он качнул головой, обозначая, видимо, людей, ожидавших внизу. – Мы ведь знаем, что там за люди, совсем не вашего круга.

Это, надо полагать, был мне очередной комплимент. Не знаю, какой реакции он от меня ожидал, но я решила, что отвечать на этот вопрос не стоит.

Он помолчал немного и, не дождавшись ответа, грустно вздохнул:

– Мне жаль. Мне просто по-человечески жаль отпускать вас в страну, о которой вы ничего не знаете. Где вам будет плохо и тяжело. Прямо и не знаю, что с вами делать.

– Ничего не делать. Отпустить.

– Да отпустить-то легко... А вот... тревожно за вас. Непокойно на душе. И думаешь: как бы вам помочь.

Надо же, какой заботливый. И вот ведь что смешно: хочется поверить! Ничего не скажешь, умеет, гад!

– А я подумал... знаете что? Вам бы хорошо сперва съездить туда на пару месяцев, на полгода, осмотреться, ознакомиться... а?

– Да, это было бы хорошо.

– Ну? Так в чем дело? Съездите туда по туристической визе, все разузнаете. Понравится – вернетесь и оформите выезд на постоянное жительство, а не понравится – останетесь тут.

– А разве это возможно?

– Стал бы я иначе вам это предлагать?

– Но это же замечательно! А я и не знала! Пойду поскорей скажу своим! Так ведь многие захотят, если не все.

– А вот этого не надо, – генерал смотрел на меня проницательным, истинно гэбэшным взглядом. – Этого как раз делать не надо! Я предлагаю это лично вам, в порядке исключения, и остальные ничего не должны знать. Ка-те-го-ри-чес-ки. Вы меня поняли?

– Поняла.

– Хорошо поняли?

– Поняла.

– А вам я даю день на размышления, завтра жду вас с ответом.

Я сбежала вниз по лестнице, как полоумная. Словно за мной гнался кто-то. За мной гналось соблазнительное предложение гэбэшника. Я понимала, что он может это выполнить. И понимала, что не даром. За это придется платить. Не знаю как, но платить придется непременно. Я боялась самой себя, поэтому мне необходимо было немедленно рассказать другим, чтобы отрезать себе пути к отступлению.

Фима выслушал мой возбужденный рассказ и сказал спокойно:

– Вот сволочь. Знает, на что ловить. Ну?

– Я не ответила. Сказала, что сейчас же расскажу всем, что можно съездить туристом. А он велел никому не говорить.

– Ты все сделала правильно.

– Он велел завтра прийти и дать ответ. Я его боюсь.

– Ничего не бойся и никуда не ходи. Он теперь других будет на эту же удочку цеплять. А про тебя ему и так будет все ясно.

Я послушалась Фиму и к гэбэшнику больше не пошла.

И после недели лихорадочных сборов я уехала. И уже много лет, больше чем полжизни, живу в Израиле. Среди евреев. И ничего, привыкла.

МОЙ ДОМ

Теперь я живу в доме без сада.

Дом стоит в самом-самом центре города Иерусалима, то есть в центре мира. А по виду никак не скажешь. Просто старый – а по иерусалимским меркам старинный – дом на улице короля Георга V. Закоптелый фасад со следами давней незавершенной чистки, с балкончиками, когда-то кокетливыми, а теперь заваленными всяким хламом, и с подъездом... но подъезд заслуживает отдельного описания.

Когда-то этот дом предназначался для жизни в роскоши и комфорте. В начале тридцатых годов прошлого века его выстроил арабский подрядчик для мандатных англичан, в нем находился так называемый *apartment hotel*, то есть гостиница с номерами-квартирами, где подолгу жили высшие чиновники и знатные гости. Роскошь – роскошью, однако лифта в пятиэтажном доме не было, мы до сих пор без него страдаем. В остальном зато шику было много. На выдвинутом уступе крыши имелся солярий, где постояльцы могли принимать солнечные ванны. На каждом этаже была одна огромная, по теперешним нашим понятиям, квартира из пяти просторных комнат и сбоку маленькая отдельная комнатка для прислуги. Потолки высоченные. Пол в комнатах выложен узорной керамической плиткой ручной работы. Белые кафельные голландские печи. Глубокие ванны на львиных лапах. С тыльной стороны балконы были попроще, зато из окон открывался просторный вид на красные черепичные крыши квартала Нахлаот. Фасад, из лучшего хевронского камня, блистал розоватой белизной, вход украшали две хорошенькие мраморные колонки, двери были кованые железные, а у входа сидел привратник.

Пишу я все это с завистью и грустью. Вот жили люди! Нет, не благополучию их я завидую. И не большим квартирам, и не прислуге. А тогдашней красоте этого здания. Светлому его фасаду, светлым балконам и чистой лестнице.

С возникновением государства Израиль с нашим домом начались долгие метаморфозы. Сперва он поступил в ведение государственной жилищной компании Амидар. Амидар немедленно снес массивные голландские печи, разбил все пространство на клетушки и начал заселять их новыми гражданами: европейскими евреями, выжившими в Катастрофе, и беженцами из Алжира, Туниса и Марокко. Все эти люди прибывали в страну без ничего, дом наполнился детскими криками, бедностью и гарью от примусов и керосинок. И, естественно, начал превращаться в трущобу.

Я купила свою квартиру в 83-м году. К тому времени свой трущобный характер дом уже начинал утрачивать. Клетушки были ликвидированы, временные перегородки снесены, и квартиры снова обратились в квартиры. Только теперь на каждом этаже вместо одной их стало по четыре. Прежних амидаровских жильцов осталось – четверо стариков. Вернее, старик и три старухи. У всех у них были большие семьи, дети-внуки, которые все постепенно переселились в собственные квартиры в новостройках, а кое-кто и дом себе выстроил. Старики жили теперь поодиночке в пустых

трехкомнатных квартирах. Одна из старух по имени Хая была моей ближайшей соседкой. Она и рассказала мне историю нашего дома. А ей рассказал бывший привратник, обитавший некогда в соседней с ней клетушке.

– Ах, как он рассказывал! – говорила мне Хая. – Какая жизнь была! Прямо слюнки текли.

Жить тогда в своей квартире я не собиралась. Мне в Гефсимании было хорошо. А Хае было одиноко и скучно, хотелось соседку помоложе, и она уговаривала меня:

– Переезжайте сюда! Ну что вам там делать, среди арабов?

– Они прекрасные соседи, – беззаботно говорила я. – Относятся к нам хорошо.

– Много ты знаешь, – Хая досадливо махала рукой. – Ничего ты про арабов не знаешь.

Сама она была родом из Марокко, свободно говорила по-арабски и по-французски и угощала меня вкусной восточной едой. А покойный муж ее был польский еврей, они как раз тут же, в этом доме, и познакомились. Муж завел перчаточную мастерскую, делал рабочие и армейские перчатки и быстро преуспел. И они купили у Амидара свои две клетушки и еще три соседних, получилась квартира. В ней они жили и вырастили своих двоих сыновей – занятная получилась смесь.

То же происходило по всему дому, и он постепенно становился все более респектабельным. Утихали детские крики на лестнице, рассеивалась керосинная гарь. Ресторан «Гондола» на первом этаже, один из старейших в Иерусалиме, на какое-то время сильно опростился, стал непритязательной едальней. А теперь его хозяин обложил лестничные стены от подъезда черным с блестками гранитом, отчистил и отполировал ведущие к нему мраморные ступени – все это, впрочем, кончалось у входа в ресторан. Но снизу, от подъезда, вид получался весьма импозантный. И ресторан вернул себе прежний статус престижного заведения с итальянской кухней. Сюда начали захакивать даже члены Кнессета, здесь назначались бизнес-завтраки и ланчи высокого уровня.

Я радовалась, что вовремя купила квартиру, пока она была еще не слишком дорога. Впрочем, первоначальная ее цена была нам все же не по карману, и самой мне доторговаться до приемлемой никогда бы не удалось.

Дело происходило так. У меня была выкупленная по сверхтвердой цене амидаровская квартирка, маленькая, но симпатичная. И в случае чего мы с моим мужем вполне могли бы в ней жить. Беда лишь в том, что находилась она в квартале, быстро превращавшемся в ультраортодоксальный. Бежали оттуда не только светские, но и религиозные жители менее крайних убеждений. Недолгое время мы в ней пожили, и каждую субботу вокруг Джона, заводившего свою машину, собиралась толпа, которая осыпала его градом отчаянных воплей: «Шабес! Шабес!» Правда, как только он сообразил объяснить им, что он гой, не еврей, вопли прекратились, и его даже приглашали пару раз в качестве шабес-гой – включить свет или починить что-нибудь. Но доброжелательный сосед в моем доме, вполне религиозный, настоятельно советовал нам поскорей оттуда уходить. Он и сам вскоре переехал, не

желая, как он мне сказал, чтобы его дети выросли невежественными фанатиками. И я продала свою квартиру.

То было время скачущей инфляции, деньги приходилось держать в долларах и следовало как можно скорей вложить их во что-то надежное. Джон убеждал меня, что необходимо иметь собственное жилье. Я начала искать.

Посредник показал мне несколько квартир, подходящих по цене, но ни одна из них не виделась мне моей. В числе прочих он показал мне и квартиру на улице Короля Георга. Квартира мне очень понравилась, за одним исключением: кухня была оборудована новенькими шкафами и шкафчиками черного цвета с золотой отделкой. Раковина была черная с золотым краном. Даже газовая плита и холодильник были выкрашены в черный цвет с золотыми ободками. Хозяин показывал эту кухню с особой гордостью, а я тем временем прикидывала, во что может обойтись, если всю эту красоту выломать и вывезти и поставить другое. Но когда я услышала цену, запрашиваемую хозяином за квартиру, проблема кухни перестала меня волновать.

Стала искать дальше. Шекели мои пухли, доллары таяли. Надо было торопиться. Джон вызвался добавить деньжонок из общего фонда, но я знала, что много там нету. Другой квартирный агент и еще другой... и еще... И один из них повел меня опять в ту же квартиру на улице Короля Георга. Да я ее уже видела, отбивалась я, она слишком дорогая! Но он упорно тянул меня туда, посмотри еще раз, говорил, не пожалеешь. Увидела я снова эту квартиру, и опять она мне явственно сказала: бери меня, я твоя! В прошлый раз она была забита вещами – как-никак здесь жили двое взрослых и четверо детей, – а теперь стояла пустая и просторная. А главное – кухни не было! Черной с золотом кухни – не было!

– А где же кухня? – невольно спросила я.

– А, понравилось! – удовлетворенно ответил хозяин. – Нет, жалко стало оставлять, очень уж хороша. Я ее к себе на виллу перевез.

– На виллу! Вы себе виллу выстроили?

– Выстроить-то выстроил, да вот теперь надо с долгами расплачиваться. Поэтому и продаю по дешевке.

«Дешевка» его была все же намного больше, чем я могла заплатить, хотя, действительно, меньше прежней цены. Квартира настойчиво требовала «купи меня, купи!», и я неловко попыталась торговаться. Ничего не добилась, конечно. Хозяин видел, что я эту квартиру хочу, и не уступал ни копейки. Денег у тебя не хватает? – говорил он. – Подумаешь! Возьми ипотечную ссуду в банке. Отдавать будет нечем? Ну, как-нибудь обернешься.

Я знала, что здесь многие рассчитывают на это «как-нибудь». Но сама так поступить боялась. Заложу квартиру, не сумею расплатиться с банком, он и отнимет ее у меня... И опять я ушла ни с чем.

Был у меня в Иерусалиме отдаленный родственник, и даже не родственник, а муж дальней родственницы. Настоящий польский джентльмен чрезвычайно представительной внешности, высокий, подтянутый, с серебристой шевелюрой. Я рассказала ему про квартиру и как я жалею, что не могу ее купить. Ладно, сказал он, пойдем поговорим с продавцом.

Назначили встречу. Олек явился на нее в убогоприлично солидном и деловом виде. Элегантный темный костюм-тройка,

светлая, но неброская рубашка, модный темный галстук, в руках кожаный кейс. А на руках – черные кожаные перчатки. Я думаю, в конечном счете именно перчатки и решили дело.

Йоси-хозяин аж из-за стола вскочил и чуть ли не выбежал на встречу Олеку, торопливо протянул ему руку. А Олек не спеша снял правую перчатку, изящно прихватил ее второй рукой, обменялся с Йоси рукопожатием, слегка склонив голову, представился полным именем.

Йоси принимал нас в комнате (теперь там моя спальня), заставленной полками с косметикой. Он занимался так называемой прямой продажей – брал без посредников продукцию с фабрики, нанимал в качестве агентов безработных женщин и девушек, и они носили косметику по домам, пытаясь убедить хозяек что-нибудь купить. Дело это не очень чистое, но для хозяина весьма прибыльное. Продадут женщины с наценкой – приварок и есть оплата их труда, а не продадут – это их проблема. Хозяин в накладе никогда не останется, поскольку раздает женщинам товар за хорошие деньги и обратно ничего не примет.

Я разглядывала баночки и флакончики, а между мужчинами шел негромкий серьезный разговор. Йоси расхваливал свою квартиру, а Олек вставлял время от времени лаконичные замечания:

- Четвертый этаж без лифта.
- Грязная лестница, неухоженный подъезд.
- Необходим капитальный ремонт.
- Кухня... ванная... трубы... проводка... – и т. п.

Наконец Йоси замолчал, и тогда заговорил Олек своим глубоким бархатым баритоном:

– Йосеф. Мы с вами оба бизнесмены, понимаем друг друга с полуслова, поэтому буду краток. Юлии нужна эта квартира для проживания в будущем, а вам сейчас необходим офис. Из далекой окраины, куда вы переехали, вести дела нельзя. Лучшего места для офиса, чем здесь, в центре, вам не найти. Кроме того, вы срочно нуждаетесь в деньгах. Я предлагаю следующее: вы продаете Юлии квартиру за (он назвал имевшуюся у меня сумму), и остаетесь здесь на ближайшие полгода – бесплатно. Позже, если захотите, сможете договориться с ней о дальнейшей аренде. Если вы принимаете это предложение, немедленно идем к адвокату для оформления сделки, и в течение недели вы получите всю сумму. Если же нет – на этом наш разговор окончен.

Свои слова Олек подкреплял изящными жестами левой руки, державшей вторую перчатку. Йоси не отрывал от нее зачарованного взгляда. Под конец он открыл было рот, но сказать ничего не успел. Олек решительным движением надел правую перчатку и повторил:

- Если же нет – расстанемся друзьями.

О магия перчаток! Завороженный ею, ослепленный титулом «бизнесмена» из уст столь блистательного коллеги, мелкий левантійский гешефтмахер Йоси продал мне квартиру на предложенных условиях – на десять тысяч долларов дешевле, чем запрашивал, уже без кухни! Правда, потом, когда магия рассеялась, он проявил редкостную изобретательность, пытаясь себе этот убыток возместить. И немало преуспел...

К тому времени, как я ушла из Гефсимании и, уже одна, поселилась в своей квартире, респектабельность нашего дома казалась почти завершенной. В подъезде поставили новую застекленную входную дверь в металлической раме благородного бронзового цвета, на ней появилась табличка с цифрами, а в квартирах установили домофонные коробки. Ресторан «Гондола» процветал и приводил в дом весьма почтенную публику.

Правда, стоило повернуть голову от красивой двери «Гондолы» вправо на той же площадке, как гранитная облицовка кончалась, и вместо заманчивого ресторанного мерцания взгляд упирался в бронетанкового вида заслон с зарешеченным окошком, окрашенный в грозный темно-красный цвет. Красоты эта дверь нашему дому не прибавляла, зато прибавляла солидности, ибо за нею размещалось иерусалимское отделение левой (но не самой левой) Объединенной рабочей партии – МАПАМ.

Партия эта пробыла некогда у власти бессменно почти двадцать лет, а к тому времени давно находилась в оппозиции, но влияния своего полностью не утратила. И сюда в поисках покровительства нередко забегали новые граждане советского происхождения. То были славные девяностые, времена большой алии из СССР – России. И, хотя в массе своей экс-советские израильтяне Партию Труда не жаловали, справедливо видя в ней разность вируса ненавистного социализма, однако голод не тетка, а от партии при правильном подходе могло что-нибудь и обломиться.

Известная мера респектабельности начала возвращаться и ко второму этажу. Здесь стали нанимать помещения всяческие деловые и полуделовые люди: третьей руки адвокаты, начинающие зубные врачи, финансовые консультанты без собственных средств. Быстрой вереницей сменяли они друг друга на пути к преуспеянию либо к тюрьме, и лишь одна контора сидела на своем месте вроде бы прочно, не опасаясь банкротства и не торопясь к преходящему успеху. Притянутая сюда, словно магнитом, соседством соперницы этажом ниже, здесь располагала свое иерусалимское отделение сугубо правая (но все же не самая правая) партия Возрождения, Тхия.

У Тхии не было железной двери, и состояла она тогда, в отличие от МАПАМа, в правительстве, а не в оппозиции, но в остальном эти два горкома были чрезвычайно между собой схожи. Недаром и жили они друг с дружкой в мире и взаимном уважении. Оба размещались в прекрасных просторных апартаментах – у МАПАМа, по праву старшинства, побогаче, но и у Тхии недурно. Некий новый гражданин из России, заглянув ненароком в Тхию, зачарованно свистнул: «Две семьи могли бы жить!» (а если бы заглянул в МАПАМ, то и три-четыре), на что получил суровый ответ: «А кто бы тогда о вашей алии заботился?»

И действительно. Обе партии интенсивно заботились об алии. Заседали, горячо обсуждали и принимали решительные резолюции, категорически требуя от правительства. И сами тоже делали немало. Обе партии не жалели денег, отправляя новых граждан в познавательные прогулки по стране. Заводили для них кружки рисования, шитья и хорового пения. Устраивали для них отдыхательные семинары по разным важным вопросам. Разница была

лишь та, что Тхия, по относительной молодости лет, прямолинейно рубила при этом сплеча: «Айда со мной давить арабов, заселять оккупированные территории, и будет хорошо», а искушенный в битвах МАПАМ действовал больше через подрастающее поколение, точка по капле соблазн в чистые души: «Милости просим ко мне в кибуц, сядьте на мой пенек, скушайте мой пирожок...»

Словом, на выборах многим свежим гражданам было за что отблагодарить обе эти партии, отдав за них свои девственные голоса. К выборам оба отделения оживились, вымыли окна, распахали по шкафам папки с давно забытыми делами, смахнули пыль с агитационных материалов. Стали заглядывать на огонек, каждый на свой, тогдашние партийные вожди, как правые, так и левые. Начались собрания и заседания, забегали активисты с подносами, разнося легкое угощение, — стало интересно.

Состоялись, наконец, выборы, и в горкомах снова воцарилась благотворная для нашего дома тишина.

На четвертый этаж деловая сфера распространялась с трудом. Лифта в доме нет, а ступеньки крутые; для преуспевающего дельца контора тут непрестижна, а для начинающего все же слишком дорога. Поэтому тут бестревожно проживали три амидаровские старушки. А в четвертой квартире поселилась я, предварительно изгнав оттуда Йоси с его духовитым товаром.

Я так легко говорю «изгнав», а далось мне это совсем не легко. Йоси прочно обосновался в квартире, по-прежнему, видимо, считая ее своей, хотя на самом деле уже годы снимал ее у меня. Олега рядом со мной не было, поэтому квартплату Йоси выторговал себе невысокую. В разговорах он называл меня «сестрой» и объяснял, как он заботится о моих интересах.

— Я вижу, — говорил он, — что человек ты хороший, добрый. Но неопытный. А ты мне как родная сестра. Поэтому обмануть тебя будет просто грех перед Господом и собственной моей совестью.

Однако же и Господь, и собственная его совесть явно подсказывали моему «брату», что просто грех будет не обмануть меня. И греха этого он успешно и последовательно избегал.

Прежде всего, он перенес свой косметический офис в ту каморку, где раньше была кухня. А две комнаты пересдал двум другим бизнесменам: большую под курсы подготовки к экзаменам на аттестат зрелости, а ту, что поменьше, под компанию с загадочным названием «Человеческие связи». Сделал он это, не спросив моего согласия, но я и не знала, что это против закона. И дохода получал ровно вдвое больше, чем платил мне.

Затем он предложил мне купить у него телефон, то есть телефонную линию. Без телефона, сказал он, тебе не обойтись, я же уступлю тебе гораздо дешевле, чем берет телефонная компания, а себе закажу новый. Я, разумеется, согласилась, заплатила, и он аккуратно перевел линию на мое имя. Мне и в голову не пришло, что следует немедленно мой новый телефон отключить. И Йоси, на правах близкого родственника, без стеснения им пользовался, пока его не отключили за долгую неуплату счетов. Звонил Йоси много и часто, также и за границу, а международные звонки были в ту пору очень дорогие. Все телефонные счета к моменту моего

вселения аккуратно сложены были на подоконнике, и все на мое имя. Хочешь снова подключить телефон – оплати все счета, выросшие проценты, а также штраф.

Это, однако, был не единственный сюрприз, поднесенный мне заботливым «братом». Сгонять его с насиженного места пришлось с помощью полиции. Уходя, он сказал мне с горьким упреком:

– Эх ты! А ведь я к тебе как к родной... А ты на меня полицию... Господь тебе судья!

Ну, Господь и рассудил. Кроме телефонных, на подоконнике лежали также просроченные счета за воду и электричество, и главное, счета на «арнону», городской налог – за четыре года. Там же лежали и вызовы в суд, и счета на штрафы за неявку... Это все было на Йосино имя, не на мое, ему бы и платить, но где он, Йоси? Адреса он мне не оставил, не оставил и номера телефона...

Увидела я, какую это все вместе составляет сумму, и чуть не заплакала.

В городском управлении ко мне отнеслись сочувственно. Да, сказали они, эта система нам известная. Некоторые нечестные люди так делают. Но ты не волнуйся, мы его найдем через министерство внутренних дел, он обязан был сообщить туда свой новый адрес. Найдем, и к суду притянем, и заплатит заставим.

Однако в министерстве значился прежний его адрес, то есть моя квартира. Ничего, сказали мне в муниципалитете, мы найдем его через детей, пошлем запрос во все школы. Но и в школах детей с такой фамилией не оказалось. (Позже я узнала, что он взял себе девичью фамилию жены и таким образом замел все следы). И в конце концов пришлось-таки мне платить, хотя добрый муниципалитет скостил мне плату за один год, а на остальное дал ежемесячную рассрочку.

...Спустя долгое время, когда я уже ободрала обои в квартире, и побелила стены, и сломала одну стенку, и выстроила другую, и отдраила все следы старой грязи и нового ремонта, когда все в квартире нашло свои законные места и я почти привыкла уже к новой жизни, я встретила на рынке Йоси с женой. При виде меня он радостно заулыбался и раскрыл мне навстречу родственные объятия:

– Ронит, смотри, – закричал он жене, – это наша Юлия! Юлия, сестренка, как поживаешь?

Я уклонилась от объятий и сказала жене:

– Ваш муж жулик и обманщик, его место за решеткой.

– Ну-ну-ну, – рассмеялся Йоси, – зачем же так. Ты мне спасибо должна сказать, что я тебя поучил немного. А не будь ффраершей! Другой раз води себя умнее.

Замечательное слово «ффраер». Очень точно передает образ доверчивого растяпы, которого облагопошит всяк кому не лень. Я, разумеется, стала умнее, однако ффраершей побывала еще не раз.

С моим вселением дом совершил очередной шаг на пути к своей возрождающейся респектабельности: приличная женщина не первой молодости, вдова без детей. Ни шуму от нее, ни мусора. Занимается чистой, интеллигентной работой – сидит себе, стучит что-то на машинке. Через год-другой в квартиру внесли компьютер, и мой рейтинг среди обитателей дома значительно повысил-

ся: до тех пор компьютер был только в конторе по найму рабочей силы на третьем этаже.

Кстати, об этой конторе, под нежным названием «Авив», весна. За двадцать с лишним лет моего проживания в этом доме обок меня прошла длинная вереница соседей – хозяев и съемщиков, жильцов и офисов. Давно уж нет тут ни амидаровских стариков-старушек – да и нигде их уже нет, растворились в радужном потоке мировой жизни; ни бывших правых-левых партий – эти тоже отцвели и увяли, рассеяв вокруг семена новых правых-левых; ни компаний-эфемерид, ни даже ресторана-ветерана – стоял он, стоял, накрывал многочисленные столы хрустящими белыми скатертями, ставил изящную сервизную посуду, одевал своих официантов в селянские итальянские костюмы – а посетителей все меньше, а поварам и официантам все меньше дела, да так и свернулся наш ресторан.

Стеклышки этого калейдоскопа меняют свои узоры так быстро и так часто, что глаз не всегда и улавливает их передвижение. И только на конторе по трудоустройству ему можно остановиться без опаски и надолго.

Вот кому не грозит банкротство! Благоустроенные и благополучные сюда не забредают, таких же, что забредают, всегда было и будет в достатке. А потому и контора эта устойчива и неизменна. Ей и место здесь в самый раз – центральное, почти благопристойное, но и в меру заплеванное и замусоренное, чтоб не смущать безработного клиента излишней чистотой и роскошью. Непрерывным потоком идут сюда озабоченные трудоиискатели, чтобы выйти отсюда в новом качестве «работников от подрядчика» – уборщиков и уборщиц, охранников, нянек «по уходу за стариками» и прочих скудно оплачиваемых и слабо охраняемых законом профессий. Незримо пережевывает контора малоперспективных своих клиентов, чудным образом извлекая из них чистый, незамутненный денежный сок. Вот и сидит она на месте прочно и в прошлое не уходит. И боюсь, нескоро уйдет.

Тем временем поступательному движению дома в сторону респектабельности нанесен был тяжелый удар. Из помещения на третьем этаже съехал очередной съемщик, и на его месте расположилось заведение под вывеской, звучавшей безобидно и даже увлекательно: «Мишель – Институт здоровья и силы (массаж, сауна, душ, процедуры)».

Стон прошел по всем этажам при виде этой бодрящей вывески. Оценщики недвижимости сразу резко снизили цены на наши квартиры. Приличная адвокатская контора на том же этаже испуганно снялась с места, и ее помещение надолго опустело.

Нежный звон колокольчика на двери Института с утра и до поздней ночи растекался по всей лестничной клетке, отдаваясь в наших сердцах холодным отчаянием. Выгнать их не было никакой возможности – все документы и разрешения, в том числе и от полиции, были у них в порядке. Расходы по содержанию дома они платили вовремя и без пререканий. Пивные банки и окурки, оставляемые на лестнице их многочисленными клиентами, убирали быстро и вообще всячески старались избегать любых неприятностей.

Правда, полиция, опасаясь наркотиков и совращения малолетних, все-таки держала их под присмотром и нередко посещала Институт, но выходила оттуда ублаженная и добрая – видно, не обнаруживала ничего плохого, а только хорошее.

Словом, дела их шли прекрасно. Зная о наших тщетных попытках выжить их из дома, сотрудницы заведения, не самой первой молодости, но мускулистые и минимально одетые, окидывали нас на лестнице безразлично-торжествующими взглядами. Впрочем, заведение было все-таки еврейское, поэтому все у них было тепло, по-семейному: сотрудницы нередко приводили с собой на работу детей, избранным посетителям – а бывали среди них весьма известные публике – давали после процедур подкрепиться нежирным творогом «Коттедж» с булочкой. А сам «Мишель», по имени Дуду, с глубокой укоризной говорил недовольным соседям: «Чем мои сотрудницы хуже тебя? Ну скажи, скажи по человечеству – чем?»

Ответить на это действительно было трудно. Тем не менее спустя лет пять Институт внезапно вывинтил из потолка свой заржавленный душ, выломал из пола облупленную ванну «джакузи», погрузил на грузовик массажные столы и траченные молью красно-бархатные кресла и, вместе с сотрудницами и их детьми, поспешно отбыл в неизвестном направлении. Не знаю, что их вспугнуло.

Институт оставил по себе долгую и, видимо, добрую память. Весть о нем передавалась от отца к сыну. Годы прошли, а ко мне в дверь до сих пор стучатся иногда прыщавые молодые люди в черных шляпах и длиннополых шляхетских кафтанах и, стыдливо прикрываясь пейсами, робко спрашивают: «А где тут... ну... как его... ну... это?» Поначалу я переспрашивала с ненужной жестокостью: «Какое еще “это”?», заставляя бедных ешиботников извиваться от неловкости. Теперь же просто, по-деловому объясняю, что «этого» здесь давно нет. Тогда, ободренные моим бабушкиным видом и неосуждающим тоном, они начинают расспрашивать меня, куда переехало и не знаю ли я, где «это» есть поблизости... К стыду моему, нет, не знаю. Учитывая заповеди Торы относительно бесплодного рукоблудства и недолгие разрешенные дни совокупления мужа с женой, ясно, что в нашем святом городе «это» – вещь полезная и богоугодная.

Помещение Института мгновенно купил молодой, смуглый, чистенько одетый господин с живыми черными глазками, с небольшим твердым брюшком и с сильным французским акцентом. Одна из первых ласточек начавшегося вскоре массового нашествия французских евреев. Загрохотали отбойные молотки, круша целомудренные институтские перегородки; в оконницы встали новые металлические рамы с цельными зеркальными стеклами; проваленный пол покрылся скользким кремовым мрамором. Жильцы затаили дыхание: что-то здесь теперь будет? И вот наконец на место дряхлой институтской двери с жалким ее колокольчиком вдвинулась в проем солидная темная панель со скромной медной табличкой посередине. А на табличке два слова: «REAL ESTATE».

Волшебные слова! Это вам не какая-нибудь там плебейская контора купли-продажи квартир и земельных участков либо «посредническое бюро, цены доступные», куда мог сунуться любой

голоштанник с иммигрантской ипотечной ссудой в кармане. Сюда приходили солидные люди, предварительно сговорившись о визите по телефону. Здесь пахло серьезными делами, крупными сделками, здесь пахло хорошими деньгами! И запах этот волшебным разливался по всему дому, неощутимо облагораживая его.

Планов у него было – громадьё. Скупить в нашем доме все квартиры, перестроить и вернуть их, в полном блеске роскоши и комфорта, к первоначальному их назначению в качестве дорогих апартаментов полугостиничного типа. Он уже и почву начал прощупывать среди квартирохозяев, и кое-кто был не против.

Широко размахивался французик. Набрал банковских, а также и иных кредитов под верные будущие доходы, закупал квартиры по сходной, казалось, цене – цены ведь могут только расти? Они и росли, да все выше и выше. И он придерживал свою недвижимость, выжидал. Но вот беда: рынок недвижимости, как не нам одним известно, раздувается, раздувается мыльным пузырем, да вдруг и лопнет! То ли по наивности, то ли от азарта, француз совсем этого не предусмотрел. А цены вдруг взяли да упали и падали, падали, падали все ниже... Лопнул пузырь, лопнул и наш риэл эстэйт. Не было у него запасных капиталов, чтобы перетерпеть тяжелые времена. Мало лет прошло, снова пузырь начал раздуваться, снова цены стремительно поскакали вверх. Тут бы и продать припасенные квартиры – да только тем временем французику нашему за «иные» кредиты почки отбили, а за банковские – отобрали, что было, да еще и срок небольшой припаяли.

Вот и риэл эстэйт уплыл в прошлое. Эстетичная эстэйтная квартира перешла в другие руки, по мраморным полам заходили небрежные кроссовки съемщиков-студентов. Опять общий уровень нашей респектабельности понизился на несколько градусов.

С риэл эстэйтом надолго ушел из нашего дома дух быстрой наживы. А еще раньше, с уходом «Института здоровья», дом наш лишился двух других важных элементов, без которых неполна картина израильской жизни. Я не про покупной секс говорю – что уж тут такого характерно израильского. А вот клиентура его, в значительной мере ортодоксально-религиозная, приносила с собой то, что называется неопределенным словом «идишкайт». И это практически исчезло. Правда, высоко на верхнем этаже ютился американский раввин, который раздавал брошюры, наставлял слабодушных евреев, как устоять перед обольщениями христианских миссионеров. Но слишком уж он высоко забрался, совращаемые с истинного пути евреи ленились карабкаться к нему на пятый этаж, и он покинул наш дом вскоре после Института. А еще вместе с Институтом покинули наш дом и немногие его молодые обитатели мужского пола: сам «Мишель» и двое вышибал, с гордостью рассказывавшие о своей ежегодной резервистской службе в отборных десантных войсках. И из дома надолго исчез столь существенный в нашей жизни элемент – армейско-военный.

Зато появился другой, не менее существенный. Настоящий раритет в нашей части города: на третьем этаже, рядом с «Авивом», снял помещение араб! Арабский адвокат. Клиентура тоже чисто арабская. Зачем он устроился именно тут, в центре еврейского города? Я думаю, чтобы быть поближе к своим клиентам, когда они

нуждаются в срочной поддержке при хождении по расположенным в центре бюрократическим мытарствам. Как сосед, он тоже редкость. Его никогда не видно и не слышно, и клиентов его тоже заметить трудно, хотя они есть. В доме он уже лет десять, но я с ним не знакома и даже в лицо его не запомнила за те редкие встречи на лестнице, когда я здороваюсь, а он мне не отвечает. Образцовые взаимоотношения с двоюродным семитским родственником.

На самую верхотуру дома натужная наша респектабельность пока не проникает. В годы большого наплыва приезжих из России там ютились, стремительно сменяя друг друга, новые иммигранты. Ко мне, «старожилу» с двадцатилетним тогда стажем, они относились с угрюмой подозрительностью и с завистью – в собственной квартире живет, надо же. Вовремя подсуетилась, раньше всех приехала, умная какая! А к ним точно так же – подозрительно и с завистью к кое-каким их иммигрантским правам – относилась амидаровская соседка по этажу, марокканка, владелица овощного прилавка («басты») на рынке Маханэ-Йеуда. Наглядная иллюстрация к истории государства Израиль – каждая новая волна переселенцев обычно встречается старожилами с явной антипатией. Взаимной, как правило...

Но разговорить их мне все же бывало легче, чем, скажем, адвоката-араба. Жили там поочередно несколько миловидных молодых матерей-одиночек – с ними было проще всего, они отчаянно нуждались в помощи, даже такой небольшой, какую могла им предложить я. Я изредка встречаю то одну, то другую на улице – теперь это солидные матроны, и мужей себе нашли, и работу, и детей новых нарожали.

Одно семейство было необычайно живописное. Как я подозреваю, глава его, настоящая орлица, сумела сама въехать в эту страну и привезти дочь с мужем и ребенком на хлипком основании своего библейского отчества. Я не раз встречала по русским деревням мужиков с таким именем. Дама эта была поистине из тех, что коня на скаку остановит и прочее. Вдобавок она обладала экстрасенсорными лечебными талантами. Насчет этих талантов ничего не могу сказать, но что она способна была лечить энергетикой, то есть собственной своей невероятной энергией, сомнений быть не может. Этой энергии хватало и на хозяйство, и на моральную поддержку падавших духом дочери и зятя, и на воспитание внучки, и на уход за парой похожих на свинок бультерьеров, потомство которых предполагалось впоследствии выгодно продавать, и на лечение. Было ли в этой женщине что-либо еврейское кроме отчества, я не знаю, но я рада, что нашего полку прибывает за счет таких вот воительниц. Теперь, насколько я слышала, вся семья обвее-рилась дальше некуда, а внучка вообще – как здесь родилась.

Кое-как наладилась жизнь в постсоветской России – и спала бурная волна алии, отхлынула она и от нашего дома; владелица басты отправилась к праотцам, туда же и самый последний амидаровский жилец, обитавший в квартире на крыше. Все верхние квартиры как-то одновременно освободились.

И начался новый этап в жизни нашего дома.

Маленькое отступление. Не знаю, как в других домах, но в нашем может создаться впечатление, что любимым хобби его обитателей является ремонт. В доме шестнадцать (плюс-минус, две разбиты на три, две объединены в одну) квартир; я живу в этом доме двадцать два года. За это время здесь было проделано не менее двадцати пяти ремонтов – капитальных, с разбиванием и строительством стен, с перекладкой полов, с новыми окнами и дверьми, с заменой канализационных и водопроводных труб. Просто покраску стен я не считаю.

То, что началось на верхнем этаже, превосходило все прочие ремонты. Да и ремонт это уже назвать было нельзя. Это было строительство, причем вполне незаконное. Один из сыновей рыночной торговли, назовем его Шуки, прежде всего отвоевал у сестер и братьев большую материну квартиру (расплатился за эту победу всеми родственными отношениями). На том же этаже находилось помещение с туалетом и душем, коммунальное, сохранившееся еще с тех амидаровских времен, когда на этаже жилали порой до тридцати человек. Теперь им никто не пользовался, но принадлежало оно, по правилам совместного владения домом, всем его хозяевам. Шуки, никого не спрашивая, захватил его, расширил за счет выступа крыши (бывшего солярия) и разделил на три жилые клетушки, так называемые студии. И квартиру свою большую тоже разделил на три студии. И во все быстро заселил студентов, иногда и по паре. Студенты любят такие «студии с отдельным входом».

Наверх остальные жильцы редко заглядывают. Когда начался там строительный грохот, привычное к ремонтам население дома долго страдало, не реагируя. В конце концов кто-то все же заглянул, возмутился и немедленно стукнул в городское управление. Пришел инспектор – и потянулась бесконечная тяжба Шуки с мэрией. Приказы сломать, вызовы в суд, штрафы, повторные вызовы в суд, штрафы, штрафы... Шуки в суд являлся, штрафы платил, но не ломал. А студии все стояли и приносили доход, и так лет десять.

Наш дом начинал все больше смахивать на университетский кампус. Постепенно не студенческими оставались лишь «Авив», адвокат-араб, мастерская архитектора на моем этаже да я. Студенты – жильцы симпатичные, жизнерадостные и приветливые. И беззаботные. По счетам они предпочитают не платить, живут по принципу: пожил, попользовался, пока не отключили (воду, электричество, телефон), – и прочь, на другую квартиру. Каждый месяц почтальон оставляет возле наших ящиков кипу счетов с именами давно забытых жильцов. Со временем все эти счета уходят в мусор. Кто по ним платит – одному богу известно, а может – новым жильцам... Когда в нашем подъезде установили домофон, кто-то из студентов немедленно потерял ключ и забыл код – и, недолго думая, взломал входную дверь. Замок и домофонную систему починили раз, починили другой, да и бросили – что толку.

Тем более что в подвале часто ютятся бомжи, которые ни ключей, ни кодов не признают. Туалета у них там внизу нет, в этом качестве используется небольшая площадка перед спуском в подвал. И как бы мы ни ремонтировали, ни благоустраивали и ни украшали наши квартиры, стоит лишь войти в подъезд, как легкое

дуновение ароматов из подвала с ходу оскверняет нашу хрупкую респектабельность...

Но все еще впереди! Студенты еще роятся на всех этажах, еще таскают вверх-вниз свои пролежанные матрасы и коробки с дисками, еще скачут через веревочку на лестничных площадках. Но намечается уже новая метаморфоза. Дом еще станет полугостиницей, хотя пока еще не такой шикарной, как в былые времена.

Первым начинателем был мой ближайший сосед архитектор. Квартира у него по площади такая же, как моя, то есть совсем не большая. Будучи профессионалом, он ухитрился разбить ее на две отдельные жилые единицы, каждая со всеми удобствами. Дал объявление в интернете и начал сдавать номера посуточно иностранным туристам – по ценам хорошим, но все же несколько ниже средней гостиницы. За ним последовал сосед с третьего этажа – свою трехкомнатную квартиру с кухней превратил в четыре отдельных номера, опять же не помесечно для студентов, а посуточно для туристов. Бизнес закипел – хоть и не слишком презентабелен наш подъезд, а туристу кажется привлекательным остановиться в обыкновенном жилом доме, как бы в гуще местного населения, к тому же в самом центре, да и подешевле. Еще три соседа дожидаются только окончания договорных сроков со студентами, чтобы затеять такую же перестройку. Мне тоже не раз советовали поступить так. За деньги, которые я-де получу за два номера, сделанных из моей квартиры, я не только смогу снимать себе приличное жилье, но еще и на жизнь останется.

Нет, не хочу. Мне нравится моя квартира и нравится жить в этом доме. Самая идеальная по моему вкусу ситуация. Кругом кипит городская жизнь, магазины, кафе, автобусы, машины, людские толпы. А я в своей тихой квартирке, захочу – могу и поучаствовать в этой жизни, а не захочу – могу только сверху на нее полюбоваться. Главное, чтоб она кипела и бурлила вокруг, а меня без крайней необходимости чтоб не трогала.

Если б только еще лифт. Покупая эту квартиру, я словно и не заметила ведущих к ней шестидесяти девяти крутых ступенек. Взлетала наверх единым махом, только под конец слегка задыхалась, как и положено курильщице. Но то было годы назад. А с тех пор как я там поселилась, становилось все труднее. Сперва отдыхала только на третьем этаже, позже уже на каждом. В доме годами шли разговоры о том, что хорошо бы, мол, нам построить лифт. Хорошо-то хорошо, но это огромная возня, а делать никто не брался. Зная своих соседей, я не верила, что когда-нибудь сговоримся. Да и соседей-то настоящих, кроме старушек поначалу, у меня было раз-два и обчелся. Хозяева квартир в дом заглядывали редко, к благоустройству его были равнодушны, а со съемщиками, людьми временными, лифта не построишь.

Теперь, однако, ситуация начинает изменяться. Ввиду будущих гостиничных планов, несколько хозяев все-таки сговорились (я, разумеется, в их числе), собрали сколько-то денег, нашли лифтового подрядчика, заказали планы и обратились в мэрию за разрешением. Дело, как известно, небыстрое, но все двигалось в нужном направлении, планы проходили через комиссии, получали одобре-

ние, вот-вот, вот-вот... И тут вдруг оказалось, что наш дом – историческая ценность, памятник архитектуры, и в нем нельзя менять даже лестничные перила, которые якобы сделаны в стиле ар-деко. Пошли новые комиссии...

Нет, видно, уж так мне и доживать без лифта. И настоящей фешенебельности нашего дома не увидеть.

Ну ничего, врачи вон говорят, что карабкаться по лестницам полезно для укрепления сердечной мышцы.

МОЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В своей долгой жизни я ничтожно мало работала на работе. Так, чтоб ходить по часам и получать зарплату. Получать зарплату – обольстительное слово! – хотелось всегда. Ходить на работу по часам и иметь над собой начальство не хотелось никогда. Перманентно нейтрализуя друг друга, эти две тенденции привели к тому, что львиную долю своего прожиточного минимума я заработала не «на работе», а собственными, ни к чему не привязанными, никак не организованными трудами. Мало кто понимает, как мне это удалось, а я и сама не знаю.

Долгое время я даже «внештатно» нигде не состояла. Туманного понятия «внештатный сотрудник» на второй моей родине не существует, а на первой оно означало, что ты сумел где-то неофициально пригреться и тебе более или менее регулярно дают заказы. Пригреться как следует я так и не сумела, а вернее, не успела, хотя была довольно близка к этому, пусть и не первосортному, но желательному положению.

Мне начали иногда давать заказы (я имею в виду переводы, со сценарной деятельностью я временно покончила), сперва на пару с опытным переводчиком (им была моя мать), а затем небольшие, и мне одной. И наконец, уже незадолго до отъезда, мне подкинули на единоличное съедение жирный, сочный кусок – толстенный том польского классика, который должен был выйти многосоттысячным тиражом. Подкинули, поскольку о моих планах переселения за море не знали. А я с радостью взяла, ибо планы планами, но куда – и куда! – я поеду, не было известно никому. Взяла, и начала работать, и даже уехав, продолжала переводить между уроками иврита, и отсылала отпечатанные странички маме, на имя которой ухитрилась перед самым отъездом перевести договор. Но ухищрения мои были напрасны – как только в издательстве прознали, куда я уехала, договор был бесцеремонно расторгнут, а с переизданий переведенных мной рассказов и повестей исчезло мое имя.

Статус мой на первой моей родине был более чем сомнительный. Сколько бы я ни трудилась над своими переводами, статус назывался кратко и грозно: не работает. Стоит заметить, что термин «безработный» к советским гражданам не применялся. Это там, у капиталистов, бывала безработица, а у нас безработных быть не могло, бывали только не желающие работать, тунеядцы.

Когда мне нужна была справка о прописке из нашего ЖЭКа (жилищно-эксплуатационная контора), а нужны такие справки были

частенько, первый вопрос сидевшей в окошечке «девушки» был: ваше место работы? Я заранее запасалась договорами о заказанных мне переводах, оттачивала до прозрачной понятности объяснение, что такое фрилансер, вольный стрелок, он же «свободный художник», однако девушка, даже и дав справку, все равно писала в соответствующей графе роковую формулу «не работает». Формула была опасная, как раз шла кампания борьбы с тунеядством – «неработающему» нередко грозила административная высылка из Москвы. Выручил меня перелом позвоночника, в связи с чем моей матери позволили записать меня своей иждивенкой. Вот это был уже приемлемый статус, я вздохнула с облегчением.

Еще до этого счастливого момента я сделала отчаянную попытку избежать тунеядства. Друзья пристроили меня экскурсоводом в музей-усадьбу Юсуповых в Архангельском. Более легкой, приятной, удобной работы, в обществе троих-четверых симпатичных интеллигентных сотрудников, под началом разумного и незаболотного директора, в красивой и необычной обстановке, трудно себе даже представить. Правда, платили очень мало и ездить было далеко, на двух автобусах, но – если бы обстоятельства сложились иначе, как знать, может быть, я доработала бы там до своей ничтожной пенсии, дополняя зарплату переводами, благо свободного времени на этой работе было много. Водила бы одну-две экскурсии в день, это летом, а зимой вообще две-три в неделю. Таскала бы бедных экскурсантов из одного дворцового зала в следующий (...а это называется «анфилада комнат»...). Повторяла бы, не думая, затверженное наизусть: ...теперь посмотрите сюда, это портрет внучатой племянницы князя... а теперь посмотрите сюда, это его бюро, здесь он... а это кровать под роскошным, расшитым золотом балдахином, на которой... Сколько раз, бывало, увлеченная собственными мыслями, я вдруг просыпалась, умолкала, тупо глядя на окружавшую меня толпу и понятия не имея, на чем я остановилась. Доброжелательные экскурсанты охотно подсказывали... Отвечала бы на их заинтересованные вопросы – впрочем, вопрос был чаще всего один: сколько эта картина (ковер, козетка, ваза, гобелен, статуя) стоит? Если, например, продать?

Я проработала там месяцев восемь или девять. Это было самое длинное мое пребывание «на работе». Затем упала, повредила спину и в Архангельское уже не вернулась, хотя они звали. Все-таки «иждивенкой», безо всякого начальства надо мной и никуда не ездя, мне нравилось больше, и жить, и работать.

А под конец мне даже иждивенчество не понадобилось. Я стала членом группкома литераторов, который давал официальные справки, удовлетворявшие, хотя и со скрипом, и ЖЭК, и другие подобные конторы. И мало того что членом. Старички и старушки, восседавшие на вершине группкома, усмотрели во мне «свежие, молодые силы» и «достойную смену» и начали толкать меня вверх. «Ты только в партию вступи, – настойчиво говорили они, – вступи в партию, вступи. И очень скоро сможешь занять место рядом с нами. А когда-нибудь... может быть... и вместо нас».

Вон каких высот я достигла на первой своей родине, почти никогда не работая! И тут испугалась и уехала в Израиль. И жалела только об упущенном толстом классике и о солидных гонорах, ко-

торые получала бы с каждого переиздания. Кстати, и писатель был хороший, только очень уж пространный на наш нынешний вкус.

Последние попытки устроиться, как все, на работу и получать, как все, зарплату были сделаны мной вскоре по приезде в Израиль. И все они, как ни удивительно, были удачны, т. е. везде меня принимали. И нигде я не задержалась. Тому были две важные причины. Самая важная – на некоторых должностях мое имя становилось достоянием публики, а ведь у меня в России оставались самые близкие люди. Значит, нельзя. Я это, разумеется, знала, но вспоминала только, когда меня уже приняли. Мне и самой теперь это кажется непонятным. Странно, правда? Сама же прошусь на работу и только потом вспоминаю, что сама же ее не хочу.

Вторая причина тоже была для меня важная, скоро скажу какая.

А между тем работать и зарабатывать было необходимо. Первые полгода государство учило меня языку и кое-как кормило, а дальше?

Неясно, о чем я думала, когда ехала сюда. Без языка, без профессии – сценарист без языка? переводчик с польского на русский? кому это здесь надо. Ремесла у меня никакого не было. Я не умела ни шить, ни вязать, ни готовить как следует пищу. Даже на машинке я умела печатать только тремя пальцами, да и то только по-русски. Начала уже подумывать о работе уборщицы – не то чтобы очень хорошо умела, но ведь убирала же как-то дома.

Но до этого не дошло.

Прежде всего, заработала немного денег, когда меня послали в Америку для собирания с тамошних евреев пожертвований в пользу Израиля. На пути из Америки домой остановилась в Лондоне. И тут передо мной открылась блистательная перспектива.

Знакомые привели меня в русскую секцию на Би-би-си. Мое киношное образование при сносном английском их там заинтересовало, мне устроили проверку. Велели перевести газетный текст и написать рецензию на какой-нибудь новый фильм. Новым – и любимым – был для меня в тот момент фильм Висконти «Смерть в Венеции», на который я и написала восторженную рецензию. Так увлеклась, что перевести успела только две странички. Ничего, сказали они, хватит и этого. Потом они побеседовали со мной и сказали – годишься.

Ура! Платят здесь совсем неплохо, жильем обеспечивают, кругом слегка уже знакомый замечательный город Лондон. Поработаю год-другой и вернусь домой в Израиль с деньгами! Правда, сказали они, в данный момент вакансии нет. Но через несколько месяцев увольняется наш кинообозреватель, оставь свой адрес, мы тебя известим.

Ясно, подумала я уныло. Не звоните нам, мы вам позвоним сами...

И уехала в Париж. И здесь тоже получила предложение работы! Пьер, французский муж моей российской подруги, был главным редактором парижского глянцевого журнала, посвященного мебельному дизайну. «Зачем тебе ехать в Израиль? – сказал он мне. – Потому что ты еврейка? Да ну, какая ты еврейка. Одно название. Ты там просто засохнешь. Чего тебя туда несет? Что тебя ждет в этой маленькой, провинциальной левантийской стране? Что у тебя там есть?» У меня там не было ровно ничего и никого, кро-

ме нескольких соратников по московскому сионистскому прошлому и нескольких очень отдаленных родственников. «Немножко отполируешь язык и будешь работать у меня, писать очерки о старинной мебели в замках Роны и Луары и о супермодерной – в современных пентхаузах. Работа интересная, много поездок по стране, платить буду прилично. Пожить можешь пока у нас, дом большой. Потом подыщешь себе квартиру. Оставайся...» – сказал он.

И в самом деле, почему бы и нет? Пожить в столь желанном и недостижимом когда-то Париже, среди страстно обожаемого в юности французского языка? Почему бы и нет?

А потому, что не хотелось. Стоило уезжать из родной, привычной Москвы, от родных и друзей, от русского языка, чтобы променять одну антисемитскую страну на другую? Чтобы жить среди этих чужих французов?! А что, говорил мне ехидный внутренний голос, израильтяне тебе, что ли, свои? Нет, но со временем могут стать своими. А французы – никогда! Так я любила когда-то этот язык, а вот оказалось, что носители его мне чужды и несимпатичны. Разумеется, кроме Пьера, который мне это предлагал. Столько у них прекрасных писателей и поэтов, столько мудрых мыслителей и философов, одно Просвещение чего стоит, а нынешние французы показались мне какими-то мелкими, подзасохшими и скупыми вдобавок. Не говоря уж о том, что антисемиты. (И еще немного недомытыми, но это, наверное, мое воображение.) Да и Париж, со всеми своими красотами, хорош для туристического визита, а для жизни казался мне холодным и недружелюбным.

И я вернулась в Израиль. И мне продолжало везти.

Мы в России в свое время жадно слушали по радио «Голос Израиля», когда его не забивали помехами. И, бывало, недоумевали, почему этот Голос как-то не очень хорошо говорит по-русски. Причина оказалась простая. Русская редакция была почти полностью укомплектована польскими евреями, перетерпевшими войну в Сибири, на лесоповалах. Добравшись после войны в Израиль, они и стали здесь главными знатоками русского языка.

Уступать свои места на радио вновь приехавшим русским евреям они, разумеется, не собирались, но, решило польское начальство, некоторый приток свежей крови не повредит. Вот где пригодился мой польский язык! Начальству понравилось, что я говорю по-польски, и оно решило взять меня на работу. И я, по незнанию своему, радовалась. И успешно прошла пристальную проверку в органах безопасности. И даже вышла на работу! И перевела с английского какой-то текст. Теперь, сказали мне, ступай в студию и прочти этот текст вслух для записи. И только тогда, только тогда мне стукнуло, наконец, в голову, что по радио будет названо имя того, кто этот текст читал. Мое. А мы тебе псевдоним дадим, сказали мне. Красивый какой-нибудь, чисто ивритский. Как будто под псевдонимом никто никогда не узнает, что я работаю на израильском радио, занимаюсь сионистской пропагандой! Нет, я не могла рисковать благополучием моих оставшихся в Москве близких. И, проработав на радио три или четыре дня, я оттуда ушла.

Честно говоря, тут была и вторая причина, я упоминала ее в начале. Работа на радио, густо пропитанная примитивной пропаган-

дой, показалась мне невероятно скучной. Хорошо делать скучную работу я не способна, а плохо ее там с успехом делают и без меня. Но об этом я никому говорить не стала. Да ты с ума сошла, сказали бы мне разумные люди, из-за такой ерунды отказаться от прекрасной работы? Которая обеспечила бы тебя на всю жизнь (мне обещали дать так называемое «постоянство», то есть меня практически нельзя было бы уволить), да потом и пенсию получила бы приличную... Конец всем твоим заботам и тревогам! Так сказали бы разумные люди, и были бы правы. Но я ведь и не претендую на разумность. Ни в этом случае, ни еще в других, когда поступала так же.

Например, когда я пошла работать в наш Иерусалимский университет. Тут риска для моих родных не было ни малейшего. Меня посадили за стол в некоем полуподвальном помещении, набитом папками и книгами, и там я должна была сверять какие-то примечания и выписывать цитаты. Я решила – хватит капризничать. Цитаты так цитаты, буду держаться, пока хватит сил. Вон за другим столом работает женщина, делает, судя по всему, то же, что и я, и ничего. Работай, старайся! Со временем, может, дорастешь до повышения в должности, будешь сама примечания составлять. В конце концов – университет, что может быть интеллигентнее и престижнее.

Но эта работа была уже так невыносимо скучна, что решимости моей достало ровно на неделю.

А тут на тебе – пришло заказное письмо из Лондона! С вложенным в конверт договором на год. С указанием зарплаты и всех условий. Вот не надеялась! Место освобождается через три дня, квартира ждет, вылетай без промедления.

Всегда знала – все мечты сбываются, сбылась и эта. Да только ведь Би-би-си – не «Голос Израиля». Туда не прилетишь на три дня, чтобы потом соскучиться и уволиться. А главное, вещать оттуда на Россию означало уже наверняка и опасно засветиться. Хорошо, что не взяли меня, безмозглую, на работу сразу, дали время разобраться, что к чему, да и опыт на «Голосе Израиля» помог. Позже мне рассказывали, какое там было паучье гнездо в русской секции, и я лишний раз порадовалась, что не пошла – мне все эти служебные «взаимоотношения» не по силам.

Были еще кое-какие переговоры насчет работы на радио «Свободная Европа» или как оно там называлось в Мюнхене, уже забылось. Но тут уж я четко понимала – не пойду, тем более в Германию. Хотя приятно было знать, что возможность такая в принципе имеется.

Приятно-то приятно, но работы у меня по-прежнему не было. Спасибо «Голосу Израиля», там все еще делали очень мало собственных материалов, больше пробавлялись заимствованием из газет, в том числе из «Jerusalem Post», и мне доставались переводы с английского.

Все это время никакого своего жилья у меня тоже не было. Я жила то тут, то там у разных добрых людей. Да, израильтяне в те времена были добрые и доверчивые. Просить никого не надо было – сами предлагали и звали. И платы не только не требовали, но и не хотели брать, когда я пыталась заплатить.

А доверчивость их была такова, что теперь и вообразить трудно. Когда я несколько лет спустя хотела взять в банке ипотечную ссуду для покупки квартиры, мне потребовались пятеро гарантов,

причем это должны были быть люди, имеющие постоянную работу. Среди моих друзей и знакомых таких еще не было. Кто-то из русского вещания привел меня на радио и там, в разных отделах, быстро нашлись пять человек, готовых подписать для меня гарантийное обязательство. Оно означало, что в случае невыплаты мной процентов и всего долга платить должны будут эти люди. Они совсем меня не знали, видели в первый раз – и пошли со мной в банк, и подписали! И больше я никогда с ними не встречалась и не слышала о них. Даже имен не помню – если знала вообще.

Не буду рассказывать, как быстро некоторые бывшие мои соотечественники отучили израильтян от этой глупой доверчивости. Не хочу бросать тень на нашу русскую алию.

Кое-как перебиваясь скудными переводами, я снова начала поиски работы. Я все еще обманывала себя, все еще сама перед собой притворялась, что хочу быть благоразумной, хочу ходить, как все, на работу и получать желанную зарплату.

И снова начала подумывать об уборке.

А что? Работа полностью безопасная и не такая уж бессмысленная, потому что сразу видишь результат – было грязно, стало чисто. Говорят, если навестриться и стать настоящим специалистом и убирать в нескольких домах, то и заработать можно вполне прилично. И никакого над тобой начальства. Правда, есть хозяева квартир, но с благодушными израильтянами всегда ведь можно столковаться...

И снова до этого не дошло (а жаль, занималась бы полезным делом, и для здоровья хорошо, физическое упражнение). Работа нашла меня сама.

В начале семидесятых годов, в связи с возросшим притоком иммигрантов из Советского Союза, министерство абсорбции, влачившее до тех пор блаженное полубездельное существование, было реорганизовано и укреплено богатыми фондами и новыми кадрами. Основную массу приезжих составляли не токари-пекари-слесари, которые и сами быстро находили работу, а люди более изящных профессий, музыканты-художники-писатели-поэты. Было среди них и немало кино- и телевизионных работников. И всем им тоже надо было чем-то кормиться. Об этом и должно было заботиться министерство абсорбции – приискивать им работу.

Не знаю, кто порекомендовал меня в министерство в качестве специалиста по кино и телевидению. Тоже мне, нашли «специалиста»! Тем более по устройству этих специалистов на работу. Нет, сама я туда, на чиновничью службу, не просилась. Честно говорю, не хотела я этой работы. Но, когда позвали, благоразумие взяло верх. Зато я предъявила им такие требования, что по всем понятиям они должны были бы с негодованием послать меня подальше. А именно: на службе появляться раз в неделю или в случае крайней необходимости. Просителей принимать дома, причем в любое удобное для них время. Отчетов о проделанной работе не писать. На совещания не являться. Переписку, если понадобится, вести по-английски. Ну, и чтоб оплачивали мой телефон (я тогда жила у хорошей женщины, которая отдала мне под жилье свой салон, навешивать на нее еще и телефонные счета было бы просто неприлично). И они, ошарашен-

ные своей реорганизацией и непривычным навалом работы, согласились на все эти условия! Трудно поверить, но факт.

Очень скоро мне стало ясно, что весь громоздкий, дорогостоящий механизм министерства, со всеми своими отделами, подотделами, секциями и многоступенчатой начальственной иерархией, крутится наполовину вхолостую. А то и больше, чем наполовину, если судить по моей деятельности. Нет, я не была ленива и не отлынивала от своих обязанностей. Я принимала посетителей в любой час дня и вечера. Я поила их чаем и кофе, а особо голодным давала бутерброды. Я выслушивала их горделивые рассказы о том, как много и хорошо они успели сделать на прежней родине, и их горькие сетования на то, что здесь никто их достижений не знает и не признаёт. Я от всей души сочувствовала им, прекрасно понимая их положение. И это было более или менее все, что я могла для них сделать.

Правда, у меня был список мест, где теоретически они могли бы понадобиться. И я по многу раз в день звонила по телефону в эти места – на киностудии, в киношколу, на телевидение (единственный канал). Не так уж и много было тогда таких мест. И ни в одном из них не нужен был ни сценарист (без языка), ни режиссер (без языка), ни директор картины (без языка), и все – без знания здешней жизни и обычаев. За полгода напряженной работы мои достижения были таковы: два режиссера, румынский и русский, получили с моей помощью скромные бюджеты на первую короткометражку, два оператора – с ними было несколько проще, и два осветителя – с ними еще проще – устроились на работу. И это все.

Мой непосредственный начальник (помню только имя – Барух), человек, горячо преданный своей работе и не жалевший на нее ни сил, ни времени, на мои жалобы насчет неэффективности моих трудов лишь грустно улыбнулся и сказал: терпи. Ты хоть какое-то облегчение даешь людям, они хоть душу с тобой могут отвести. А посмотри на меня – чуть не целый день приходится заниматься пустой секретарской работой. А у меня ведь есть три секретарши! Но они получают грошовые зарплаты и ничего толком не умеют. Я бы на все их три зарплаты нанял одну, профессиональную, деловую, но – нельзя. Тебя они хоть за человека считают, твои киношники, а меня просто за бездушного бюрократа, который ничего не хочет для них сделать.

Да, хороший у меня был начальник, и сам старался, как мог, и меня не притеснял. Там и еще были дельные люди, самоотверженно пытавшиеся прорваться сквозь многослойный бюрократический заслон и исполнять свои обязанности, помогать новым гражданам найти работу. Некоторым иногда даже удавалось. Но сами они надолго там не задерживались. Когда спустя года два я позвонила в министерство, собираясь просить какой-то мелкой протекции у одного из знакомых мне людей, никого из них там уже не оказалось. И непосредственного моего начальника Баруха тоже не было. Никто этих людей не увольнял. Они сами, отчаявшись, уходили из этого теплого места туда, где их энергия и опыт могли принести реальную пользу.

Самое интересное, что в конце концов все как-то утряслось – тем или иным образом. Помимо министерства. Многие уехали в другие страны, не найдя там, впрочем, особо горячего приема.

Кое-кто поменял профессию. А некоторые, особенно упорные, нашли даже работу по специальности (кроме сценаристов, однако).

Мой контракт заканчивался через полгода. Это был испытательный срок. Невзирая на мои слабые успехи, я его, оказывается, прошла. И теперь предстояло решать: оставаться ли на службе, дожидаясь твердо обещанного «постоянства», или уходить? Условия постоянной работы были уже несколько иными, нежели те, что я сумела выцыганить раньше: на службу ходить четыре раза в неделю, пятый день библиотечный. Приходя и уходя – отмечаться. Посетителей принимать за выделенным мне в общей комнате рабочим столом, в определенные часы приема. Отчеты писать. На совещания и заседания являться.

Но зато! Зарплата существенно выше, чем прежде, и будет расти дальше по мере накопления стажа. Да зарплата еще что, сколько сопутствующих благ! Надбавка за владение языками. Надбавка за специальные знания. Прекрасный пенсионный фонд. Фонд для повышения квалификации. И еще какие-то фонды, скидки и надбавки, всего не упомнишь. На пенсию оттуда уходят благополучно и рано и могут еще пожить в свое удовольствие.

Надо быть просто ботаником, как говорят в России, или астронавтом, как говорят здесь, чтобы такую работу бросить. Ах, если бы я была ботаником или астронавтом! Какие заманчивые профессии. Но я не была ни тем, ни другим, то есть в известном смысле и тем, и другим, и работу эту бросила. Потому что чиновником я точно быть не могла. Не подходила мне эта работа, а вернее, я для нее совершенно не годилась. И давно бы пора мне это усвоить. Я и усвоила наконец. Больше я устроиться «на работу» никогда не пыталась.

Все это было сорок лет назад. С тех пор все годы я оставалась «вольным стрелком» без нормальной зарплаты. И все эти годы я зарабатывала какие-то деньги, и платила налоги (небольшие, впрочем, поскольку и заработки большими не бывали), и не помирала с голоду, и даже, по милости полугосударственной жилищной компании «Амидар», купила себе удешевленную квартиру. И даже, благодаря бурной инфляции, банковскую ссуду выплатила за каких-нибудь шесть-семь лет вместо двадцати пяти.

Но я совру, если скажу, что всегда добивалась всего только сама, без всякой поддержки.

Поступая в молодости в киноинститут (на самом деле хотела в университет на языки, но знающий человек объяснил мне, что не пройду из-за пятого пункта), я в глубине души не верила, что вся моя дальнейшая жизнь будет связана с кино. Кино я, как и все, разумеется, любила, но страстного стремления делать его, писать для него сценарии в себе не ощущала. Пошла, потому что гуманитарный, звучит интересно и люди наверняка интересные. Как трудно, оказывается, туда поступить, я еще не знала, но это другой сюжет. Поступила. Профессии институт мне, разумеется, не дал – где и кто может научить человека придумывать и писать? Так только, общие правила и форматы. Для этого и в институте учиться не надо. Но он дал мне очень неплохое общее гуманитарное образование. Особая моя любовь и благодарность нашей преподавательнице иностранной литературы, ныне покойной Ольге Игоревне Иль-

инской. Я благодарна ей даже не за те знания, которые она нам давала, а за ту высокоинтеллектуальную атмосферу, которую она создавала на своих лекциях. В этой атмосфере мы и сами чувствовали себя, пусть на краткое время, умнее и достойнее.

Мое раннее предчувствие, что жизнь моя не будет связана с кино, оправдалось, однако не полностью. Сценарным делом я в России позанималась недолго, хотя в финансовом отношении весьма успешно. До сих пор помню, с каким радостным изумлением я обнаруживала в сберкассе вновь и вновь поступающие на мой счет суммы за фильм-адаптацию, который показывали по телевизору на разных телестанциях по всей огромной стране! Да, доходное могло быть занятие – но не мое. Перешла на переводы, чем и занималась вплоть до отъезда и после него.

И не было у меня ни малейшего предчувствия, что мое кинообразование сыграет все-таки в моей жизни серьезную роль. И не только в профессиональной жизни, а в личной.

Покончив со всеми регулярными «службами», я зарабатывала, помимо переводов для радио, многими разными мелкими способами. Познакомилась с человеком, который, уловив веяния времени, построил недолговечный, но успешный бизнес на издании русскоязычных книг – оригинальных и переводных. Сам он русского языка не знал, и я стала у него «читателем». Писала ему рецензии (по-английски) с кратким описанием содержания и с рекомендацией – стоит издавать или нет. Ничего я, разумеется, не понимала в специфике книготорговли, что стоит издавать, а что не стоит, руководствовалась исключительно собственным вкусом. Но издатель часто следовал моим рекомендациям. Многие напечатавшиеся у него наши писатели до сих пор не знают, что должны бы сказать мне спасибо! А я говорю спасибо издателю, г-ну Чериковеру, и не только за заработок, но и за фамилию, которую он, сам того не зная, подарил герою одного из моих собственных сочинений.

Крупнейшим своим переводческим достижением считаю перевод с русского на английский толстой докторской диссертации по проблемам хирургии полостных травм, о которых, естественно, не имела ни малейшего понятия ни на каком языке. Позже мне доставались для перевода сочинения различных ивритских писателей, в том числе и хороших, известных. Но, во-первых, переводилось на русский, а во-вторых, все-таки художественная литература, я хоть приблизительно знаю, что это такое. Значит, полечче. А там я плавала без руля и без ветрил в неведомом море. Однако автор диссертацию успешно защитил и заплатил мне щедро. Ах, да чего только не случалось переводить! Письма, завещания, заявления, разные справки, рекламные брошюры, даже счета. Отказываться ни от чего не приходилось.

Другим видом заработка я обязана Еврейскому Агентству и муниципалитету города Иерусалима. Оба эти учреждения приглашали в Израиль разных видных лиц, в основном в целях пропаганды, для установления «культурных связей». Писателей, ученых, политиков. Чаще всего из Америки, но и из других стран тоже. Время от времени меня звали переводить для них и вообще сопровождать во всех поездках. Вот это было хорошее, хорошо оплачиваемое и увлекательное занятие. Не только знакомилась с интересными людьми, но

главное, поездила по стране, почитала, чтобы потом пересказывать им, про ее историю и географию, климат, флору и фауну и пр.

Один раз, гораздо позже, сопровождала и переводила даже русского человека, известного опального писателя Н., жившего тогда в Париже. Для чего его с женой пригласили в Израиль — не знал, кажется, ни муниципалитет, ни он сам. Но все было оплачено, поселили в чудном доме Мишкенот-Шеананим (очень подходящее название, обитель беззаботных), кормили, поили и выгуливали, и гость принимал все даваемое благосклонно, улыбался в усы и бороду. Со мной он обходился любезно, чего никак нельзя сказать о его супруге. Насколько мне помнится, это он был аристократического происхождения, но настоящей барыней держалась она. Обращалась со мной, как с наемной прислугой — пойдите туда, подайте это, отнесите то. Я ее приказов не слышала, охотно выполняла вежливые пожелания самого Н., и она тут же вырастила на меня острый хищный зуб.

Во время одной из прогулок вокруг Старого города я пригласила их к себе домой поесть.

— Я живу здесь недалеко, в очень экзотическом и живописном месте, в Гефсиманском саду, у подножия Масличной горы. Вид оттуда потрясающий. Может быть, вам, Н., будет любопытно. Да и проголодались все, поедим, — сказала я.

Писатель загорелся:

— Пошли, пошли! — он ухватил меня под руку и потянул в направлении, куда я показывала.

Жена подскочила сзади и вырвала мужнину руку из-под моей:

— Это еще зачем? Что тебе там делать? Пообедаем дома, там прекрасно кормят.

— Но я бы хотел...

— Нет, мы возвращаемся. Ты устал, после обеда тебе надо отдохнуть.

Н. неохотно остановился:

— Да ведь интересно же...

— До меня отсюда буквально три шага, — заметила я. — А до Мишкенот как минимум полчаса ходьбы. И доехать не на чем. Отдохнете у меня, тогда вернемся.

— Мы вернемся сейчас, — распорядилась мадам. — А вы можете быть свободны.

— Нет, я обязана проводить вас до...

— Я помню дорогу. Можете идти. Или вам невыгодно уходить? Вам платят по часам?

— Нет, по дням, и с надбавкой за вредность, — деловито ответила я.

Н. еле заметно ухмыльнулся, а мадам посмотрела на меня с некоторым даже удивлением. Я не стала дожидаться, пока выльется копившийся у нее на языке яд, и быстро пошла прочь.

Особенно трудно было мне переводить интервью, которое писатель давал, кажется, израильскому телевидению. Говорил он невнятно и несвязно, с характерным русско-советским невниманием к собеседнику, упоминая события и реалии, интервьюеру заведомо не знакомые, и ничего не объясняя. Мадам ежеминутно вмешивалась, вставляла свои поправки и дополнения, а когда я пыталась кратенько что-нибудь объяснить, резко обрывала меня словами «это всем известно». Считала, видимо, что весь мир с

неотрывным интересом следит за всеми перипетиями их судьбы. В результате не только телевизионная женщина мало что поняла, но и я тоже. И уж что я там напереводила, знает один бог.

Но это все было значительно позже. А тогда снова выплыло на поверхность мое киношное образование и на годы решило мою судьбу. Приехал из Америки в Израиль кинорежиссер-голландец, призер Каннского фестиваля за документальный фильм «Небо над Голландией». Приехал, чтобы снять фильм на модную тогда тему: евреи из Советского Союза, переселяющиеся в Израиль. Он не знал, разумеется, ни русского, ни иврита, мало что знал и об Израиле, и о Советском Союзе. Знал он об Израиле мало, но оказался горячим сионистом. Вообще, считал создание государства Израиль одним из пяти самых значительных событий двадцатого века (четыре других: первая мировая война, русская революция, Катастрофа и высадка людей на Луне). В нем самом не было ни капли еврейской крови, а был китайско-норвежско-ирландско-голландский коктейль.

Этому человеку и дали в помощники испытанного киноспециалиста, к тому же с языками, – меня.

С этого момента моя кинокарьера началась заново. Режиссер был уже немолод, талантлив и профессионален, но попытки общения с экс-советскими людьми приводили его в некоторое остолбенение. А ведь он снимал по всему свету – и в Африке, и в Китае, и в Испании, и в своей Голландии... «Особенные, особенные люди, – говорил он задумчиво, – таких я еще не встречал».

И тут – не буду скромничать – я сыграла решающую роль. В работе над этим фильмом я занималась всеми подготовительными и организационными делами: подыскивала интересные ситуации и персонажей, договаривалась, где, когда и что, объясняла людям, зачем и для чего их снимают. Многие относились к предложению сняться для кино подозрительно: и кому это надо? Я объясняла, что вот люди в Америке увидят, как вам тяжело, проникнутся и дадут денег. Этот довод действовал. Говорить приходилось сразу на трех языках. А в конце, когда фильм был смонтирован, я же написала к нему дикторский текст – по-английски!

За время работы я похудела на четыре килограмма, чем была очень довольна.

Съемочный период сильно растянулся, режиссер уезжал на месяц в Штаты в связи с другим фильмом. Я за это время подыскала ему еще несколько любопытных сюжетов, затем посопровождала очередного гостя, американского писателя.

Затем вернулся режиссер и попросил меня больше никого не сопровождать, работать только с ним. Я с радостью согласилась. Эта работа мне очень даже подходила! Но у него было ко мне еще одно предложение: не только работать, но и жить вместе.

Тут я сильно призадумалась.

Пожить вместе я была вроде бы и не против, но постоянное присутствие в моей жизни другого человека всегда меня отпугивало. А я видела у него самые серьезные намерения. «Жить вместе» очень часто ведет прямо в замуж, а этого я смолоду не хотела. То есть не то чтобы ни за что не хотела, но с замужем у меня происходило примерно то же, что и с «работой». Вроде бы и партнер нравится, и мама радуется, но в решающий момент я всегда от-

ступала. Нет, не могла. К браку я относилась серьезно и не хотела сковывать себя и другого человека обязательством, не будучи уверена, что смогу его выполнить.

Идеальным образом жизни всегда представлялся мне такой, при котором два человека, пусть связанные самым искренним чувством, живут раздельно и видятся тогда, когда оба этого хотят или когда нужна помощь. Мечта, конечно, довольно инфантильная, но я знаю по меньшей мере две любящие пары, которые живут именно так. И живут счастливо. Сколько конфликтов при этом снимается, сколько противоречий сглаживается! Детей при этом, разумеется, заводить сложно, но я и не планировала детей.

Пока я раздумывала да сомневалась, все решилось помимо моей воли. Видно, воля моя была слабовата, а противостоящая – сильна и решительна. Я улетала на месяц в Румынию, встречаться с мамой, приехавшей из Москвы. Перед моим отъездом Джон попросился пожить это время в моей – тогда еще не моей, а амидаровской – квартире, «сэкономить на гостинице», сказал он. Я, разумеется, ясно видела подвох, но отказать не могла – «сэкономить» затронуло чувствительную жилку в моей душе.

– Но как только я вернусь, ты сразу уйдешь, – предупредила я.

– Разумеется, – ответил он.

Последующие пятнадцать лет мы жили и работали вместе. По сионистской своей натуре Джон охотно согласился никуда не уезжать, жить в Израиле. И даже привез сюда своего взрослого сына от покойной первой жены.

Никаких денег я за свою работу не получала, даже не оформлена была никак, то есть вернулась к когдатошнему своему статусу «не работает». Правда, здесь это никого не касалось и не возмущало. А работать приходилось много и напряженно. Все в том же многообразном качестве – изыскателя ситуаций и персонажей, помрежа, переводчика, сочинителя дикторского текста. Меньше всего – сценариста. Да, собственно, сценарии к документальным фильмам в то время нигде уже и не писали. Кроме России, где «документальность» понималась как тщательно спланированная и хорошо отрежиссированная действительность.

Даже водителем мне пришлось поработать. Причем, без водительских прав. Экзамен на права я провалила, а второй раз не пошла – началась война Судного дня. Вся наша израильская съемочная группа немедленно ушла на фронт. Мы остались втроем – режиссер, его сын оператор и я. Но какой уважающий себя документалист пропустит войну? Мы тоже рванули к фронту, на север.

К боям нас, разумеется, не подпустили, но мы сумели побывать на Голанах сразу после сражения. Там я впервые в жизни увидела трупы убитых солдат. Только сирийских – наши сразу забрали тела своих погибших товарищей. Потрясало количество новенькой, не успевшей даже запылиться советской военной техники. Танки, грузовики, самоходки густо усеивали поле битвы. На всех наклеены были подробные инструкции на русском языке. Я влезла в одну машину и подобрала там какой-то небольшой оптический прибор. Хотела взять себе в качестве сувенира, но Джон велел положить обратно – тебе, сказал он, ни к чему, а военным пригодится.

Режиссер с оператором снимали, а я их возила. Поначалу ездила лихо и бесстрашно. Ничто меня не смущало, ни крутые извилистые горные дороги, ни замазанные темно-синей краской фары, с которыми ночью едва видны были встречные машины и путь впереди. Бойко перекидывала ручку скоростей, и Джон то и дело требовал: медленнее! не так быстро! тормози перед поворотом! Ну и доездилась. На одном из поворотов вылетела на встречную полосу, а там и на усеянную острыми камнями обочину. А за обочиной был обрыв. Я успела резко ударить по тормозу, и в обрыв мы не свалились, но две передние покрышки от сильного трения лопнули.

После этого стала бояться, водить медленнее, и еще медленнее, и совсем медленно, по ночам терзали кошмары – прямо перед машиной выскакивал на дорогу ребенок, или собака, или осел – пока, уже после войны, не решила оставить вождение машины совсем.

Война была тяжелая и сложная, стране грозила настоящая опасность, но я не испытывала ни малейшей тревоги. Даже когда сирийский снаряд разнес палатку полевого госпиталя (пустую, к счастью) в двухстах метрах от нас, думала только о том, чтобы оператор успел заснять этот варварский акт. Даже когда дорогу вдоль берега Кинерета обстреляли буквально через минуту после того, как мы там проехали, абсурдно жалела, что пропустили драматический момент. Так захватил меня азарт документальной съемки! Да и вообще, ни минуты не сомневалась, что мы победим, хотя были люди поумнее и поопытнее меня, которые видели основания в этом сомневаться...

Материала интересного мы наснимали много, потом получился целый фильм.

Благополучно прожив вместе лет пять, мы все же поженились. По неразумию своему, я надеялась, что, получив голландский паспорт, смогу поехать в Россию.

Пыталась примкнуть к группе израильских ученых, впервые за много лет приглашенных в Москву на какой-то конгресс. Мне было сделано вполне добротное удостоверение моей принадлежности к ученому миру. И в качестве журналистки тоже пыталась – соответствующее удостоверение у меня было. Все эти попытки были наивны и смешны. Я, видно, уже подзабыла к тому времени, куда пытаюсь прорваться, но очень уж хотелось повидать родных.

В советском консульстве в Гааге чиновник разоблачил меня моментально.

– Гражданка Нидерландов? – спросил он меня по-голландски.

– Да, – ответила я по-русски.

– Место рождения? Когда покинули СССР? В какую страну? Почему нет советского паспорта? Каким образом получили голландский?

Как будто не лежали перед ним все мои бумаги.

– Тоже голландка... ..ать твою... – пробормотал он под конец интервью, последние два слова выдохнул еле слышно.

Дипломат все-таки.

Давно меня так омерзительно не тошнило. Словно дерьмом обмазали. А члены голландской тургруппы, к которой я пыталась присоединиться, никак не могли понять, почему это – всем им да-

ли визы, а мне нет. И сразу отступили подальше, смотрели на меня с опаской и подозрением – без причины никакие власти в визе не отказывают!

В остальных попытках мне не давали визу совсем без всякой волокиты, даже без разговоров. Так что и женились мы как бы зазря.

Работа режиссера-фрилансера как минимум на две трети заключается в непрерывных усилиях по добыванию заказов и финансирования. Пока Джон занимался этим, я подрабатывала переводами. А он все время говорил мне: брось переводы, пиши сама. Все равно что. Для начала можешь описать свою жизнь, она интересная. Мне было смешно. Да здесь, говорила я, такая интересная жизнь у каждого второго, если не у всех подряд. Вот и напиши про одну такую интересную жизнь, говорил он. Но мне ничего исключительно интересного в моей жизни не виделось, то есть для самой-то меня вся она была исключительная и необычная. Но для других? Нет, не виделось.

– Это тебе потому так кажется, – говорила я, – что для тебя вся моя жизнь в России – сплошная экзотика.

Не слушала я его тогда, не писала. Переводила книжки, которые мне давала добрая Рита Шкловская, редактор ныне почившей «Библиотеки Алия». А как только Джон получал заказ, бросалась в бурный поток кинопроизводства. И в каждом из этих никак не соприкасающихся между собой видов деятельности чувствовала себя отлично.

Это были прекрасные годы. Разумеется, когда сходятся два человека из разных миров, столкновение их брызжет искрами во все стороны. Столкновений между нами, конфликтов и недоразумений было не счесть. Искры взрывались по всему дому и освежали атмосферу. Это были прекрасные, счастливые годы.

И они кончились.

Я получила почетный титул вдовы. Проклятый титул.

Тогда же завершилась окончательно и моя кинокарьеря. И об этом я не жалела – я ведь никогда не считала кино главным занятием моей жизни. А какое же считать главным? Может, и не было у меня такого. А разве это обязательно? У меня и цели «главной» никогда в жизни не было. Были каждодневные цели, необходимые для выживания, и по возможности с интересом и с удовольствием. А поиски высшей цели и тем более смысла жизни всегда представлялись мне оксюморонным абсурдом. И то, и другое у нас прямо перед глазами, задано нам природой изначально, вот и надо бы нам жить да радоваться, пока можно, а мы что с этим сделали? И я, понятное дело, воспользовалась дорогим подарком ничуть не умнее и не лучше, чем все. Мне только повезло чуть больше, чем многим – мои малые услуги почти всегда были кому-то нужны, чего же еще?

Снова взялась за переводы. И ведь всегда любила, всегда интересно было решать сложные словесные ребусы и кроссворды. Даже справки и прошения занятно было переводить. Хорошие (и не очень) рассказы и повести и подавно, и даже стихи иногда. В многолетнем процессе работы многому научилась, чувствовала себя в этом темном лесу все увереннее. И – чем увереннее я себя чувствовала, тем скучнее мне было это делать. Уверенность, ко-

нечно, была обманная, самонадеянная, сюрпризам в этой работе нет конца, проблемам часто нет решения, но что поделаешь? Стало скучно. Работала исключительно ради денег.

Я всегда любила повторять: «Если прилично заплатят, переведу что угодно». И всегда предпочитала размер оплаты качеству текста. Хотелось, конечно, перевести что-нибудь по-настоящему хорошее, любимое, но – переводить на свой страх и риск? Возьмут ли у меня это, заплатят ли? И если да, то когда? А деньги всегда нужны были сегодня. То есть еще вчера. И я, если не было литературы, переводила хорошо оплачиваемую дребедень.

Было время, когда я даже несколько презирала себя за меркантильность, за компромиссность, за измену Литературе. Это прошло. Переводчиков много, а денег в этом пространстве мало. Теперь я знаю, что моя меркантильность не раз помогла мне (а иногда и моему покойному мужу) жить, не прося милостыни. А это будет поважнее литературы. Да и не обеднела она, литература, не пострадала нисколько, что бы я ни переводила.

Итак, я теперь делала свою работу исключительно ради денег. Деньги были нужны всегда, но даже они не прибавляли моей работе обычного интереса.

Однажды известный англо-американский журналист и малоизвестный поэт Том Мэтьюз, друг Джона, подарил мне свою книжку. Стихи были лаконичные, короткие, сухие, без пафоса и «лирики», как раз на мой вкус (вообще, стихи люблю редко и мало). Захотелось попереводить, просто так, для собственного удовольствия. Перевела два или три стиха и вдруг заметила, что уже не перевожу, а пишу сама.

Как любят говорить поэты, у меня пошли стихи (чудное выражение, в моем мозгу прочно ассоциируется с поносом, а если «не идут», тогда, значит, запор...). Сюрприз! Я ведь со стихами покончила давно, еще в молодости, упражнялась только в письмах к друзьям.

Сперва слегка подражала Мэтьюзу, потом про него забыла. Написала несколько циклов стихов, коротких и длинных. Издала на свои деньги книжку в Израиле, первый тираж разошелся на удивление быстро. Особенно горжусь тем, что обложку и заставки нарисовала сама, на компьютере. Читатели говорят, красиво, а уж как мне самой нравится! Затем нашелся издатель в Москве, ему уже платить не требовалось. Наоборот. Часть книжки даже на иврит перевели, и тоже пришлось второе издание допечатывать!

Года через четыре-пять недержание стихов как явилось, так и прекратилось. Все, что хотелось сказать стихом, я уже сказала. При этом, однако, я заметила, что в одиночестве все свои мысли выражаю про себя в стихотворной, так сказать, форме – когда с размером и рифмами, когда белым стихом, когда еще свободнее, но всегда складно и законченно. Это меня испугало. Мысли мои были прочно скованы словами. Не стало свободы думать, как хочу, все зависело от выбора, всегда ограниченного, слов, которые приходили в голову и тянули мысли за собой. Я уверена, что, если бы мне дали заказ и заплатили бы, я без труда сочинила бы пристойный стишок или поэмку на любую тему (как и случалось пару раз). Поэтической ценности эти произведения иметь не могли. Было очевидно, что со «стихотворчеством» пора завязывать. Пришлось следить за собой, и недержание прошло.

Года клонили к суровой прозе. И не только года, но и собственное предпочтение.

Проза оказалась гораздо труднее стихов, труднее переводов, труднее всего, что я когда-либо делала в жизни. Сколько мучений. И ведь никто не просил. Писателей и без меня – завались, а читатель быстро становится исчезающим видом, и заповедников, где бы его охраняли и выращивали, не имеется. И даже на день-ги рассчитывать не приходится, разве что на очень небольшие там и сям.

На вопрос, зачем же ты пишешь, ни один сочинитель не даст вразумительного ответа (кроме разве несравненного Пелевина, который ответил с несвойственной ему ложной скромностью: чтоб самому было чего интересного почитать). У меня ответа нет, на пелевинский я претендовать не могу.

Впрочем, неправда, отчасти могу. Зачем писала повести, и рассказы, и даже роман – не знаю, и никто мне не скажет. Пользы ощутимой они никому принести не могли, а печаль и огорчение приносили несколько раз. Особенно мне запомнился такой случай. В самом начале моей поздней сочинительской карьеры была у меня такая повесть, герой которой, пожилой и одинокий, строил у себя в однокомнатной квартире бассейн. Повесть была опубликована незадолго перед большим праздником, кажется, это был Песах. Мне позвонила незнакомая женщина и попросила номер телефона моего героя. Я, сказала она, тоже одна, хочу пригласить его к себе на пасхальный ужин. Моим объяснениям, что такого человека в действительности нет, она не верила. Вы просто не хотите нас знакомить, сказала она мне с горьким упреком. А нам с ним вдвоем могло бы быть так хорошо. Вы жестокая, недобрая. Зачем тогда вам надо было про него писать, если он не существует! Ответить ей мне было нечего. Я лишь неловко извинилась, но она повесила трубку, так меня и не простив. И я не знала, радоваться ли мне или огорчаться.

И тем не менее позволяю себе отчасти присоединиться к ответу Пелевина. То, что я пытаюсь делать сейчас, вспоминать свою жизнь, интересно мне потом почитать самой. И вовсе не потому, что жизнь моя была такая интересная, как считал мой покойный муж. Мне интересно взглянуть на себя как бы со стороны, чужими глазами. Предприятие, разумеется, неосуществимое, да и слишком часто выдумки вклиниваются в былое. Но я хотя бы узнаю, что я думаю о себе сама – это совсем не так очевидно, как может показаться. И выдумки этому не только не помешают, как раз напротив.

Подводя итог своей трудовой деятельности, я вижу, что судьба была ко мне довольно благосклонна. Мне редко приходилось сидеть без дела. И совсем без заработка. Еще реже мне приходилось делать что-то, чего я не любила, что мне было скучно, – Впрочем, об этом позаботилась я сама. Разве это не достижение? Так это мне представляется теперь, в длинной перспективе лет, которая многое меняет.

А то, что я делаю теперь, это не заработок, и работой это называть нельзя.

Игорь Бяльский

СЕМЕЙНОЕ

РИВКА

...к тому же грубиян, а младший сын
не сватал дочерей чужих племён
и, взором постигая суть вершин,
сидел в шатрах, застенчив и умён,
и врачевал неуходящий страх,
покуда этот старший, сам с усам,
спешил в поля на каждый тарарах
и шлялся по неведомым лесам.

ЯКОВ

Но паритета! Равенства и братства.
Ввязаться и бороться до конца.
Воспрянуть, наконец, и разобраться,
и заново решить, кому из нас
продолжить в этот судьбоносный час
подвижничество деда и отца.
Сейчас! А если не сейчас – кому?
Апологету ловли и охоты?
И все грядущие круговороты –
к чертям? в доисторическую тьму?
И значит, ни Рахели, ни овец,
ни, наконец, народ произвести...
Зачем же так терзается отец
во мраке немощного благородства?
Да – паритета! Справедливости.
Свободы, равенства и первородства!

ИЦХАК

А голос – Якова. Что-то здесь
не так. Но времени уже в обрез.
И в прошлый раз невидимая сила
водила на закланье в тёмный лес,
но пронесло. И позже – проносило.

Да – Якова... Целеустремлён,
смышлён, упорен – вылитая Рива.
А Эська, блин, опять со всех сторон
подставился и угодил впросак,
и всё на этот раз выходит криво.
...Хотя и раньше – наперекосяк.

ЭСАВ

Отец, но почему? Благослови!
Пообещай и мне земной любви,
и нивы тучной, и росы небесной.
Ни времени я не жалел, ни сил,
всё, что просил, тебе я приносил...
Но удержать не смог тебя над бездной.

* * *

А это – я, вполне за шестьдесят,
давно не бородат, но и небрит,
невечный жид и тоже старший брат.

А что народ?.. Ну это не вопрос.
Никто из нас не оставался без.
Я тоже пересчитывал не раз
овечек белых и краплёных коз.

Всё это я – Эсав и Яков –
небестолков, но так ли уж лукав,
вкусив от яблочек большевиков
и прочих демократий оталкав,
гляжусь в моря летучих облаков.

И это тоже я – слепой Ицхак,
колодцев друг и выпить не дурак,
изведавший и стыд, и пыль дорог,
но не коснувшийся за долгий век
ни пирамид, ни вавилонских рек.
И праотец уже, и не пророк.

Феликс Кандель

*МОЙ ДОМ **

*Взять целиком меня: я пишушая тварь,
Над ней комедия не раз смеялась встарь...*

XIX век, автор неизвестен

ЛУЧШЕ ВСЕГО ДУМАЕТСЯ В ВАННОЙ...

...когда стоишь под душем.

И если моешь посуду – сколько раз убеждался.

У других, возможно, иначе, у меня оно так.

Но какая порядочная муза явится в ванную комнату, чтобы вдохновить намыленного мужчину?

Какая уважающая себя муза захочет иметь дело с мытьем грязных тарелок?

Не взмывает с Парнаса Мельпомена, облетает стороной Талия в светлых одеяниях, не проявляется покровительница наук и искусств, персонально ко мне приставленная, крыльями опав на подлете.

Музы, молю – из толпы многогрешного рода людского

Вечно влеките к священному свету скиталицу-душу!

Пусть тяжелит её мед ваших сот, укрепляющий разум...

Умоляй, не умоляй – не увлекут за собой.

Медом своим не утяжелят.

Что же нам остается? Чем пробавляемся?..

Садится на окно, у меня над головой, та самая ворона, которой я любопытен.

Вышагивает по выпуклому его пластику, выказывая себя, постукивает клювом для острстки, будто желает разбить окно и пробраться внутрь, к компьютеру, накаркивает с расстояния характеры, диалоги с конфликтами – с нее спрос.

Является без вызова Моти-водопроводчик в заляпанной спецовке, большой и медлительный, хмурый и улыбчивый. Усаживается за мой стол, перебирает текст, разобрав на слова, перекраивает без жалости абзацы, прочищая заторы, собирает заново, к изумлению автора. И неплохо получается, ей-богу, неплохо.

Я не сетую.

Годится ворона, лишь бы почаще накаркивала.

Годится и Моти-водопроводчик.

Такое у меня понятие.

– Вам хорошо, – огорчается сведущий человек. – Вы, теперешние, мало что знаете. А я придумаю – было у того, было у этого... Какое уж тут сочинительство!

– Не слушай его, – уговаривает Гоша, мой герой, запрятавшись в глубинах книги. – Что выдумал, то твое... Остаться бы с этим

* Из рассказов о себе и вокруг себя.

занятием до конца дней. Перекатывать слово – леденцом во рту, к созвучию гласных-согласных, худо ли?..

Читатель поинтересуется:

– Ваш Гоша – графоман?

– Не думаю.

– Его ворона накаркала?

На провокационные вопросы не отвечаю.

Бурчу под нос. Сам себя убеждаю:

– Ну и пусть, ну и ворона... Поэту нужна трагедия для вдохновения. Но их же много, поэтов, где взять столько трагедий? На всех не напасешься. На прозаиков не напасешься тоже.

Доказываю невесте кому:

– Нынешняя трагедия не приходит на котурнах. Нынешняя является в шлепанцах, шаркая по полу, – не всякому распознать...

Завершаю не без умысла:

– И у нас, у прозаиков, бывают откровения – поэту не по плечу. Сорвать лист с дерева, растереть пальцами, ощутить его кожей, вдохнуть терпкую горечь...

А на улице Гилеля подошла ко мне женщина с расширенными зрачками и беспокойным взглядом, который не уловить.

– Купите мои стихи. За пять шекелей.

– Непременно.

Заплатил пять шекелей, получил тетрадный лист в голубую линейку, оборванный по краю, на листе – десять строк, написанных нестойким почерком, словно водили по бумаге куриной лапкой. Разобрать было не просто, и вот это стихотворение в вольном пересказе:

*Пришло лето.
Лето явилось в Бейт а-Керем.
Цветы с гор
и утренняя прохлада –
всё это мне,
ко мне в Бейт а-Керем.*

СТАВИТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НЕ ТРУДНО...

...еще проще – знаки восклицательные, но точка, неприметная точка на жизненном пути, не каждому под силу.

Вырос мальчик в московской семье.

Надумал посетить синагогу.

Ходил вверх-вниз по переулку, поглядывал искоса на лестницу, что вела в здание, ступить на нее не решался.

В другой раз то же самое.

В третий.

Но однажды, на подходе к синагоге, углядел на тротуаре шапку, будто для него приготовленную. Надел на непокрытую голову и вошел внутрь...

Он не был еще раввином, когда мы встретились в Израиле, но он им стал.

Меня обучал премудростям.

Пришел к нему и сказал:

– Сегодня у меня на бумаге родился человек. Его не было вчера, не было никогда, но вот он есть, со своим характером и судьбой, как открылось убежище, за которым этот человек ожидал своего часа.

Какая муза подсказала – распахнуть дверь в то убежище? Какая нашептала фамилию затворника, его воинское звание?..

Он внимательно слушал, тот, который не был еще раввином, а я сообщал подробности, изложенные на бумаге.

Фамилия у человека оказалась замечательная.

Потряскин.

Воинское звание – соответственное.

Лейтенант Потряскин, который учился в бронетанковой академии и квартировал за занавеской у волоокой безобразницы Груни, нимфы местного значения.

На своих харчах да на ее покладистости.

По вечерам дом подрагивал от танковых усилий, и дальнобойный Потряскин ревел на всю округу:

– Груня! Не сбивай мне наводку, Груня! Броня крепка и танки наши быстры, Груня! И наши люди мужеством полны!..

Его убили в сорок втором году, и строчки проявились на бумаге, соответствуя этой потере:

*все войны делятся на справедливые и несправедливые;
справедливые – когда ты убиваешь,
несправедливые – когда тебя.*

Для Потряскина это была справедливая война, на которой его несправедливо убили.

– Ништо, – сказал. – Я им просто так не поддамся. Я их с собой прихвачу, на тот свет, этих сраных Гудерианов!

И полез на прощание из галифе.

Пять минут с Груней, как пять жадных затяжек.

Так жил и так умирал бронебойный лейтенант Потряскин, которого не сломить никому...

Он с интересом посмотрел на меня, тот, который не был еще раввином, а я продолжил:

– Не создан ли он, лейтенант Потряскин, в один из дней нескончаемого творения и ожидал моего появления, чтобы шагнуть через порог? Нет ли вокруг нас потайных дверей на подходе к удивительному, которые отомкнутся со временем? С иными ощущениями, иными ароматами? Не в каждом ли из нас эти двери, за которыми томятся не опробованные чувства?

Тот, который не был еще раввином, задумался:

– Я должен посоветоваться. Приходите завтра.

Назавтра он сказал:

– Всё зависит от того, ради чего открывают ту или иную дверь. Ради чего выпускают Потряскина в мир – на добро или на зло.

– Кому это определять?

– Вам, – ответил он. – Только вам.

А бронебойный Потряскин добавил бы из глубин ощущений:

– В какой фонтан бросить монетку, чтобы вернуться к тебе, Груня?..

ЖИВУ НА СКОРОСТИ...

...когда сижу, я бегу, сам себя обгоняю.

Стою – не устоять, лежу – не улежать, будто велено от рождения:

– Не застаивайся, парень. Дуй в паруса, дуй изо всей силы. И не будет у тебя безветрия.

Потому и дую. Надсаживаюсь. Пока легкие набирают воздух.

Шустрый у вас дедушка.

Но вот...

В один из дней...

Сидели на балконе. Оттаивали на солнце от холодов. Увидели вдруг невозможное.

Хамелеон пересекал наш балкон. Неспешно переставлял ноги, словно у себя дома.

Он двигался по плиткам пола, сероватый оттенком, крутил глазом, мир оглядывая, огибал цветочные горшки – мы шли рядом, любопытствовали.

Балкон большой, путь для тихохода немалый.

Подивился на кадку с масличным деревом и оливками на нем. Обошел стороной кактус, чтобы не пораниться о страшные иглы. Засмотрелся на буйство петуний – или нам показалось? Остановился возле пористого камня, который я притащил с гор, выбросил молниеносно язык, подловил на него мушку – двинулся дальше.

Балкон закончился.

Уткнулся в бортик, перебрался через него, ушел по стене, заросшей побегами, нежно среди них зазеленел.

И тогда я решил, привычный к вымыслам, что хамелеон обитал в доме по соседству, в тепле и сытости, а хозяева с затаенной гордостью показывали его гостям. У всех, мол, примитивные собаки с кошками, у них – Веспасиан в клетке, который стоит немалых денег.

Воспользовался оплошностью хозяев, пренебрег покоем и отправился в неизвестность, очень самостоятельный. А на свободе – кошки с помоек, несговорчивые, ободранные в боях, для которых сущая безделица придавить лапой пришельца.

На свободе – прочие опасности.

У хамелеона нет иголок, как у дикобраза. Природа не снабдила его чернильным мешком каракатицы, чтобы улизнуть от врага в непроницаемом облаке, не позволила даже подобно скунсу брызнуть струей с отвратительным запахом – как же такому убежаться?

Как уберечься тому, кто не скунс-каракатица?..

Прошло немалое время, и показали по телевизору хамелеона с острова Мадагаскар, где засушливо весь почти год.

Девять месяцев его зародыш проводит в яйце под землей, затем вылупляется на свет Божий – крохотный, уязвимый, которого легко заглотать.

Ему, этому хамелеону, выделен короткий срок жизни.

Он, этот хамелеон, должен быстро возмужать к периоду дождей, разыскать в зарослях себе подобную, спариться с ней, чтобы отложила яйца, и умереть молодым – вместе с ней.

Час жизни как день.

День как месяц.

Два-три месяца – вся жизнь.

Будто и ему повелели от рождения:

– Дуй в паруса, парень, дуй изо всей силы. Проточная вода не зацветает.

И тогда я понял: хамелеон на моем балконе – он с Мадагаскара.

Когда жизнь коротка, нет времени на сомнения.

Что ему неизвестность с кошками и прочими случайностями, если выделен месяц на всё про всё, и следует прожить его быстро, наполненно и отважно.

Найти себе подобную в этом мире.

Спариться с ней.

И умереть молодым.

КУДА НАС ТОЛЬКО НЕ ЗАНОСИЛО...

...где только не высевали слова свои!

Сижу перед компьютером, путаюсь в его командах.

Потаённое слово рвется на волю, утешающее, восхищающее, тревожащее, но я молчу, тюкаю пальцем по клавишам, и оно про-
является на экране – не высказанным, не услышанным.

Беззвучное слово сродни недвижному бегу.

Выскакивает на экран паучок, шустрый, крохотный, деловито
снует по строкам, как оценивает сочинителя, замирает в верхнем
левом углу, где помечено «Мой дом».

Мой дом – его дом.

Не начнет ли ткать паутину? Не уловит ли в сети букву-
букашку?

Как ему без добычи?

Как мне без буквы?

Подвожу стрелку к нему, «мышкой» подаю команду, чтобы
проявилось через Microsoft нечто сокровенное, быт членистоно-
гого и его предпочтения, старательно упрятанные от посторонне-
го взора.

Домысливать – такая сладость!

А паучок пригрелся на экране, в верхнем его углу, погрузился в
паучьи дрёмы, на меня не обращая внимания, на никчемное мое
занятие, прерванное нежелательным вторжением.

Мне не обидно. Мне интересно, и потому продолжаю.

В кухонном шкафу, под раковиной, две дверцы.

Закрываются плотно, достаточно плотно, но проглядывает про-
свет сверху донизу, через который проникает внутрь слабая, очень
слабая бледнота.

В шкафу живет малая, какая-никакая букашка неизвестного мне
наименования.

Букашка – и всё.

Еды ей хватает, мест для прогулок тоже, но темновато во вся-
кое время дня, тягостно оттого и тоскливо – так полагаю.

И всё же...

Выпадает такой момент в полдень, малый его миг, когда солнечный луч из окна пробивается через просвет между дверцами, привольно укладывается на полку. И лишь в это мгновение, необходимое для существования, покой нисходит на нее, восторг и ликование заполняют сердце букашки, которой не подобрать названия.

Можно понежиться в луче света, разглядеть саму себя, какую-никакую, даже позагорать, перемещаясь вместе со светом до полного его исчезновения, — но это уже не о букашке, это уже не о ней.

Странное дело!

Лето здесь долгое, жгучее, порой нестерпимое, но подходит зима, и начинаешь вновь тосковать по ясному небу, радоваться всякому лучу, что пробивается через прогал в облаках.

Даже к старости — всплески в душе в этот миг.

Какое-никакое ликование.

КОГДА ОТЦВЕТАЮТ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ...

...подсыхают и их листья.

Стоило бы наполнить горшки свежей землей, посадить новые саженцы, стоило бы, еще как стоило, — даю шанс этим, подсыхшим.

Мне дали, выпустив в жизнь, даю им и я.

Их устремления — мои устремления.

Их жажда — моя жажда, разом пересохшее горло.

Спешу с поливом, выдергиваю сорняки, поглядываю в ожидании, и они прорастают через месяцы. Набирают силу и распускают бутоны. С пестиками и тычинками, как положено, словно несказанно рады второму рождению.

Может, и мы прорастем заново — дайте только срок...

Я появился на свет в родовспомогательном заведении имени Григория Львовича Грауэрмана: Большая Молчановка, возле Арбатской площади.

Бегал в школу по этой улице.

Проходил мимо в институт и на работу.

Стоял, задрав голову к окнам, высматривал жену с новорожденным сыном.

Улетел от Большой Молчановки в дальние края — обживать иные пространства.

Вот бы им в родильном доме остеречь младенца:

— Жизньстораживает, парень.

Вот бы им, акушерам с гинекологами, разъяснить несмышленышу:

— Ты — внутри ситуации, не промахнись.

Не остерегли, не разъяснили, на восьмой день вынесли в ненадеванный мир.

Как одолжили на время и заберут в означенный срок.

Что к этому добавить?

Когда я родился, мир был моложе на мой теперешний возраст.
Был ли он хуже до моего рождения?
Не знаю. Не уверен. Прежде не жил.
Стал ли лучше с моим появлением?
Этого тоже не знаю.

И тогда я решил собрать выпускников родовспомогательного заведения, явившихся на свет ненароком в один день со мной. Чтобы выяснить, наконец, что мы привнесли в этот мир.

Даже сочинил в предвкушении:

«И вот мы встречаемся.

День назначен, и назначено место.

Ресторан «Прага», банкетный зал на тридцать человек. Придет сорок – поместится сорок. Придет пятьдесят – поместится пятьдесят. Лишь бы пришли.

Тихо.

Никого пока нет.

Входит пожилая официантка, на меня не смотрит.

– Как будем накрывать?

– Как хотите.

– Как захочу я, так не захотите вы.

– Почему?

– Потому что, – вздыхает. – Так как будем накрывать? Сколько с души?

– Смотря какие души придут, – улыбаюсь. – Это я скажу вам потом.

– Это вы мне скажете сейчас.

Я перестаю улыбаться. Я сдаюсь. Она материально ответственное лицо, я – морально: общего языка мы не найдем.

– Не беспокойтесь, – говорю, – у меня есть деньги. И не убегу: это я обещаю.

– Это я обещаю, – отвечает она мудро и печально.

Мудро – потому что от нее никто еще не убегал. Печально – потому что пытались...»

Вот и всё.

Больше ничего не сочинил, не получилось.

Оттого и не выяснил: стало ли лучше с нашим появлением?

Да и какая теперь разница? Заполонили мир другие: им жить, им и выяснять.

– Ой, – говорят, – у тебя пятнышки на руке. Где так загрязнился?

– Это не грязь, – отвечаю. – Это старость.

Которая дана на додумывание.

ПОБЫВАЛИ В КИБУЦЕ У ТОВАРКИ ДУСИ...

...высмотрели возле ее дома малый росток, выкопали с корнями, привезли домой.

Прошли годы, немало лет, и в квартире – джунгли.

Растение разрослось.

Поднялось по стене с моей помощью.

Добралось до второго этажа, улеглось в кресло.

Воздушные корни провисают донизу, змеятся по полу, словно угрожают, подползая.

– Дождешься, – обещают редкие гости. – Ты дождешься. Оплетут и задушат.

– Вы, – отвечаю. – Вы дождетесь.

Отделяется от стебля витой буравчик, растет, раскручиваясь, обращается в прорезной лист. Внуки приносили бабочек всяких выделок и расцветок, усаживали их на листья; они и теперь там, в гуще произрастаний, недостает разве что обезьянок на лианах.

Зимой растению холодно в доме, холодно и мне, особенно по ночам, когда снег в горах.

Редко, но выпадает.

В свитере тепло, как в валенке, – всё равно пробирает. Не Сибирь, конечно, но мерзнуть не хочется.

В большой комнате – камин у стены, которому требуется топливо, немало топлива. По осени звонили в нужное место, и привозили дрова кубометрами, которые мы укладывали на балконе, пленкой покрывали от дождей.

Дрова бывали разные, год на год не приходился. Всё зависело от того, какой лес очищали после пожара, какой сад сводили по старости, чтобы насадить иные деревья.

Привозили сосну с натеками подсохшей смолы-живицы.

Сосна легко разгоралась, постреливая искрами, горела бурно, напоказ, без остатка – только подбрасывай полешко за полешком.

Топили мы и эвкалиптом.

Горел он достойно, без излишних восторгов, но ароматы выделял скупое, слабо истекающие, словно держал для себя, не желая расставаться с эфирными маслами.

С ними уходил в печную трубу.

С оливковым деревом бывали трудности.

Оно с трудом разгоралось, оливковое дерево, требуя постоянного внимания, могло погаснуть, своевольное и капризное, напустив дыму до потолка. Да и не хотелось отправлять в топку узловатые скульптурные изделия, поражающие воображение; одно из них и сейчас у меня, удивляя замысловатостью форм.

Вишенные поленья – лучше не подобрать.

На срезе вскипала смола, густо-багровая, лопалась, истекая, наполняла пространство перед камином восхитительным запахом домашней вишневы, настоящей на сахаре, в стеклянной банке под марлей.

Что у меня теперь?

Висит под потолком бездушный кондиционер.

Смолой не вскипает, искрами не постреливает, лишь раскрывает створки и погуживает, ароматами не балует.

Дрова больше не заказываю, камин не топлю, не сижу возле него, заглядевшись на огонь; желание порой возникает и быстро угасает, подобно масляным поленьям в камине, напустив – вместо дыма – едкой горести на весь дом.

Утверждал знающий человек: «Нет никакой власти над прошлым, кроме забвения».

Но оно почему-то не приходит.

ДРАНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ МЕШОК...

...занесло ветром на верхушку тополя.

С земли не достать.

Лохмотьями шевелится на воздушных потоках – хожу мимо, морщусь, голову отворачиваю, а он шуршит, пакостник, как насмеяется надо мной.

Жизнь у полиэтилена долгая, всякому на зависть.

– Старичок, – взывает с высоты. – Всё шустришь понизу? Не пора ли в компост?..

К старости, на излете биографии, мир становится недружелюбным. Притяжение клонит к земле, проявляются коварные приступочки, прежде легко одолеваемые, о которые спотыкаешься в ущерб собственному скелету. Понижаются притоки, словно ступаешь под своды пещеры, отчего стукаешься лбом до потрясения головного мозга, который и без того плох.

Двадцать лет прошло, двадцать два года: полетели с Тамарой в Голландию, побывали на ярмарке цветов, купили луковицу амариллиса.

– Опасается холодов, – разъяснил продавец. – Жары опасается тоже.

Стоит на балконе под хлесткими ледяными дождями, жгучим полуденным солнцем, выпускает по весне два тугих стебля, на которых раскрываются граммофончики густо-карминного окраса.

До чего он живуч, мой амариллис, – обзавидуешься!

А на кухне погуживает холодильник, который купили по приезде.

Тридцать пять лет тому назад.

Погуживает себе и погуживает, холодит и холодит – что ему сделается, долгожителю?

Прижился в доме и металлический кувшинчик под бронзу, перемалывает перечные зерна. Проглядывает на нем эмблема немецкого пароходства – «Гамбург-Америка-линия», наш трофей с той войны.

Лет ему под сто, а он всё мелет и мелет.

С ним и хитрая вилка с пружинкой, чтобы, не трогая руками, сбрасывать на тарелку наколотые котлеты.

Тоже трофей и тоже долгожитель.

Обувь моя – не сносить. Свитера – не истрепать. Джинсы, картуз из Голландии – и говорить нечего. Отчего я не такой? Отчего мы не такие, болящие, кряхтящие, одноразового применения?..

Брат написал из Москвы:

«Живет у меня тихо-мирно старый железный ножик с деревянной ручкой из вашей кухни.

Когда проводили вас и вернулись, его хотели выбросить: такой был ржавый, неказистый, лежал в хламе на выброс. Но я его взял, и вот мы уже приятели. У кого собачка, а у меня ножик.

Его нормальное состояние быть ржавым, поэтому перед употреблением надо протереть, и чудо заключается в том, что ножик должен был уже стереться, уйти в ржавчину, но такого не произошло.

В этом что-то есть, но я еще не догадался – что...»

И через годы:

«Всё забываю спросить. У меня был ножик: такой удобный, всегда ржавый, из простого железа. Здорово резал, а потом куда-то исчез: я всё перерыл. Нож странный: сколько его ни точил, никак не убавлялся.

Не появился ли он у вас? От такого всякого можно ожидать...»

P. S.

Пока сочинял эти истории, скис холодильник, который купили по приезде.

Не погуживал больше, не холодил, возвышаясь мертвой громадиной, – пришлось поменять на новый.

Утешило ли это хозяина квартиры, в одноразовом его существовании?

Не сказал бы.

ОПАСАЮСЬ НА СТАРОСТИ...

...снов своих.

Во снах моих друзья мои и приятели выказывают без опаски тайные свои сомнения, словно исподтишка подглядывают за ними. Страхи выказывают с опасениями, незащищенность с неустроенностью, которые старательно скрывают ото всех.

Кто как может, тот так и скрывает.

Во снах моих уходят из жизни друзья мои и приятели, живые еще, полнокровные, в неведении от предстоящего, и я с тоской ожидаю того часа, когда сны станут явью.

А они не догадываются, друзья мои, о скором расставании, им пока невдомек.

За что мне такое?

Одно утешает, если это можно назвать утешением. Не снюсь ли и я друзьям моим, выказывая тайные свои опасения, не ухожу ли из жизни в их полуночных видениях?

Лучше о том не спрашивать...

Это не воспоминания о человеке – зыбкие мои ощущения, которые беспокоят.

Он входил в комнату, как входит каждый из нас, а казалось – боком, по стеночке, будто не полагалось ему места в этой комнате.

Разговаривал, словно извинялся, что отнимает наше драгоценное время, будто не причиталось ему того, что другие получали от рождения.

Выслушивал терпеливо всякое разное, от занудной зауми до пустышечного набора слов: это талант – слушать, не перебивая, мне так не суметь.

Сказано неспроста в давние годы: «Троим жизнь не в жизнь: мягкосердечным, вспыльчивым и безгловым».

Был он мягок и уступчив, с улыбкой легкой, приветливой, был, возможно, безгловым, но не вспыльчивым, нет, не вспыльчивым, досады свои держал при себе.

Опоздавший родиться или явившийся слишком рано, с неодолимой печалью, учтивым, не теперешним, политесом, с негромким

голосом, несуетливыми движениями рук, ненавязчивыми интонациями, – таким уложился в памяти. Тихость голоса заставляла прислушиваться, всякий раз хотелось переспросить: что вы сказали? Всякий раз думалось: то ли мы слышим, что надеялся он выговорить?

А говорил он разумное, взвешенное, выстраданное; когда замолкал, вслушивался, казалось, в невысказанное, вглядывался в невидимое. Неприютный, беззащитный от рождения – до серьезной жизненной встряски, которую не одолеть.

Он лежал без сознания неделю за неделей, и добрая душа приходила в больницу, садилась возле кровати, рассказывала новости, которые могли заинтересовать.

– Он, – уверяла, – слышит.

Другая добрая душа, помолвившись в палате, поменяла имя его на Хаим, от слова на иврите «жизнь».

– Чтобы обмануть, – сказала, – ангела смерти.

Николай Михайлович Карамзин жалился:

«Кто более нашего славил преимущество восемнадцатого века, свет философии, смягчение нравов?.. Восемнадцатый век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя ногами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим».

Что бы сказал Николай Михайлович про век двадцатый?

Что ожидал бы от двадцать первого?..

До двадцать первого века тот человек не дожил. Тихий, с неспешным словом, стороной прошедший мимо, не выпячивая себя, не выделяя имя свое, – пусть останется безымянным и на этих страницах.

Безымянные – их не счесть.

ЕСЛИ КОЛОКОЛЬЧИК НЕ ЗВЕНИТ...

...для чего он тогда?

У меня набралось их с десяток.

Разной формы и единого умолчания: стоят на подоконнике, пылятся без смысла.

Тучный, присадистый, царем-колокольчиком среди прочих, – ему бы грянуть на всю Ивановскую, буйно, зазвонисто: только пробудите.

Той же формы, той же присадистости, но росточком поменьше – вызванивал бы благозвучно, с достоинством, сзывая школьников на урок.

Стройный, с вознесенным шпилем, вне признанных форм-обличий, будто с иконы Дионисия или с картины Модильяни – отзовется залиvistым голосом, с благодарностью за то, что к нему притрунулись.

Расписной, с ажурной юбочкой понизу, – куда ему, тихоголосому, угнаться за звонкой радостью того, вознесенного?

Совсем уж крохотный, никакой на вид, язычок-било не разглядеть – этому и стараться не стоит, всё равно не услышат.

У меня их с десятков на подоконнике, каждый со своим характером, который вложил в него мастер, — но не беру в руки, не покачиваю с бережением, чтобы внимать разнородному звону.

А где-то в колыбели плачет младенец, не поддается материнским уговорам:

— Что ты хнычешь? Ну что?.. Тебя любят, кормят, баюкают; горе пока обходит, заботы не гнетут, обиды с потерями — куда ты спешишь? Придет время — наплачешься...

Не потрясти ли над ним погремушку, зачинание звуков жизни?

Не подарить ли колокольчики с подоконника? Обтереть только пыль. Пусть забавляется, подрастая, ухо налаживает, по тону, тембру, высоте звука вникает в разноголосие, которое за порогом.

Будет ли мир к нему благосклонен, вызвонит ли хрустальными перезвонами, голосов разных и разных обличий?

Откликнется бубенцом или боталом?..

«Ботало — крупный колокольчик с глухим звуком, деревянный или жестяной, который привязывали на шею коровам и лошадям, чтобы не потерялись во время пастьбы».

Друг подарил перед отъездом: листовое, с окалиной, размером с яблоко, в кузне сработанное, с лепестками понизу и железякой внутри.

Качнешь — брякает.

— Это тебе, — сказал. — Брякнешь — услышу. Знать буду, где ты.

На таможене спросили:

— Зачем везете?

— Корове, — говорю, — подвешивать.

— У вас будет там корова?

— Как знать.

Посомневались. Посовещались. Кликнули начальника.

— Ну уж нет, — произнес укоризненно, будто его обидели. — Ботало мы вам не выпустим в таком виде. Железяку прежде вынем. Не положено по правилам, чтобы в багаже звякало.

Отогнули лепесток, вынули железяку, и ботало замолчало.

Лежит у меня на полке, не звякает больше, сколько ни качай. Будто голос потеряло при переезде...

Годы пролетели немалые.

Ветры над головами.

Не брякается по жизни прежним манером, ну никак!

Может, голос растерял в пути?

Друг растерял в отдалении?

Голос — его так легко потерять, если ты не колокольчик.

В ДУШЕ Я, МОЖЕТ, РОМАНТИК...

...тоскующий романтик в череде домыслов.

Читаю «Прощай, оружие!».

В который уж раз.

Знаю, что героиня умрет при родах, но всякий раз сопротивляюсь этому, надеясь на лучшее.

Что стоило Хемингуэю написать иначе, и она родила бы дочь, и ее муж, герой книги, не ушел бы под дождем в никуда, а я не перечитывал бы книгу в невозможной подростковой надежде. Как тот мальчик, что раз за разом смотрел фильм про Чапаева и верил, что он выплывет – не утонет в реке Урал.

Жестокая эта профессия – сочинительство; потому, может, и притягивают страницы, не отпускают, в надежде на иное завершение сюжета, пока не дойдешь до фразы: «Она больше не приходила в себя, и скоро всё кончилось».

Не хочу, чтобы она погибала, не допустил бы, ни в коем случае – но ведь это не моя повесть, да и у меня умирают под обложками, слишком часто умирают мои герои.

Совсем как в жизни...

Сочинил рассказ «Мы идем в детский сад».

Его напечатали.

С эпиграфом из Исаака Бабеля: «...привезите в Житомир немножко хороших людей... Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны».

Недели не прошло – звонок.

Молодой голос:

– Прочитала. Должна вас увидеть.

– Это обязательно?

Непреклонно:

– Более того.

Не был избалован вниманием, а тут звонит читатель, да еще девушка, похвалит, должно быть, прочее разное...

Жало тщеславия – без него никак.

– Хорошо, – сказал. – Встретимся в городе.

– В городе не могу.

– Почему?

– Запишите адрес. Придете – узнаете.

Она жила на верхнем этаже, лифт не работал, и, чертыхаясь, пришлось одолеть кучу лестничных пролетов.

Дверь открыла немолодая женщина. Оглядела меня настороженно, без симпатии, шепнула торопливо:

– Ее нельзя волновать.

Голос из комнаты:

– Мама, пусть войдет...

Она полулежала в кресле, спиной к окну, обдуманно, по всей видимости, чтобы оставаться в тени. Углядел лишь бескровную белизну лица, глаза в провалах, исхудавшие запястья рук.

– Сядьте, – приказала. – Вон там.

Я сел.

– Скажу сразу, – начала. – Я больна. Сердце не справляется с нагрузками. А лифт у нас неисправен.

Задохнулась. Закашляла немощно. В комнату заглянула женщина, но она отослала ее нетерпеливым взмахом руки.

Отдышалась. Заговорила короткими фразами, как выталкивала их немощными толчками:

– Надо помочь. Одной девушке. Иначе она умрет.

Изумился:

– Почему я?..

– Вы написали – вам отвечать.

«Как охотились на медведя на Дальнем Востоке?

С ножом и грушей.

Груша – это деревянная болванка с шипами. Ее кидали медведю, а он, дурачок, полагал, что с ним играют, и хватал ее. Шипы впивались ему в лапы, он не мог их развести, и его убивали.

Не знаю, правда это или нет. Но если это правда, я бы запретил такую охоту. Нельзя убивать того, кто думает, что с ним играют...»

– Что я могу сделать? – спросил.

– Вишневский оперирует. На открытом сердце. Устройте ее к нему.

Без сил откинула голову. Повторила:

– Иначе она умрет...

Женщина шепнула ненавидисто в дверях:

– Уходите уже. Уходите!

Вышел на лестницу, повторил вслух:

– Ну почему я?..

Шел по улице, и казалось: она глядит вослед, глядит обреченно беспомощно, уложив на подоконник исхудавшие руки.

Оглянулся. Поискал окно на верхнем этаже.

– За себя не попросила...

Самое удивительное: я устроил больную в институт Вишневского, но это не помогло.

Она умерла. Умерла и та девушка, которую посетил.

По восточному поверью, птица Феникс приносит счастье тому, на кого упадет ее тень. Феникс пролетает не над каждым, не всякого опахивает крылом, тень не отбрасывает на страждущих.

Полвека почти прошло, как она сказала: «Должна вас увидеть...», а всё помню, до последней черточки.

Слова помню, которые поразили:

– Вы написали – вам отвечать.

Имя ее – забыл.

Леонид Левинзон
ДВА РАССКАЗА

ВСЁ ВОКРУГ ДОХНЕТ

Всё вокруг дохнет – кошки, собаки, воробьи, голуби. Тараканы дохнут! Их не травишь, а они дохнут. Встаёшь утром – а он на кухне сверху ногами валяется, усы откинул.

У нашего знакомого собака сдохла – молодая, всего шесть лет, так они три месяца убивались, потом новую взяли. А у другого знакомого – кошка! Вдруг перестала есть, хозяева пошли к ветеринару, ветеринар только взглянул и сразу говорит:

– Тут явно больной зуб, надо антибиотики давать.

Купили антибиотики, что, думаете, помогло? И главное – никаких видимых повреждений. Но ведь не может она сдохнуть из-за зуба?

Да что там кошка – люди дохнут!

Недавно в газете прочитал про транспортную аварию – погибла семья с шестью детьми, и их портреты в чёрных рамках редакция радостно поместила на первой полосе.

А вчера ехал в автобусе и встретился со старой знакомой, она социальный работник в больнице. Вижу – на ней просто лица нет. И дёрнуло меня спросить:

– Софья, что случилось?

Софья мне и рассказала, что случилось.

Её вызвали к умирающему семнадцатилетнему мальчику. После двух неудачных операций родители привезли его из России. И оказалось – поздно. Когда только мальчик появился в отделении, все вокруг забегали, заулыбались. Как же – юный мальчик, каждому хочется ему что-то тёплое сказать. Но как только поняли, что помочь невозможно, стали относиться к нему лишь как к больному: перевязки, капельницы – и до свидания. Ведь опасно в таких случаях душой привязываться. А мальчик лежит, глаза огромные, шепчет:

– Ну почему? Почему они? Что я им сделал? – потом заплакал навзрыд: – Пусть так, а я всё равно всех люблю!

Бедные родители заказали емуambuланс желания. Оказывается, есть такая услуга, когда можно выполнить просьбу больного, например, свозить к морю. Мальчик попросил погладить дельфина.

Не погладил. Ему стало совсем плохо, и врачи приказали давать морфий, чтобы спал и не просыпался.

А совсем недавно старый человек умер. Ему было восемьдесят три года. О чём он думал перед смертью? О детях, внуках, жене, о заросшем пруде за их домом, как летом по его водной глади бегут водомерки? Или о молочнице тёте Лене, каждый день добиравшейся из своей деревни до города на кукушке – ходил такой поезд с трубой по узкоколейке – ку-ку, ку-ку... Кукушечка, сколько мне осталось? Ничего не осталось, мой мальчик.

Врачи вводили адреналин, делали искусственное дыхание, старались, как могли. Не спасли. Потом говорят его жене:

– Всё, вам тут делать больше нечего.

– Это вам делать нечего, а я хочу попрощаться, – ответила женщина.

Вот восемьдесят три года – это много или мало? Вчера был, разговаривал, у компьютера оставил очки – они до сих пор лежат, а сегодня его уже нет. Такая долгая и так быстро прошедшая жизнь.

У моей подруги Иры в молодости была большая компания. Жили сорванно – пили, кололись, и все рано умерли, оставив её одну. Как-то мы встретились, и Ира, захлёбываясь от рыданий, начала кричать.

– Сволочи, сволочи! – вырывалось у неё. – Ну почему они умерли! – потрясала маленькими кулачками. – Почему?! Они же столько не увидели! Интернет, компьютеры, телефоны, да мало ли! Зачем было туда так стремиться?

Господа, я много думал и теперь знаю, в чём проблема! Просто в воздухе повысился уровень ядовитых веществ. Он повысился давно, но никто не заметил. Это ведь не глобальное то ли потепление, то ли похолодание, кому это надо?

Теперь, когда я всё понял, осталось найти специалиста, чтобы он проверил, помог, узнал – в чём причина такого повышения?

И что надо сделать, чтобы не повторялись эти глупости со смертями.

Единственное, это должен быть дипломированный специалист. Возможно, даже физик. Да, точно, физик! Или химик? А лучше всего – астроном!

Сегодня шёл по улице и услышал – девочка счастливо говорит:

– Мне папа запретил до завтра смотреть телевизор, а завтра уже сегодня, и будет новая серия.

Я встал на колени и заплакал.

УЛИТКА

Утром выхожу в кухню, а там улитка ползёт. Я её взял, выкинул в мусорное ведро и ушёл на работу.

Вернулся и сел к компьютеру. Встал, пошёл спать. Проснулся. Зашёл в кухню – улитка ползёт. Выкинул её в мусорное ведро и ушёл на работу.

Опять пришёл с работы и сел к компьютеру. Встал, лёг спать. Проснулся. Зашёл в кухню – улитка ползёт.

И тут я понял, что слишком быстро двигаюсь. Я не пошёл на работу, я начал изучать окружающий мир.

Окружающий меня мир состоит из комнаты и кухни. Справа хлипкая дверь отделяет его от мира соседки, чьи дети самые громкие в мире. Слева – за большим окном, обычно закрытым жа-

люзи, – сливающаяся во взгляде в устоявшуюся картину неизведанная природа, где бродят хитрые опасные кошки, нежно мурлычут днём и громко вопят ночами. Точат друг на друга страшные когти, защищают территорию. Около окна – трижды поломанный и восстановленный из обломков стол с широкой столешницей. На столе – его величество компьютер, и по тёмному экрану пробегают разноцветные линии, сплетающиеся в ломаную неразбериху. Недопитый чай в стакане, кусок хлеба с крошками, настольная лампа, бумаги двухмесячной давности. Около стола – конечно, стул. За стулом – красная тахта с перевернутым одеялом, очень жёлтый торшер, маленький полированный столик с двумя креслами, ковёр на полу, на столике задумчиво лежит веник. Ну, лежит. Так себе деталь.

Комната через оформленный аркой проём переходит в кухню.

В кухне же ещё проще: двухкомфорочная плита для приготовления яичницы, мойка с раковиной – мыть сковородку, микроволновка – я ей не пользуюсь, над мойкой – посудный шкаф. Ещё холодильник – он маленький и гудит. Внутри холодильника кетчуп для яичницы, яйца для яичницы, апельсин на всякий случай, лёд – сам по себе. Обеденный стол накрыт светлой клеёнкой, на клеёнке чайник, вода в бутылках, в стеклянных ёмкостях кофе, соль и сахар. Окно из кухни выходит на тот же двор. А во дворе кошки смотрят друг на друга, не знают, выть или мяукать.

Пол. По полу улитка ползёт.

Я присмотрелся.

На кухне стена до половины покрыта коричневой плиткой. Газовая плита с неряшливой белой поверхностью и дырчатыми крышечками для газа придавлена самовластно повторяющим её очертания тяжёлым чёрным прямоугольником. У микроволновки с выдернутым из розетки штепселем зачем-то открыта дверца. Покрытие мойки состоит из перемежающихся чёрных и коричневых пятен, раковина жёлтая, и на её дне новенькая дырчатая крышечка, защищающая сток. На столе около чайника лежит штопор. Кофе, сахар и соль стоят в каком-то беспорядке, соль вообще чуть ли не в миллиметре от края стола.

Внизу пол, и по нему ползёт улитка.

Я вдохнул глубже.

Коричневая плитка на стене расписана ромбиками. Клеёнка на столе не светлая, а серая, на ней цветочные узоры, край клеёнки с видимого конца стола загнут, и на нём скопилась пыль. На бутылочных этикетках кажущейся синей воды – изображение очень рогатого козла. Сахар просыпан.

Внизу пол, и по нему ползёт улитка.

Я вдохнул ещё глубже.

Узоры на клеёнке на самом деле не цветочные, а скорее абстрактные и сделаны белыми и тёмными точками, создающими сложные конструкции.

Ромбики на стенной плитке заполнены извилистыми линиями. У козла на этикетке «Эйн Геди» печальная морда, если бы не рога,

он был бы похож на волка. Волк-козёл одиноко стоит на фоне то ли радуги, то ли рассвета, в общем, чего-то радужного с синим. Рядом пририсована цифра «два».

Внизу пол, и по нему ползёт улитка.

Я растерялся – мне не хватало зрения.

На рогах у волка-козла по три ответвления. Еле заметных линий в ромбиках на стенной плитке шестнадцать, края клеёнки на обеденном столе волнистые, на металлической поверхности штопора есть ржавое пятнышко.

Я с трудом отвёл взгляд – зачем столько подробностей в простых вещах?

Подошёл и открыл окно – наступала весна.

Всевозможных оттенков зелень, бесконечно повторяя листочками своё «ш-ш-ш», задорно качалась под ветром, ловила солнечные блики. Рябь воды в лужице гоняла кораблик из высохшего листа, прилетевшая пчела – полосатое упругое тельце – села на собранную из многих мелких цветочков, вытянувшуюся на тоненьком стебельке к солнцу серенькую ладошку. Появившаяся дымчатая с переливами кошка, осторожно ступая мягкими лапами, повернув голову, посмотрела длинными глазами, удивляясь:

– А что это за рожа в окне?

Прыгнула в зелёное ш-ш-ш, мелькнула отставшим от тела хвостом.

Я вернулся взглядом – улитки не было. Я заглянул под стол, отодвинул холодильник, открыл дверцы под мойкой – нет. Нигде нет. Куда она делась?

И откуда она вообще каждый раз появляется?

А вдруг она улетела? Улетучилась, и всё? Исчезла с лёгким хлопком?

Но разве такое бывает? А вдруг бывает? Может, мы живём в чудесном мире, но упрямо не замечаем его каждодневного волшебства. А если просто повернуть голову и прищуриться? Ну вот как я – смотрите!

Я повернул голову и прищурился. Я улыбнулся. Я понял. Мне не нужно было больше окно. Я взлетел и опустился. Я исчез и появился. Я стал свободным, наконец, стал свободным.

Евгений Минин
КОЛОКОЛЬЧИКИ

* * *

Боже, не наказывай своей любовью –
Аз есмь червь земной – и не боле.
Что тебе стоит наказать – шевельнул бровью,
И сгибаемся, корчась от боли.

Не наказывай ни попутным ветром,
 ни провинцией у моря,
Ни миллионами в банке, ни безопасной дорогой,
Потому что счастье – это антоним горя,
А самое лучшее, что можешь сделать, –
Не трогай!

* * *

Это время противно на вкус,
в это время тошнит, как во время взлёта,
в никуда бездумный взят курс,
а в кабине никого, кроме автопилота.

Хорошо, что летим за солнцем вслед,
под надоевшей поппсы трень-брень.
Интересно, сколько мне будет лет,
когда кончится этот день?

* * *

Вам, уходящим из галута в галут,
Желаю крыши над головой,
Бизнес открыть свой,
Пусть детишки в чужом языке растут.

Да кому нужна с ивритом эта канитель
И с постоянно зализывающей раны страной.
Но услышит ли Всевышний ваше «Шма Исраэль»
Перед тем, как накроет зелёной волной?..

ЗАРИСОВКА

Два старика играют в теннис,
Своим сединам вопреки.
– А ну, Мошэ!
– А ну-ка, Дэнис! –
Кричат друг другу старики.
На стуле – с крепким кофе кружка,
В сторонке – побирушка-кот.
И смерть, бедовая старушка,
Ещё мячи им подаёт.

* * *

Новость пришла под вечер,
Радуйтесь и жалеите.
Сгинула Маргарет Тэтчер –
Леди из нержавеющей стали.
Что ей хвала и хула,
Времени круговерть.
Ржавчина не брала,
А взяла её смерть...

* * *

Наелся таблеток – уж если умру,
то только от них и никак не от хвори,
прощайте, рассветы, закаты и зори
и сайты родные с концовкою ru.
Но едкое солнце вонзится с утра,
вздохнёт отлюбившею женщиной море,
растает, как снег, настроенье в миноре,
и жизнь продолжается... et cetera...

* * *

Хочешь – поспорь со мной,
хочешь – не отвечай,
Но поскольку в пути рытвины и трамплины,
То приходится жить – каждый себе гончар,
Каждый лепит себя из необычной глины.
Крутит водоворот в этой людской возне,
Приучаем себя к бедам, потерям, болям.
Знаю, что неспроста часто кричим во сне,
Знаю и отчего: каждому снится Голем.

* * *

Одиночества странная каторга –
Так сидит в паутине паук.
Не кофейною гущей, не картами
Заполняю текущий досуг.
Не дождусь ни награды, ни почести,
Поседевший от смеха блондин.
Но утешно звенят колокольчики:
Не один...
 Не один-н...
 Не один-н-н...

* * *

Эта женщина взглядом выжгла мне душу
И заполнила её тем, что видят глаза.
Думал: не выдюжу, но до сих пор дюжу,
Хотя не слышны мне поднебесные голоса.
А писать стихи – это такая проза, такая проза,
Навроде не очень мудрёной словесной игры.
А иногда слышится, как скрипят полозья
И катятся санки со мною с невысокой горы.

* * *

Всё нелады с самим собой
в моей душе еврейско-русской:
то – вечный бой,
то вечный сбой
с компьютерной перезагрузкой.
Когда вопрос неразрешим
раздумьем долгим и бессонным,
то сразу ищется аршин,
который станет эталоном...

ПРОСЬБА

Перед сном говорю: «Боже, разбуди меня утром»
Чтобы свет – слева, а будильник – справа,
Чтобы солнце – огненным каракуртом,
Чтобы глаза жены и внуков орава.
Каждый день мил своим абсурдом,
Приветом друга и уколом клона.
Перед сном говорю: «Боже, разбуди меня утром»
Завтра же матч «Реал» – «Барселона».

Шмуэль Йосеф Агнон

ВРАЧ И ИЗГНАННАЯ ИЛИ ЖЕНА

1

Когда я поступил врачом в больницу, была там одна сестра милосердия, белокурая девушка, всеобщая любимица, о которой больные сказывали только хорошее. Стоило им слышать звук ее шагов, как они приподнимались на кровати и тянули к ней руки, словно ласковое дитя при виде матери, и каждый звал: «Сестрица, сестрица, поди ко мне!» Даже неисправимые ворчуны, которым свет не мил, увидев ее, спешили угодить; морщины на их лицах разглаживались, и раздражение как рукой снимало. Она же и не думала повелевать, но одной ее улыбки хватало, чтобы смирить всякого. А еще более — одного взгляда. Глубокой синевы были у нее глаза, и тот, на кого они обращались, полагал, что важнее его нет в целом свете. Помню, как-то я спросил себя: и откуда в ней такая сила? Но когда ее очи глянули на меня, и со мной сделалось то же, что с больными. Она же ничем меня не выделяла, да и ко всем относилась равно, ни к кому не выказывая особого расположения.

Но сама ее улыбка и бездонная синева очей добавляли то, что не входило в ее намерения. А как любили и привечали ее, судите по отношению к ней товарок. Даже старшая сестра, заносчивая и тощая сорокалетняя дама с неизменно кислым выражением бескровного лица, которая терпеть не могла ни больных, ни врачей, ни чего другого в мире, за исключением разве черного кофе с подсолненными коржиками да своей собачонки, даже она не имела к чему придрататься. Бывало, на всякую молодую девицу смотрит так, будто растерзать готова, а на эту глядит приветливо. О своих коллегах-врачах я и не говорю. Всякий врач, когда ему выпадало с ней дежурить, считал этот день праздником. Даже наш строгий профессор, которому аккуратно застеленная кровать была важнее страданий больного, не возмущался, если заставлял ее сидеть на чьей-нибудь постели. Этот старик, воспитавший не одно поколение учеников и нашедший лекарства, исцеляющие от нескольких недугов, умер в концентрационном лагере, где нацистский офицер издевался над ним и каждый день доводил до полного изнеможения. Однажды приказал ему лечь на землю лицом вниз, расставив руки и ноги, а затем — быстро встать. Когда же старик замешкался, он принялся топтать его, и гвозди кованого сапога изранили руки профессора, который умер от заражения крови. Что еще сказать? Нравилась мне та девушка, как и всем, кто был с нею знаком. Добавлю лишь, что и она хорошо ко мне относилась. Правда, всякий мог бы сказать о себе то же самое, но другие помалкивали, а я позволил себе дерзнуть, и она вышла за меня замуж.

2

Ты спросишь: как дело было? Однажды пополудни вышел я из столовой и встретил Дину. Сказал ей: «Вы разве не заняты, сестрица?» Она отвечала: «Нет, я свободна». Я спросил: «Может, нынче день особенный?» Она ответила: «У меня сегодня выходной». Я спросил: «И как же вы проводите свой выходной?» Она отвечала: «Я еще не решила». Я сказал: «Позвольте дать вам совет». Она сказала: «Пожалуйста, господин доктор». Я сказал: «Дам вам совет, но только за вознаграждение, потому что в наше время ничего даром не дается». Она взглянула на меня и рассмеялась. А я сказал: «Есть у меня добрый совет, вернее, два. Во-первых, давайте съездим в Пратер, а во-вторых – сходим в оперу. И если поспешим, мы еще в кафе заглянуть успеем. Ну как, сестрица?» Улыбнулась она в ответ и согласилась.

Я спросил: «Когда пойдем?» Она ответила: «Когда захотите, тогда и пойдем». Я сказал: «Вот только покончу с делами и зайду за вами». Она сказала: «Когда бы вы ни пришли, я буду готова», – и ушла к себе. А я пошел разбираться с делами. Часом позже, когда я заглянул к ней, она была одета иначе. Эта перемена совершенно ее преобразила, и она показалась мне еще милее, ведь к ее прежней прелести в белом халате добавилась прелесть девушки в новом платье. Я сел, посмотрел на букет на столе, на узенькую кровать и спросил: «А знаете ли вы, Дина, как называются эти цветы?» И, не дожидаясь ответа, сам назвал по имени каждый цветок – и по-немецки, и на латыни. Тут меня охватило беспокойство, а вдруг тем временем привезут тяжелобольного и пошлют за мной. Поднялся я со стула и принялся ее поторапливать. На лице ее проступило огорчение. Я спросил: «Что вас огорчило, сестрица?» Она отвечала: «Я думала, вы чего-нибудь отведаете». Я сказал: «Сейчас мы пойдем, но если вы и впредь будете столь добры, я вернусь и буду есть и нахваливать все, что вы мне ни предложите, да еще добавки попрошу». Она спросила: «Могу я надеяться?» Я отвечал: «Считайте, что вам это обещано. Более того, я же сказал, что еще и добавки попрошу».

Мы вышли с больничного двора, и я сказал привратнику: «Видишь эту сестрицу, я ее похищаю». Поглядел он на нас с приязнью и сказал: «В добрый час, господин доктор! В добрый час, сестра Дина!»

Мы направились к трамвайной остановке. Подошел трамвай и оказался переполненным. Подошел другой, и мы решили ехать на нем. Дина поднялась в вагон, а я едва поставил ногу на ступеньку, как вожатый объявил: «Все места заняты». Вышла Дина и стала вместе со мной дожидаться следующего. Я подумал: глуп тот, кто говорит, будто не стоит огорчаться, если от тебя сбежали трамвай или девушка; мол, другой или другая не заставят себя ждать. Но ведь если рассуждать о девушке, разве найдешь другую, как Дина? А если говорить о трамвае, жаль мне было каждой потерянной минуты.

Подошел пригородный трамвай. Поскольку вагоны его были новыми и просторными и пассажиров в них почти не оказалось, мы сели и поехали. Только сели (а если верить часам, то по прошествии часа), как прибыли к конечной остановке, посреди приятной дачной местности с обилием садов и редкими домиками.

Мы шли вдоль улицы и беседовали о нашей больнице, о больных и о сестрах, о старшей сестре и врачах и о профессоре, который ввел правило при заболевании почек поститься один день в неделю, потому что, когда однажды, имея больные почки, он в Судный день постился, потом при анализе выяснилось, что белок в моче исчез. Еще мы вспомнили всех покалеченных войной и радовались, что в этом красивом месте не повстречали увечных. Тут я вдруг сказал: «Оставим больных и увечных и поговорим лучше о чем-нибудь веселом». Она согласилась, хотя по выражению ее лица я понял: она не уверена, что мы найдем тему для разговора.

Повстречались нам дети. Увидели нас, прервали свою игру и стали перешептываться. Я спросил: «Знаете ли вы, сударыня, о чем говорили эти дети? Они говорили: тили-тили-тесто, жених и невеста». Дина покраснела и сказала: «Возможно, и так».

Я сказал ей: «Разве вам больше нечего добавить?» Она спросила: «О чем вы?» Я ответил: «О словах детей». Она сказала: «Разве мне не все равно?» Я спросил: «А если бы это было серьезно, что бы вы сказали?» Она удивилась: «Что вы имеете в виду?» Я набрался духу и сказал: «А если бы слова детей оказались правдой, то есть что мы и впрямь пара?» Она засмеялась и глянула на меня. Взял я ее за руку и сказал: «Дайте мне и другую вашу руку». Она протянула вторую руку. Я наклонился, поцеловал обе ее руки и посмотрел ей в глаза. Лицо ее залилось краской. Я сказал: «Принято считать, что устами младенцев и дураков глаголет истина. Слова младенцев мы уже слышали, теперь послушайте, что скажет вам один дурень, то есть я, которому вдруг открылась мудрость».

И, заикаясь, я начал: «Послушайте, Дина...» Не успел я высказать того, что у меня на сердце, как почувствовал себя счастливее всех на свете.

3

Не было в моей жизни лучших дней, чем дни от обручения до свадьбы. Если прежде я полагал, что брак заключается ради удовлетворения нужды мужчины в женщине, а женщины – в мужчине, то теперь узнал, что нет ничего прекрасней той нужды. Лишь в те дни я начал понимать, отчего поэты воспевают любовь, хотя что мне до них и до их стихов, коль не о Дине они сложены. Уж сколько раз я думал о том, как много сестер работает в больнице и как много женщин есть на свете, я же словно не знаю ни одной женщины и ни одной медицинской сестры, ибо все мои мысли обращены к ней. А когда довелось мне снова ее увидеть, я сказал себе: не иначе как лишился разума тот человек, коль причислил ее к прочим женщинам. И как я относился к ней, так и она ко мне. Но глубокая синева ее глаз потемнела, словно заволоклась тучею, готовой пролиться слезами.

Однажды я задал ей вопрос. Она лишь поглядела на меня и не сказала ни слова. Я спросил снова. Повисла она у меня на груди и сказала: «Ты даже не знаешь, как ты мне мил и как сильно я тебя люблю». И улыбка тронула ее печальные губы, та самая улыбка, что сводила меня с ума своей сладостью и болью.

Я спрашивал себя: если она меня любит, откуда эта печаль? Может, она из бедной семьи? Но она отвечала: «Моя родня живет в достатке». Может, она дала обещание другому? Но она отвечала: «Я совершенно свободна». Стал я докучать ей расспросами, но она еще пуще ластилась ко мне и молчала.

Я, однако, решил разузнать о ее родне. Может, они были богаты, да разорились, и это ее печалит. Оказалось, что у каких-то ее родичей свои заводы, другие тоже известны, каждый в своей области, и на доходы не жалуются. Сердце мое возгордилось. Пусть я вырос в бедности, ведь я сын простого жестянщика, но одеваюсь я более чем прилично. Правда, она не обращает внимания на мои костюмы, разве что я сам не спрошу ее мнения. И стала она мне еще милее. Умом этого не понять, ведь и так уж вся моя любовь была ей отдана. А ее любовь вся принадлежала мне. Но к ее любви примешивалась печаль, и эта печаль отравляла мне душу.

Яд той печали разливался по всем моим членам, и я томился вопросом: что ее огорчает? Или такова природа всякой любви? Я упрямо добивался разъяснений: «В чем суть твоей печали?» Она обещала сказать, но все как-то избегала ответа. Я напомнил ей о данном обещании. Взяла она мою руку в свою и сказала: «Давай, дружок, радоваться, не станем омрачать нашу радость». И при этом так вздохнула, что боль пронзила мне сердце. Я спросил: «О чем ты вздыхаешь, Дина?» Улыбнулась она и сказала сквозь слезы: «Прошу тебя, милый, ничего не говори». Я замолчал и больше не спрашивал. Но по-прежнему хотел знать причину и ждал, когда она сама пожелает открыть ее мне.

4

Однажды пополудни я зашел ее проведать. В уходе за больными выдался перерыв, и она сидела в своей комнатке и шила новое платье. Я приподнял край ее шитья, погладил материю и устремил взгляд прямо ей в очи. Она посмотрела на меня и сказала: «Был у меня прежде другой». Увидела, что я не постигаю смысла ее слов, и объяснилась. Сердце мое сжалось, в груди похолодело. Я ничего не сказал. Наконец промолвил: «Ничего подобного у меня и в мыслях не было». Сказал так и сел, дивясь и изумляясь. Я дивился своему спокойствию и изумлялся тому, что она могла уронить свою честь. Тем не менее я вел себя с ней, как раньше, будто она ничего не потеряла. И вправду, тогда я не считал, будто она что-то потеряла, и любил ее, как прежде. Увидела она, что я не переменялся – улыбка и хорошее настроение вернулись к ней, лишь глаза словно застилал туман, как у того, кто выбрался из мрака, да попал во тьму. Я спросил: «Что ж это за человек такой, который пренебрег тобою и не взял тебя замуж?» Но она уклонилась от ответа. Я же сказал: «Ты видишь, Дина, что я на тебя не сержусь, но мне просто любопытно узнать об этом. Скажи мне, дорогая, кто он?» Она отвечала: «Ну не все ли тебе равно, как его зовут?» Но я сказал: «И все же». Она назвала имя. Я спросил: «Он доцент или профессор?» Она сказала: «Служащий». Я начал размышлять: разные служащие заняты на предприятиях ее родственников; есть среди них высокопоставленные, знающие и

образованные, ученые и изобретатели. Как видно, самому значительному отдала она свое сердечко. Вообще-то, все равно, кто тот человек, которому женщина, любимая мною больше всего на свете, отдала свою любовь, но я желал польстить своему самолюбию и сказал себе: он, верно, большой человек и превосходит всех своих товарищей. А ей сказал: «Служащий. И что же он делает?» Она отвечала: «Он письмоводитель в правительственном учреждении». Я сказал: «Удивляюсь я, Дина, что мелкий чиновник, какой-то писарь, столь сильно пленил твое сердце, и более того – пренебрег тобою. Выходит, он с самого начала был тебя недостойн». Она потупила взор и промолчала. С тех пор я больше не напоминал ей о ее прошлом, как не вспоминал об ее вчерашнем платье. И если сам вспоминал о том, гнал воспоминание из своего сердца. И так вплоть до свадьбы.

5

Наша свадьба прошла, как у большинства молодых людей в нашем поколении, тихо, без помпы. У меня ведь нет родных, кроме, пожалуй, того родича, что подбил отцу глаз. А она с тех пор, как сблизилась со мною, отдалилась от всей родни. В те времена вообще не было принято устраивать пышное застолье. Одна власть ушла, другая пришла, а в междувластии – смута, растерянность и безумие. Те, кто еще вчера вершили судьбами, сегодня томились в заключении или скрывались за границей.

Итак мы встали под свадебный балдахин без родных и приглашенных, если не считать горстки случайных людей, зазванных служкой, – убогих прихлебателей, которые часом раньше сопровождали в последний путь усопшего, а теперь вот веселились на моей свадьбе. До чего ж унылы были их взятые напрокат костюмы, до чего ж нелепы высокие цилиндры, и с какими наглыми голодными глазами дожидались они конца церемонии, чтобы поскорее оказаться в пивной с вырученными на моей свадьбе деньгами. Я благодумствовал, и пусть все это было более чем странно, ничто не омрачало мою радость. Пусть другие шествуют под свадебный балдахин под руку со знатными и богатыми провожающими, я же пойду сочетаться браком в окружении бедняков, которые пришли заработать на кусок хлеба. Дети, что у нас родятся, уж, верно, не спросят меня: «Папа, кто у тебя был на свадьбе?», как я не спрашивал у отца, кто был гостем при его женитьбе. Я сунул руку в карман, достал несколько шиллингов и отдал служке, пусть добавит к положенной им плате. И тут же испугался, что они обступят меня и осыплют словами благодарности, даже приготовился сказать, что того не стою. Однако никто не подошел, но один оперся на трость, другой неестественно выпрямился, чтобы казаться выше ростом, а третий бросал на невесту совсем уж неприличные взгляды. Я спросил о нем служку. Служка ответил: «Эт-т-тот... – и как-то по-особенному протянул звук «т». – Был служащим, да выгнали его». Я покивал и промолвил: «Так, так», будто хотел показать двумя этими таками, что вопрос исчерпан. А служка тем временем отобрал четверых, и вручил им шесты, и накинул на шесты плат балдахина, и при этом толкнул кого-то, кто нагнулся, так что балдахин упал.

Стоя под балдахином, я вспомнил историю об одном человеке, которого его возлюбленная принудила сочетаться с ней браком. Пошел он и созвал на свадьбу всех мужчин, с которыми она была близка до него, чтобы не забывала своего прошлого, а еще чтоб себе насолить за то, что согласился на ней жениться. До чего ж отвратителен тот человек и до чего отвратительно то, что он сделал. Но мне он был мил, и поступок его мне нравился. И пока раввин зачитывал ктубу, я смотрел на собравшихся и пытался представить себе, что испытывали та женщина и ее приятели. И еще до того, как жена протянула мне пальчик для обручального кольца, и я проговорил: «Вот, ты посвящаешься мне...», я знал и понимал, что за человек был тот жених в час свадьбы.

6

После свадьбы мы отправились в деревню отметить радостное событие. Я не стану тебе рассказывать, что приключилось с нами в дороге, на вокзале и в поезде, не стану перечислять все горы и возвышенности, которые мы видели, а также ручьи, реки и родники, бившие из почвы долин и из горных расщелин, как делают все, повествуя о путешествии новобрачных. Можешь не сомневаться, были там и горы, и холмы, и родники, и реки, и кое-какие дорожные приключения тоже нас не миновали, но все это стерлось у меня из памяти, уж слишком врезались в нее события нашей первой ночи. И если ты не слишком устал, я тебе расскажу.

Прибыли мы в деревню и зашли в небольшую гостиницу, стоявшую среди садов, гор и ручьев. Поужинали с дороги и поднялись в отведенную нам комнату, поскольку я еще до свадьбы отправил хозяину гостиницы подобающую случаю телеграмму. Жена осмотрела комнату и задержала взгляд на букете алых роз. Я решил пошутить и сказал: «И кто это был так мил, что послал нам эти чудные розы?» «И кто?» — отозвалась жена, как если бы знала, что есть здесь кто-то помимо хозяев гостиницы, кто знает о нашем приезде. Я сказал: «В любом случае я собираюсь их убрать, потому что этот запах мешает спать. Или, может, оставить ради такого случая?» «Да, да», — отозвалась жена, и голос ее звучал, как у человека, который говорит и сам не знает, что говорит. Я спросил: «Разве ты не хочешь их понюхать?» Жена отвечала: «Да, да, хочу». Забыла и не понюхала. Подобная забывчивость была не свойственна Дине, которая любила цветы. Я напомнил ей, что она все еще не вдохнула их аромат. Она наклонилась к цветам. Я сказал ей: «Отчего это ты наклоняешься к цветам? Ведь ты могла поднести их к себе». Поглядела на меня, словно услыхала что-то новое, и глубокая синева ее глаз потемнела, когда она произнесла с упреком: «А ты наблюдателен, мой милый». Я поцеловал ее долгим поцелуем, закрыл глаза и сказал: «Теперь, Дина, мы наконец одни».

Она медленно разделась и принялась расчесывать волосы, а тем временем сидела и смотрела на стол. Я наклонился, чтобы посмотреть, чем она занята и почему медлит, и увидел, что она читает брошюру, из тех, что можно встретить в католической деревне, и там написано: «Ждите Господа нашего во всякий час, Он придет».

Я приподнял ее подбородок и сказал: «Твой господин уже пришел, тебе ждать не надо», — и прильнул губами к ее губам. Подняла она на меня грустный взгляд и отложила брошюру в сторону. Я взял ее на руки, отнес на кровать и выкрутил фитиль лампы.

Цветы благоухали, и сладкое безмолвие окутало меня. Вдруг из соседней комнаты донесся звук шагов. Я отогнал от себя этот звук и постарался отвлечься, ведь какое мне дело, есть там кто-нибудь или нет. Я его не знаю, и он нас не знает. А если б и знал, мы ведь женаты по вере и по закону. И я с вящей любовью обнял жену, и радовался ей до глубины души, и знал, что она всецело принадлежит мне.

Дина лежит в моих объятьях, а я напрягаю слух, чтобы услышать, прекратилось ли хождение того человека, и слышу, что он все еще продолжает шагать. Эти шаги словно с ума меня свели, и мне подумалось, что это тот самый писарь, с которым моя жена познакомилась до свадьбы. Сердце мое дрогнуло, и я прикусил губу, чтобы недостойные речи не сорвались с моих уст.

Почувствовала это жена и спросила: «Что с тобой, друг мой?» Я ответил: «Ничего, ничего». Она сказала: «Я же вижу, что сердце твое смущено». Я ответил: «Я ведь сказал тебе». Она отвечала: «Как видно, я ошиблась». Рассудок мой помутился, и я сказал: «Нет, ты не ошиблась». — «И что же?»

Я ей рассказал. Она разразилась слезами.

Я спросил: «О чем ты плачешь?»

Она подавила рыдания и сказала: «Открой дверь и раствори окна — пусть все знают о моем грехе».

Я устыдился своих слов и стал ее успокаивать. Она успокоилась, и мы помирились.

7

С тех пор тот человек все время стоял у меня перед глазами, был ли я с женой или без жены. Если я сидел один, он занимал мои мысли, если говорил с нею, я напоминал ей о нем, а если видел цветок, вспоминал те алые розы. Кто знает, не такие ли цветы имел он обыкновение дарить моей жене, и оттого-то она не стала их нюхать в нашу первую ночь — постыдилась при муже нюхать цветы вроде тех, что носил ей ее прежний возлюбленный. Если она плакала, я ее успокаивал. Но, целуя жену примирительным поцелуем, я слышал звук другого поцелуя, того, что дарил ей другой. Мы — люди просвещенные, современные, мы требуем свободы для себя и для всех и каждого, а на деле мы хуже всякого ретрограда.

Так прошел первый год. Я хотел радоваться жизни с женою, но вспоминал того, кто умалил мою радость, и предавался печали. А бывала она весела, я говорил себе: отчего она радуется, не иначе вспомнила того мерзавца и радуется. Стоило мне упомянуть его в разговоре, как она раздражалась слезами. Я ей говорил: «Отчего ты плачешь? Оттого, что трудно тебе слушать нелестные слова о том мерзавце?» А ведь я знал, что она давно вырвала его из сердца и даже думать о нем забыла, а если и вспоминала, то ему в осуждение и что никогда она его не любила, но его непомерная дерзость и ее минутное легкомыслие привели к тому, что она утратила над со-

бою контроль и пошла у него на поводу. Однако понимание дела не приносило мне душевного покоя. Я хотел понять характер того человека, узнать, что привлекло к нему скромную и порядочную юную девушку. Я принялся искать среди ее книг, может, найду обрывок его письма, потому что Дина имела привычку пользоваться письмами как книжной закладкой. Но я ничего не нашел. Сказал себе: возможно, она спрятала его письма в укромное место, ведь я все книги пролистал и ничего не обнаружил. Не хватило у меня духу шарить среди ее вещей. И это пробудило во мне ярость, ведь я выдаю себя за приличного человека, а мысли мои омерзительны.

Я ни с кем посторонним о ее прошлом не говорил, а потому стал искать помощи у книг и начал читать истории про любовь, желая понять природу женщин и образ действия их любовников. А когда романы нагнали на меня скуку, принялся за чтение криминальной хроники. Увидели это мои друзья, стали подшучивать надо мною: «Да ты никак сыщиком стать собираешься?» Второй год тоже не принес облегчения. И если случалось мне в какой-то день не вспоминать о том человеке, назавтра я с лихвой восполнял упущенное. Из-за причиненных мною огорчений жена заболела. Я лечил ее лекарствами и калечил речами. Я говорил ей: «В том, кто исковеркал тебе жизнь, ищи источник всех своих недугов. Он-то теперь забавляется с другими женщинами, а мне предоставил нянчиться с болящей». Тысячью раскаяниями каялся я после каждого упрека и тысячекратно повторял опять те самые слова.

В то время мы с женой стали бывать у ее родственников. И тут я поведаю тебе нечто странное. Я уже говорил, что Дина была из хорошей семьи, и родня ее – люди известные. И вот они и их жилища преисполнили меня гордости, из-за ее близких я и к ней стал испытывать большее уважение. Деды их вышли из гетто, а добились богатства и почестей. Богатство заслуженно венчало их славу, а слава добавляла красы богатству, и даже во время войны, когда большинство тех, кто разбогател, наживался на нужде ближнего, руки этих людей не касались сомнительных денег и сами они не жирели от излишества, но получали ровно столько, сколько полагалось каждому. Были среди них люди красивые, каких мы рисовали себе в воображении, да не сподобились видеть воочию. А более всего – дамы. Ты ведь не знаешь Вены, а если и знаешь, то видел только таких евреек, вслед которым иноверцы презрительно перешептываются. Но если б они удостоились встретить тех, с которыми я встречался, прикусили б язык и помалкивали. Меня не беспокоит, что говорят о нас другие народы, оттого что нет у нас надежды снискать их расположение, но коль скоро я припомнил наше унижение, припомню и их восхищение, ведь ничто так не радует брата, как когда восхищаются его сестрами, отчего и он делается как бы значительнее.

Со временем я стал воспринимать родственников жены так, как если б они не имели к ней никакого отношения, словно это я их родня, а не она. Я размышлял и раздумывал: знали б они, какие муки я ей причиняю. И уже готов был открыть им свое сердце. Но когда понял, к чему побуждает меня мое сердце, начал сторониться их, а следом и они от меня отделились. Город велик, и люди в нем заняты; если пропал кто-то из виду, никто его не разыскивает.

На третий год жена стала вести себя иначе. Если я вспоминал о том человеке, не обращала на мои слова внимания, и если называл его имя рядом с ее именем, молчала и ничего мне не сказывала, словно не о ней я вел речь. Гнев разгорался во мне, и я говорил себе: до чего же дурна эта женщина, до чего же она бесчувственна.

8

Как-то летним вечером мы сидели вдвоем за ужином. Уже несколько дней не было дождя, и город буквально плавился от жары. Воды Дуная обрели зеленоватый оттенок, и удушливый запах растекался по улицам. От стеклянных окон нашей веранды исходил сухой жар, томивший тело и душу. Я еще со вчерашнего дня ощущал боль в плечах, а сегодня она усилилась. Тяжесть в голове и сухость кожи под волосами довершали дело. Я провел рукой по волосам и подумал: пора стричься. Глянул на жену и заметил, что она отращивает волосы, хотя с тех пор, как женщины взяли в обычай носить мужскую стрижку, она стриглась коротко. Я сказал себе: для моей головы и короткие волосы невыносимы, а эта отращивает волосы, что твой павлин, и даже не спросит меня, идет ли ей. Правду сказать, длинные волосы украшали Дину, а вот мое поведение красивым не назовешь. Я отодвинулся от стола, как если б он сдавливал мне живот, отщипнул хлеба из середины буханки и принялся жевать. Уже несколько дней я не напоминал ей о том человеке, и излишне говорить, что и она его не поминала. В то время я с ней почти не разговаривал, а если разговаривал, то без раздражения.

Неожиданно я сказал: «Вот что я подумал».

Она кивнула и сказала: «Да, да, я так и знала». Я сказал ей: «Неужто ты знаешь, что скрыто в тайниках моей души? Если так, поведай мне».

И она прошептала: «Развод».

Говоря так, подняла ко мне лицо и с грустью на меня посмотрела. Сердце во мне оборвалось, и не стало духу. Я сказал себе: стыдись, убогий; как ты ведешь себя с женой, зачем ты ее огорчаешь. А вслух спросил негромко: «Откуда ты знаешь, что у меня на сердце?»

Она ответила: «А чем же я занята все эти дни? Да ведь я сижу и о тебе размышляю, друг мой».

«Так ты согласна?»

Подняла на меня взор и сказала: «Насчет развода?»

Я потупил взгляд и кивнул.

Она сказала: «Хочу я этого или не хочу, я буду рада сделать все, что ни попросишь, лишь бы облегчить твои муки».

«Даже ценой развода?»

«Даже ценой развода».

Знал я, какое сокровище теряю. Но слово было сказано, а желание сдержать гнев помutilо мой рассудок, и я не мог рассуждать здраво. Всплеснул руками и сказал со злобой: «Ну вот и прекрасно».

Прошло несколько дней. Я не поминал перед нею ни о разводе, ни о том, кто навлек на нас беду. Я говорил себе: три года прошло с тех пор, как она вышла за меня замуж, может, пора уже вырвать из сердца ту историю. А если б я взял ее вдовой или разведенной,

разве подвергнул бы нареканиям? Вот и тут надо считать, что я женился вроде как на вдове или на разведенной.

И коль скоро я пришел к такому суждению, принялся терзать себя за каждый день причиненных ей огорчений и решил непременно обращаться с ней по-доброму. Я тогда совсем другим человеком сделался и почувствовал, как во мне пробуждается та же любовь, что в начале нашего знакомства. Я уже полагал было, что все совершается по желанию человека и по его воле: захочет он – впускает к себе в сердце гнев, враждебность и ревность, а захочет – живет со всеми в мире. Если так, зачем мы сердимся и сами себе зло причиняем, мы ведь можем творить добро и жить в радости. Но тут случилось то, из-за чего все опять повелось по-прежнему.

9

Что же произошло? Однажды привезли в больницу нового пациента. Я его осмотрел и передал сестрам, чтобы выкупали и уложили в постель. К вечеру пошел проверить больных. Дошел до его кровати и увидел на изголовье листок с указанием имени. Так я узнал, кто он.

Что поделать? Я врач, и я лечил его. Даже, если хотите, чрезмерно усердствовал, так что другие больные стали ему завидовать и прозвали его «пациент нашего доктора». Это прозвище ему и в самом деле пристало, ведь я возился с ним при всякой необходимости и даже когда не было никакой в том надобности. А сестрам я говорил, что обнаружил у него редкое заболевание и хочу эту болезнь исследовать, велел им отменно его кормить и порой добавлял к его рациону стакан вина, чтобы пребывание в больнице ему нравилось. И еще попросил сестер не пенять ему, если позволит себе кое-какие вольности против заведенного у нас распорядка.

Так он лежит в больнице, ест, пьет и живет в свое удовольствие. А я ежедневно его осматриваю и спрашиваю, хорошо ли он спал, доволен ли питанием. Прописываю ему лекарства и нахваливаю его организм, мол, такой организм создан для долголетия. А он слушает, и радуется каждому моему слову, и наслаждается жизнью, как червь после дождя. Я говорю ему: «Если вы привыкли курить, пожалуйста. Сам я не курю, и если вы меня спросите, доброе ли дело курение, я вам отвечу: плохое, поскольку сильно вредит здоровью. Но если вы привыкли курить, я вам не препятствую». И еще делаю ему всяческие побрякушки, лишь бы пребывание в больнице ему нравилось. Я же размышляю в сердце своем: вот человек, на которого я бы и слова лишнего не потратил, а я о нем пекусь, и все из-за того происшествия, которое и вспомнить трудно, и забыть нельзя. Смотрю я на него и пытаюсь понять, что привлекло его в Дине и что привлекло Дину в нем. И оттого что я столько им занимался, усвоил себе некоторые его жесты и движения.

Поначалу я обо всем этом жене не рассказывал, да только он будто сорвал с моих уст печать молчания и словно сам о себе поведал. Выслушала жена и никакого интереса не выказала. Вроде бы мне это только на руку, но я остался недоволен, хоть и знал: поведи она себя иначе, я бы точно разгневался.

Прошли дни, он выздоровел, и настала пора выписывать его из больницы. Я же задержал его еще на день, и еще, и снова настав-

лял сестер, чтобы обращались с ним по-доброму и не торопили с выпиской. А дело было после войны, и содержать больных было нелегко, тем более выздоравливающих, тем более здоровых, так что я отдавал ему то, что мне приносили крестьяне. Он же сидел, ел, пил и благоденствовал, читал газеты и разгуливал по парку, играл с больными в разные игры и перебрасывался шутками с сестрами. Даже прибавил в весе и сделался здоровее тех, кто за ним ухаживал, так что задерживать его дольше в больнице стало никак нельзя. Я велел устроить ему на прощанье достойную трапезу и подготовил к выписке.

После трапезы он зашел проститься. Я увидел жирную складку, свисавшую у него с подбородка, и заплывшие жиром глаза, как у женщины, которая пренебрегла всем ради удовольствия есть и пить вволю. Я стоял за своим столом и начал перебирать бумаги, будто ищу что-то. Затем взял маленькую трубочку и стал ее рассматривать. Пока я пытался произвести впечатление занятого человека, вошли две сестры, одна, чтобы что-то спросить, другая – попрощаться с любимцем доктора. Я вдруг поднял голову, словно вспомнил, что меня ждут, и издал звук изумления, как, бывало, делала Дина, когда видела, что ее дожидаются. Я смотрел на выздоровевшего, на жирную складку под подбородком и думал: «Ты вот не знаешь, кто я, а я знаю, кто ты. Ты тот, кто погубил меня и отнял жизнь у моей жены». Гнев загорался во мне, и от сильного негодования появилась резь в глазах.

А он протянул мне руку с особым смирением и стал бормотать слова благодарности за то, что я избавил его от смерти и вернул к жизни. Я протянул ему кончики пальцев, небрежно и надменно, и тут же обтер их полою халата, словно прикоснулся к дохлому гаду, и отворотился от него, как от чего-то мерзкого, и вышел. Я чувствовал на себе взгляды сестер и сознавал странность своего поведения, ведь никакой причины подозревать его в чем-либо у меня не было.

Я приступил к работе, но голова и сердце мои были далеко. Поднялся я в комнату врачей и попросил коллегу заменить меня. Сказал ему, что вызван в суд давать показания по делу одного преступника и отложить это никак невозможно. Пришла сестра и спросила, не заказать ли мне такси. Я ответил: «Конечно, сестра, конечно». Пока она ходила в комнату с телефоном, я ушел из больницы, как если бы вовсе лишился рассудка.

По пути мне попалась распивочная, и я решил зайти выпить, чтобы утопить свое лихо в вине, как говорят удрученные люди. Рассудок мой слегка успокоился, и я сказал себе: беды приходят и уходят, и эта моя беда тоже уйдет. Однако мой рассудок успокоился ненадолго и лишь для того, чтобы возмутиться с новой силою. Я решил прогуляться. По прошествии часа и еще двух часов остановился и понял, что ходил кругами, да так никуда и не пришел.

Я вернулся домой и обо всем рассказал жене. Она выслушала и ничего не ответила. Сердце мое преисполнилось гневом, оттого что она сидит себе и молчит, словно нет в это ничего особенного.

Тут я склонил голову на грудь, как делал он, и, подражая его голосу, произнес: «Благодарю вас, господин доктор, за то, что вы спасли меня от смерти и вернули к жизни», и еще сказал ей, своей жене: «Такой у него голос, и так он стоит», желая выставить его в невыгодном свете. Пусть она видит, как мелок тот, кого она мне предпочла и кому отдала свою любовь прежде, чем мы с нею познакомились. Поглядела на меня жена так, словно все это не стоит ее времени и внимания. Я же продолжал вглядываться в ее лицо — а вдруг увижу признаки радости, оттого что тот никчемный вылез. Но не увидел в ней никакого признака радости, как не видел прежде ни тени огорчения при рассказе о его болезни.

По прошествии двух-трех дней острота пережитого притупилась и больше не причиняла мне боли. Я лечил больных и болтал с сестрами, а по окончании работы немедленно возвращался домой, к жене. Бывало, я просил ее почитать мне что-нибудь из ее книг, и она соглашалась и читала. Она читает, а я сижу, гляжу на нее и говорю себе: вот то лицо, при виде которого у людей разглаживаются морщины и исчезают раздражение и гнев. Довольный, я провожу рукой по своему лицу и снова смотрю на нее. А бывало, мы приглашали какого-нибудь приятеля на чашечку кофе или на ужин. И снова беседовали обо всем, о чем принято беседовать, и я снова убеждался в том, что есть в мире еще что-то, кроме неприятностей с женщинами. И часто укладывался в постель с умиротворенным рассудком и в добром расположении духа.

Однажды ночью во сне явился ко мне тот человек, и лицо его показалось мне несколько болезненным и — приятным. Я устыдился своих недобрых мыслей и решил более на него не сердиться. Он склонился передо мною и сказал: «Чего вы от меня хотите? Или из-за того, что вы принудили меня, вы мне зла желаете?»

Вечером следующего дня мы принимали двух знакомых, мужа и жену, которые нам обоим нравились. Он — в силу своих добрых качеств, а она — из-за голубых сияющих глаз и высокого лба, который вводил вас в заблуждение, заставляя думать, что за ним кроется великая мудрость, и из-за золотых кудряшек, подпрыгивавших на ее хорошенькой головке, и из-за ее голоса — голоса женщины, обуздывающей свои желания. Около трех часов провели мы вместе и не заметили, как прошло время. Он рассказывал о последних событиях, а она помогала ему сиянием своих глаз.

Когда гости ушли, я сказал жене: «Расскажу тебе сон».

«Сон?» — в изумлении воскликнула жена и печально на меня посмотрела, и еще раз повторила шепотом: «Сон...», потому что не в моем обычае было рассказывать сны, и, как кажется, за все те годы я вообще ни разу снов не видел.

Я сказал ей: «Я видел сон», — и едва вымолвил это, как внезапный страх напал на меня.

Жена сидела, устремив на меня глаза, я же стоял и рассказывал ей свой сон. Плечи ее вздрогнули, тело задрожало мелкой дрожью. Протянула она ко мне руки, обхватила меня за шею и прижала к себе. И я тоже прижал ее к себе. Так мы стояли обнявшись, в любви и сострадании, и все то время этот человек стоял у меня перед глазами, и я слышал, как он говорит: «Или из-за того, что вы принудили меня, вы мне зла желаете?»

Я оторвал от себя руки жены, и великая печаль наполнила мне сердце. Я лег в постель и стал думать обо всем спокойно, без раздражения, пока не задремал и не погрузился в сон.

Наутро мы встали с постели и вместе позавтракали. Поглядел я на жену и увидел, что лицо ее не изменилось. В душе я поблагодарил ее, что не попрекнула меня за вчерашнее. Вспомнились мне все горести и страдания, на которые я обрек ее после нашей женитьбы, ведь дня не было, чтобы я не портил ей кровь, не обижал и не оскорблял бы ее, а она безропотно все сносила. Сердце мое преисполнилось любовью и жалостью к этой несчастной, так мною терзаемой, я решил положить конец ее мучениям и окружить жену только добром. И следовал своему решению один день, и другой, и третий.

11

Я уже стал думать, что все наладилось. Но на самом деле ничего не наладилось. С того дня, как я помирился со своей душой, угроза миру пришла из другого места. Жена вела себя со мною так, будто я для нее посторонний, а ведь все мои усилия и старания были ради ее же пользы. «До чего бесчувственная женщина!» – говорил я себе. Однако она все чувствовала.

Однажды сказала мне: «Лучше бы я умерла».

«Почему?»

«Почему? – ты спрашиваешь». И в морщинках у ее губ мелькнуло что-то вроде усмешки. Сердце мое упало.

Я прикрикнул: «Не будь дурочкой!»

Вздыхнула и сказала: «Ах, друг мой, я-то не дурочка».

«Выходит, это я простофиля».

«Да и ты не простак».

Я повысил голос и спросил: «Коли так, чего же ты хочешь?»

Она ответила: «Чего я хочу? Того же, чего и ты хочешь».

Я развел руками: «Да ничего я не хочу».

Устремила она на меня взор и сказала: «Если ты ничего не хочешь, значит, все в порядке».

«В порядке?» – засмеялся я высокомерно и презрительно.

Она сказала: «Знаешь, друг мой, не нравится мне этот смех».

«Коли так, что же мне делать?»

«Делай то, что собирался делать».

«То есть?»

«То есть... зачем повторять то, что тебе и так известно».

Я сказал ей: «Не знаю, что ты имеешь в виду. Но ты, поскольку знаешь, скажи мне».

Она прошептала: «Развод».

Я возвысил голос: «Значит, ты принуждаешь меня дать тебе развод».

Покачала она головой и сказала: «Если ты полагаешь, что для тебя будет лучше считать, будто я принудила тебя к разводу, я согласна».

Я спросил: «То есть?»

Она сказала: «Зачем напрасно повторять одно и то же. Сделаем то, что предначертано нам свыше».

Я рассердился и сказал с издевкой: «Пред тобою даже Небеса как открытая книга, и ты знаешь, что там написано. Я врач, для меня существует только то, что открыто глазу, но вам, сударыня, ведомо то, что начертано на небесном своде. И кто ж научил вас этой науке, уж не тот ли мерзавец?»

Дина сказала: «Замолчи, прошу тебя, замолчи».

Я сказал ей: «Не стоит тебе так волноваться. И что я такого сказал?»

Но она встала, вышла в другую комнату и заперла дверь на ключ.

Я подошел к двери и попросил открыть, но она не открыла. Я сказал: «Вот, я уйду, и весь дом в твоём распоряжении. Нет нужды запираяться». Когда она не ответила, я испугался, а вдруг она примет снотворное и покончит с собою... Я стал её молить и упрасивать, чтобы открыла, но она не открыла. Я заглянул в замочную скважину, а сердце мое стучало в груди сильно-сильно, словно убивало кого-то. Так я стоял перед запертой дверью, пока не иссяк день и стены не подернулись мраком.

Когда стемнело, она вышла из комнаты. Бледнее мертвеца была. Я взял её руки в свои, и их мертвенный холод морозом ожег мне пальцы. Она не отняла рук, словно они потеряли чувствительность.

Я уложил её в постель и успокоил её сердце каплями, а потом не отходил от неё, пока она не уснула. Я смотрел на безупречные черты её лица и говорил себе: «Как прекрасен мир, в котором пребывает эта женщина, и до чего трудна выпавшая на нашу долю жизнь. Я склонился, чтобы поцеловать её, но она покачала головой: нет. Я спросил: «Ты что-то сказала?» Она ответила: «Нет». И я не знал, почувствовала ли она, что я рядом, или во сне сказала. Не знал, как быть, и больше к ней не приближался. Но всю ночь просидел у её постели.

Назавтра я пошел на работу и вернулся к полудню. По мудрости ли, нет ли, но я ничем не поминал вчерашнего. И она тоже не вспоминала. Так же было и на следующий день, и на третий. Я уже думал, что все вернулось к прежнему. И при этом знал, что если я желаю многое забыть, она ничего не забывает.

В те дни она стала выглядеть лучше и несколько изменила свои привычки. Прежде имела обыкновение встречать меня, когда я возвращался домой, а теперь не встречала. Теперь порой оставляла меня одного, и по возвращении я не заставлял её дома.

Как раз в те дни выпала годовщина нашего обручения. Я сказал ей: «Давай устроим себе праздник и поедem туда, куда мы ездили в самом начале». Она отвечала: «Это невозможно». — «Почему?» Потому что ей необходимо быть в другом месте. Я сказал: «Позволь-ка узнать, куда ты направляешься?» Она сказала: «Есть тут больная, за которой я ухаживаю». Я спросил: «Что это вдруг?» Она сказала: «Не все, что человек делает, делает вдруг. Я уже давно рассудила, что должна что-то делать, работать». Я сказал: «Разве тебе недостаточно, что я работаю?» Она отвечала: «Прежде мне этого было достаточно, а теперь недостаточно». — «Отчего это?» — «Отчего? Если ты сам не знаешь, я не могу тебе объяснить». Я сказал: «Неужели дело настолько сложно, что его и объ-

яснить нельзя». Она ответила: «Объяснить нетрудно, да сомневаюсь я, что ты захочешь понять». – «Почему это?» – «Потому что я хочу зарабатывать на жизнь». Я спросил: «Неужели тебе не хватает на жизнь дома, что ты ищешь заработка на стороне?» Она сказала: «Сегодня у меня есть на что жить, но кто знает, что будет завтра». Я спросил: «Что это вдруг?» Она отвечала: «Я уже говорила тебе, что не все, что человек делает, делает вдруг». Я сказал: «Не понимаю я, о чем ты говоришь». Она отвечала: «Ты-то понимаешь, но предпочитаешь говорить: не понимаю». Я покачал головой в отчаянии и сказал: «Пусть будет так». Она сказала: «Это и в самом деле так». Я заметил: «Не силен я в диалектике». Она ответила: «Ты не силен, да и я не слишком, оттого лучше нам помолчать. Ты занимайся своим делом, а я буду заниматься своим». Я сказал: «Что мне делать, я знаю, а вот что ты собираешься делать, мне неизвестно». Она отвечала: «Если не знаешь сегодня, узнаешь завтра».

Однако успеха в делах она не добилась. А если и добилась, то ни гроша не заработала. Она ухаживала за одной парализованной девушкой, дочерью бедной вдовы, и плату за свою работу не получала, более того, сама помогала ей деньгами и приносила цветы. В те дни силы Дины были на исходе, как у больной, ей самой помощь требовалась, не то что других обслуживать. Однажды я спросил ее: «Доколе ты еще собираешься ухаживать за своей больной?» Посмотрела на меня и сказала: «Это ты меня как врач спрашиваешь?» Я ответил: «Какая разница, как врач или как твой муж?» Она сказала: «Если как врач, я не знаю, что тебе ответить, а если из других соображений ты спрашиваешь, не вижу необходимости отвечать». Я притворился, будто она пошутила, и засмеялся. Отвернувшись от меня и, оставив одного, ушла. В тот же миг смеха моего как не бывало, и больше я не смеялся.

Я сказал себе: это все от настроения, пройдет, и при этом знал, что все мои надежды напрасны. Вспомнил, что прежде говорил с ней о разводе, и еще вспомнил, как она сказала: хочу я этого или не хочу, я буду рада сделать все, что ни попросишь, лишь бы облегчить твои муки, даже ценой развода. И вот я сказал себе: ничего не поделаешь, единственное, что нам остается, это развод. Едва закралась эта мысль мне в сердце, я стал о ней размышлять, как размышляет человек над трудной задачей. Но Дина была права, нам следует делать то, что предначертано свыше. Не прошло и нескольких дней, как я воочию увидел и понял разумом то, чего не видел и не понимал прежде. Не откладывая, посоветовался со своим сердцем и решил отпустить Дину. Детей у нас не было, я боялся заводить детей: как бы они не оказались похожими на того человека. Выполнив все формальности, я дал ей разводное письмо.

Так мы и расстались. Но расстались лишь внешне, потому что в душе моей, дружище, поныне хранится память об ее улыбке и о той бездонной синеве ее очей, что поразила меня при первой встрече. Порой по ночам я приподнимаюсь на кровати, как, бывало, больные, за которыми она ухаживала, протягиваю вперед руки и зову: «Сестрица, сестрица, поди ко мне!»

Перевела с иврита Зоя Копельман

Зоя Копельман

ЕСТЬ МЕСТО ОПТИМИЗМУ

*От великой мудрости много гнева,
и умножающий знание умножает боль.*

Козлет [Екклесиаст], 1:18

Новелла Агнона «Врач и изгнанная им жена» была опубликована в сборнике «Ба-кур» («В горниле») в апреле 1941 года. Инициатива издания принадлежала поклоннику писателя – Берлу Кацнельсону, который и пригласил его поучаствовать в этом «современном альманахе».

Время было тревожное: Гитлер уже оккупировал Польшу и страны Северной Европы и принудил к капитуляции Францию. А в Палестине война началась 9 сентября 1940 года, когда налеты итальянских бомбардировщиков на Тель-Авив стали причиной более ста человеческих жертв. В это чреватое бедой время Аггон пишет рассказ о маниакальной ревности и неудачном браке. Он дает в сборник на актуальные темы произведение, действие которого происходит в Вене на рубеже 20–30-х годов. Можно предположить, что новелла написана раньше, но упоминание издевательств нацистского офицера над евреем, профессором медицины, связывает ее с событиями, синхронными публикации. Зачем?

Непонятный зигзаг сюжета в годы нацизма и еще некоторые нарушения логики повествования у Агнона всегда служат сигналом: ищи иные пласты смысла. Я попробую наметить одну тему, которая связана с еврейской мистикой и никак не соперничает с психологическим прочтением новеллы, напомнившей мне «Крейцерову сонату» и новеллы Стефана Цвейга. Однако произведение «Врач и изгнанная им жена» можно прочесть и как символическую аллгорию, поскольку такое смешение жанров – зыбкого символа и внятного иносказания – одна из характернейших черт агноновской прозы.

В неоконченной «Книге о цели происходящего» Аггон писал: «Как понять: *истории, которые сам же и выдумал?* Как человек выдумывает вещи? Ведь сказано в Торе: “От речей лживых держись подальше” (Шмот [Левит], 23:7), однако мудрецы, ставившие этику во главу угла, сказали, что иной раз, желая сделать вещь умопостижимой с целью отдалить человека от греха и приблизить сердца людей к Отцу их Небесному, позволительно рассказывать вещи небывшие так, как если бы они произошли на самом деле, и так поступали наши учителя – мудрецы мидрашей, и мы находим это во многих местах, открывающихся словами: “На что такое похоже?” Правда, прежние поколения были людьми знающими, и им достаточно было притчи для примера, а ближайшие к нам поколения, чьи познания ограничены, нуждаются в историях с событиями, подобно тому как неумные вельможи и знатные дамы жаждут комедий и сказаний о сражениях»¹.

¹ *Сефер тахлит а-маасим* (Книга о цели происходящего. 1954–1955). В томе: *А-эш ве-а-эцим* (Огонь и дрова), с. 222. Здесь и далее перевод с иврита мой.

Не станем обижаться на писателя, зная, как оскудевает еврейская мудрость по мере научно-технического прогресса, но смиренно попробуем познакомиться с некоторыми положениями еврейской традиции, полезными для понимания «истории с событиями».

Еврейская мистика утверждает подобие между нашим физическим миром и высшими мирами. В каббалистических книгах язык описания мистических процессов зачастую тождествен речевым формулам нашей повседневности, причем не как метафоры, а как непосредственное выражение их сути и сущности. Эта словесная зеркальность метит взаимосвязь разных по природе и иерархии пространств. Верующий еврей знает, например, что молитва, а также всевозможные благословения генерируют импульсы в сокрытые от нас сферы обитания душ, ангелов и Божественных качеств и воздействуют на них. Это взаимовлияние представлено в книге «Зоар» жестко и неоспоримо: «Всякий грех, что совершен в открытую, вытесняет Шехину с земли и изгоняет Шехину из этого мира. Отсюда: те, что шествовали с гордо поднятой головой и теснили Шехину из этого мира, [делали так], пока Пресвятой, благословен Он, не вытеснил их и не прогнал их от Себя» (Зоар, раздел Берешит, лист 57б. С. 33²).

Шехиной называется та ипостась Бога, которая открывается людям в земном мире и которую принято называть Божественным Присутствием. Еврейская мистика утверждает женственную сущность Шехины (нижняя из десяти сфирот) и зависимость ее состояния, то есть ее мощи, а также степени близости к мужскому началу Бога от поступков людей, особенно евреев, от которых требуется верность Завету и заповедям (одновременно Шехина — это еще и совокупность всех еврейских душ). Гармония в дольном мире, т. е. состояние, когда почти все евреи исполняют заповеди Торы, свидетельствует о счастливых супружеских отношениях Шехины с Богом в Его мужской ипостаси и одновременно о счастливых супружеских отношениях Бога с Его народом, Израилем. Именно об этих двух мистических браках толкует каббала. «Сифра децинута», одна из наиболее священных, как принято считать, частей книги «Зоар», утверждает, что существование нашего мира зависит от гармонии между женскими и мужскими составляющими мироздания, между мужчиной и женщиной. Когда люди придут к истинной гармонии между двумя сторонами, когда мужья с женами будут жить в любви и согласии, мир достигнет исправления (на иврите — *тикун*), и напротив, дисгармония и разлад между супругами ведут к разрушению отношений между Шехиной и народом Израиля, между Шехиной и Богом, что ведет к страшным разрушениям, вплоть до возврата мира к первоначальному хаосу.

Теперь представим себе Агнона: в годы юности он отошел от религиозного образа жизни, а затем, прожив на Святой Земле с 1908 по 1913 год, вернулся в Европу, то есть совершил, как он понял это позже, два акта отступничества. Далее, как он считал, последовало нака-

² Здесь и далее я пользуюсь ивритским переводом книги «Зоар» и даю ссылку на страницы издания: *А-Зоар, агадот у-маасим* (Зоар, предания и истории). Едиот Ахронот, 2008. В отличие от меня, Аггон читал «Зоар» в подлиннике, в молодости мечтал перевести на иврит, а потом всю жизнь изучал и делал выписки, вставляя в свои антологические сочинения, и тома книги «Зоар», с многочисленными закладками писателя, по-прежнему стоят в его доме, ныне музее.

знание: в 1924 году его уникальная библиотека еврейских книг и собственные подготовленные к печати сочинения, в том числе роман в 600 страниц, о выходе которого уже было объявлено, сгорели. (Близко знавший его Гершом Шолем утверждал, что Агнон так и не оправился от этого несчастья.) Агнон совершает *тишув* – возвращается к исполнению заповедей и в Иерусалим. Но как соотносится жизнь евреев в Эрец-Исраэль с Заветом? И в какой степени Палестина является Святой Землей Обетованной? Эти ключевые для его творчества вопросы ищут ответа, начиная с первого на иврите рассказа «Разлученные» («Агунот»). Показательно воспоминание профессора Иешаяу Лейбовича: «Я встретил Агнона на улице, он остановил меня и спросил буквально так: “Шайе, скажи мне, Шайе, что смогло сокрушить ту могучую силу, какой веками обладала Тора в народе Израйля?”»³

Однако не все безнадежно. В иудаизме всяко подчеркивается, что праведность отдельных людей может спасти от справедливой Божьей кары большие людские группы, а также природу и населяющих ее живых тварей. Хрестоматийным примером тому служит диалог Авраама с Богом о судьбе Содома и Гоморы, которые уцелели бы, найдись там хотя бы десять праведных (Берешит [Бытие], 18:23–32). Другой пример – вера в то, что мир существует благодаря живущим в каждом поколении 36 скрытым праведникам – *ламед-вавникам* (сочетание букв *ламед-вав* в численном выражении равно 36), о чем впервые, как кажется, говорит Талмуд: «Сказал Абайе: в мире не меньше тридцати шести праведников, которые привечают Шехину в каждом поколении, как сказано (Исайя, 30:18): [*И потому Господь медлит дать вам помилование, и потому Он слишком высок, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог справедливый*], блаженны все надеющиеся на Него» (Санедрин, 97б). Гематрия слова «Него» [на иврите – *לו*, то есть *ламед-вав*] – 36. Исследователь мистики Гершом Шолем в статье «О 36 сокрытых праведниках» писал: «Вряд ли Абайе вывел подобное толкование исключительно из стиха из Исайи. Разумно предположить, что этими словами он привязал к Писанию идею, известную ему из других источников», – читай, каббалистических. Так или иначе, нам важна сама идея: подавляющее большинство людей своим поведением заслуживают кары, а не помилования, однако присутствие среди них праведников искупает их провинности и отвращает кару, поскольку эти праведники «привечают Шехину».

В свете мистических воззрений новелла о распавшемся браке «Врач и изгнанная им жена» не предвещает миру ничего хорошего. Ведь за партикулярной семейной историей стоят персоны иного масштаба. Если прибегнуть к аллегории и символике с целью прояснить мистический смысл рассказа, необходимо для начала представить за образом врача – Творца, а за образом его жены Дины – еврейский народ в целом, который для поддержания гендерной наглядности традиция зовет женским именем *Кнесет Исраэль*, то есть «Община Израйля». Легкомыслие Дины, имевшей кратковременную близость с «другим», должно в рамках этого прочтения означать отход от восходящей к Синаю

³ И. Лейбович. *Сихот аль асара прахим ле-Рамбам* (Беседы о восьми главах из Рамбама). Иерусалим, 1986, с. 13–14.

культуры «ярма заповедей» и увлечение культурой и идеями других народов. Это явление со всей очевидностью разложило еврейский традиционный мир еще в начале XX века, о чем замечательно сказал Хаим Нахман Бялик в стихотворении, названном им «Левади» (1902), что означает и «я один», и «я одна». Поэт сыграл на амбивалентности слова, поскольку в первых строфах «я один» говорит о себе лирический герой, а в заключительных – Шехина. Переводчик Жаботинский не нашел ничего лучше, как назвать стихотворение «Последний», что сделало главным персонажем автобиографического для Бялика завсегда-тая бейт-мидраша, или «Божьего дома», тогда как поэта-мистика (Бялик был из хасидского рода) больше волновала судьба Шехины:

*Всех их ветер умчал к свету, солнцу, теплу,
Песня жизни взманила, нова, незнакома.
Я остался один, позабывший в углу
Опустелого Божьего дома.*

*И мне чудилась дрожь чьих-то крыл в тишине,
Трепет раненых крыл позабытой Шехины,
И я знал: то трепещет Она обо мне,
О последнем, единственном сыне...*

*Всюду изгнана, нет Ей угла на земле,
Кроме старой и тёмной молитвенной школы, –
И забила сюда, и делил я во мгле
С Ней приют невесёлый.*

*И когда, истомив над строками глаза,
Я тянулся к окошку, на свет из темницы,
Она никла ко мне, и катилась слеза
На святые страницы.*

*Тихо плакала, тихо ласкалась ко мне,
Словно пряча крылом от какого-то рока:
«Всех их ветер унёс, все в иной стороне,
Я одна... одинока...»*

*И в беззвучном рыданьи, в упрёке без слов,
В этой жгучей слезе от незримого взора
Был последний аккорд скорбной песни веков,
И мольба о пощаде, и страх приговора...*

Бессильная, оттого что лишилась набожных евреев, одинокая Шехина с перебитым крылом появляется и в знаменитом «Сказании о погроме» Бялика, где Она жалуется на неспособность защитить народ от злодеев. Агнону был близок и понятен этот образ, и мысль о творящихся в Европе ужасах диктовала ему историю о любви и браке врача и медсестры из венской больницы.

В приведенном стихотворении Бялик пользуется словом *нитгарша* («изгнана», 3-я строфа), а рассказ Агнона называется на иврите «*А-рофэ ве-грушати*» («Врач и изгнанная им жена»), поскольку развод – на иврите *герушин* – понимается как изгнание (*геруш*) жены (напомню, что изгнание евреев из Испании зовется *геруш Сфарад*). Уместно вспомнить, что в молитве Бога называют «врачом больных», и ревность врача в рассказе указывает на самоопределение Всевышнего, данное Им в заповеди, запрещающей идолопоклонство: «...не покло-

няйся им и не служи им, ибо Я – Господь, Бог твой, Бог-ревнитель...» (Шмот, 20:5). Идолом может стать разное, не обязательно истукан, но и коммунизм, и права человека, и служение профессии, и жажда наживы.

При издании восьмитомного собрания своих сочинений Агнон поместил новеллу «Врач и изгнанная им жена» в самый конец третьего тома, где собрал короткие произведения о любви. Он назвал этот том – «На ручке замка» (*Аль капот а-мангуль*) – цитатой из Песни Песней (5:5): «А руки мои сочются миром, пальцы мои – миро, стекающее на ручку замка». Но если заглянуть в аллегорическое толкование Песни Песней⁴, написанное во II веке н. э. на арамейском языке и называемое Таргум, то цитированный библейский стих звучит там так: «И когда возобладала надо мною мера Суда, и я [еврейский народ] стал размышлять о поступках своих, а козны принесли жертву и воскурили курение, то не были приняты благосклонно, ибо Владыка мира замкнул передо мной Врата раскаяния [*тишув*]]». Как видим, почти ни одного общего слова нет между этим мистическим прочтением и любовной историей пастушки Шуламит. Эротический библейский стих, понятый нашими мудрецами как аллегория, заговорил о грозном Боге, Который вершит суд над Своим провинившимся народом. И чудесную терпеливую медсестру Агнон назвал Дина, как и героиню с незадавшимся браком в помянутом уже рассказе «Разлученные». Но в нашей новелле это не только намек на дочь праотца Якова и ее печальную женскую судьбу, это и напоминание о Божьем суде (ведь «суд» на иврите – *дин*).

И еще один важный аспект новеллы: в ней с навязчивой частотой, к месту и как бы не к месту, появляется глагол *ладаат* (знать) и фразеологизмы с ним и однокоренным существительным *даат* (знание).⁵ В переводе, сколько ни старайся, эта повторяемость одного и того же слова затушевывается близкими по значению или даже совсем далекими словами и выражениями, например: *эсиха даата мимэну* – думать о нем забыла, *игасти эт даати* – я дерзнул, *эзвир ати аль даати* – сводила меня с ума, *калут даат* – легкомыслие. А на иврите пунктир однокоренных слов заставляет задуматься об их роли в произведении.

В эпоху Просвещения именно научное и философское знание пошатнуло устои веры. Но вскоре утопические социальные теории и научные

⁴ Песнь Песней, которую рабби Акива назвал «святая святых» Писания, не поддается логически связному пересказу, однако традиция рассматривает ее как единое осмысленное произведение, тоже прибегая к совмещению аллегории и символа.

⁵ Любое педалируемое Агноном слово требует исследования, как, например, «волосы» в 8-й главе: вопрос о длинных и коротких волосах отсылает к давнему разногласию мудрецов (Талмуд и мидраши) о том, какие волосы подобают назорею и какие волосы – длинные или стриженные – свидетельствуют о победе человека над *йецер а-ра*, внутренним «злым началом» (о повторах у Агнона см. мою статью: Загадка четырех вопросов (Стиль Агнона и муки переводчика) // Лехаим, № 2 (февраль) 2011).

В прозе Агнона имеют значение любые детали, даже число глав. Рассказ «Платок», главное событие которого происходит в день бар-мицвы героя, содержит 13 глав. Рассказ «Прах Земли Израилевой», где повествование касается пяти из десяти заповедей, называемых *бейн адам ле-хаверо*, то есть «между человеком и человеком», содержит 5 глав. А рассказы о дисгармонии в браке «Сказание о переписчике Торы» и «Врач и изгнанная им жена» имеют по 11 глав каждый, поскольку число 11 неустойчивое, больше десяти и меньше двенадцати.

поиски эликсира молодости оказались несостоятельными перед средствами массового уничтожения Первой мировой войны. Однако писатели и мыслители задумались над «культом рационального знания» еще раньше. В кратком мемуаре об Александре Блоке М. Горький дает целый список скептических высказываний русских писателей XIX–XX веков и европейцев более давней поры о разуме и формальном знании, в частности, такие: «У Л. Толстого в “Дневнике юности” 1851 г. 4. V. сурово сказано: “Сознание – величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека”». Так же говорит Достоевский: “...слишком сознать – это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание – болезнь. Я стою на этом”». Покончив с выписками, Горький цитирует сказанные ему слова Блока: «...дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют только Бог и я. Человечество? Но – разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн?» Агнону вряд ли были знакомы эти мысли, но он не раз писал о губительной для человека пытливости⁶ и о том, что образованность калечит душу и мешает счастью. Почти все его персонажи из академического мира в той или иной степени карикатурны либо ущербны и несчастны. А реальный ученый и библиофил Гершом Шолем, знания которого были огромны, вера минимальной, а от соблюдения кашрута и прочих требований иудаизма он сознательно отказался по приезде в Эрец-Исраэль в 1923 году, не переставал изумлять Агнона: «Что привело его к исследованию каббалы?.. Может, хотел подбодрить дисциплину-сиротку? И все равно непонятно. Как он ее нашел и где он ее нашел? Нет другой дисциплины в еврейской науке, что была бы столь сокровенна, как каббала, и хотя она – неотъемлемая сущность многих жизненных проявлений, в традиции и обычаях, в вере и молитве, исследователи не занимались ею всерьез»⁷.

В святом иврите слово *даат* имеет два значения: умозрительное знание и душевно-телесное слияние, как «Адам познал Еву, жену свою» (Берешит, 4:1) или как мистическое «познать – прилепиться к Богу». А иные добавляют: и осознание. Не осмысление, а именно осознание, мыслительный процесс, соприкасающийся с эмоциями, когда сопоставляешь себя и реальность с тем, что постиг теоретически. Теоретические знания евреи веками черпали из Торы, где не раз повторено: будешь исполнять заповеди, будешь жить припеваючи, не будешь – не миновать тебе жуткой смерти (см. Дварим [Второзаконие], гл. 30 и др.). Казалось бы, знание должно привести еврея к религиозному благочестию, но у многих этого не случилось.

А число 49 (в новелле 49 слов с корнем *даат* на почти 6000 слов в целом) истолковано в Талмуде так: «Пятьдесят порций разума были сотворены в мире, и все, за вычетом одной, были отданы Моше, как сказано (Псалмы, 8:6): “И лишь немного Ты умалил его перед ангелами”, и о том же написано (Притчи, 2:4): “Как сокровище [на иврите – *матмоним*], станешь искать ее [мудрость]”. Не читай *матмо*

⁶ См. «Сказку о козе».

⁷ Ш. Й. Агнон. Гершом Шолем, вот что я сказал о нем на собрании ученых в библиотеке Шокена в Иерусалиме по случаю его 60-летия // а-Арец. 27.12.1957.

ним, а читай *мем-тет моним*, то есть 49 мер» (Рош а-Шана, 21б)⁸. Из этого талмудического фрагмента сделаю несколько выводов. Во-первых, Моше был выдающимся интеллектуалом, однако в его вере и религиозности сомневаться не приходится. Во-вторых, число 49 наши мудрецы связали с интеллектом и способностью к анализу. И третье, Талмуд говорит о разумении (*бина*), Книга Притч – о мудрости (*хохма*), а Агнон – о познании (*даат*), но Агнон любил играть словами и даже переиначивал канонические тексты⁹.

Герой новеллы Агнона – образованный человек, хороший врач, он даже знает латинские и немецкие названия цветов и, что важнее, умеет рассудить, что морально, а что – нет. Но эти знания не удержали его в рамках морали и не помогли создать союз с любимой женщиной. Тут уместно вспомнить о гематрии. Агнон всегда интересовался ею и часто пользовался в переписке, датируя письма библейскими цитатами, в которых сумма численных значений всех букв равнялась дате. Новелла о крахе брачных отношений, написанная в годину тотального истребления евреев, вызывает к прочтению на религиозно-национальном уровне. Гематрия слова «любовь» на иврите равна 13, гематрия слова «Один (Един)» равна 13, а гематрия тетраграмматона (Господь) – 26. И в Торе оба слова стоят рядом, и мы повторяем их в формуле Шма: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь *Един*; и *люби* Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими». Любовь и мысль о Едином дают человеку способность любить ближнего и жену и позволяют Всевышнему любить нас, не отступая от Своих принципов.

В начале 1941 года Агнон еще не знал, как станут развиваться исторические события. А наша традиция, сколько бы ни уподобляла союз евреев с Богом браку, всегда оговаривается: вот только развод между ними невозможен. Шехина у Бялика льнет к юноше и говорит: «Я одна, одинока». А врач у Агнона протягивает вперед руки и зовет: «Сестрица, сестрица, поди ко мне!» Как мы помним, и в Песни Песней возлюбленный называет девушку «сестрой». Агнон заканчивает свое трагическое повествование надеждой: Всевышний зовет евреев, призывает их вернуться.

Наша мистика любит всматриваться в ивритские корни, переставляя в них согласные в поисках смысловых связей и соответствий. Попробую и я. Семантика «изгнания» – последовательность букв «гimmel-реш-шин», переставим их и получим: *регеш* – чувство (горя, сожаления, раскаяния, любви), переставим еще раз: *шигер* – послал, и снова: *гешер* – перекинул мостик, соединил. Как ни крути, есть место оптимизму, все зависит от нас.

⁸ Спасибо Исроэлю Баренбауму за подсказку.

⁹ В одном из рассказов он переписал строку из псалма на свой лад, и благочестивый редактор исправил эту строку как ошибку в моем переводе. А Г. Шолем в своем очерке об Агноне писал: «С присущим ему юмором Агнон включил в [антологию] “Грозные дни” несколько чрезвычайно изобретательных (и изобретенных) отрывков, сорванных в его собственном вертограде, в несуществующей книге “*Коль доди*” [“Голос возлюбленного моего” (Песнь Песней, 2:8)], невинно упомянутой в библиографии [300 книг, древних и новых] как “рукопись, в собственности автора”». (Г. Шолем. Размышления о Ш. Й. Агноне. В книге: Ш. Й. Агнон. Новеллы. Иерусалим – М.: Гешарим, 2004. С. 434.

Хануэль Бар-Йосеф

ЖВАЧКА

Это был уже третий случай, когда меня разбудили среди ночи, натянули спортивный костюм поверх пижамы, сунули мне в одну руку любимую куклу, а в другую сумку с какой-то одеждой и потащили к грузовику.

На лавках вдоль бортов и на полу сгрудились дети, было несколько матерей. Мне сказали:

– Сиди тихо, не пой, это не экскурсия.

Первый раз это случилось зимой.

Тогда грузовик доставил нас ночью в Реховот, мы попрыгали на землю возле того места, которое называется Институт Вейцмана, зашли в большой, хорошо освещенный зал.

Пожилые женщины раздали нам чай и бутерброды с жидким, красным, невкусным повидлом, потом спросили каждого, есть ли у него родные и где они живут.

После этого мы опять забрались в грузовик и поехали в Тель-Авив. Там высадились на набережной.

Море было совершенно черное, и волны казались целой флотилией белых лодок, нагруженных нелегальными репатриантами из Европы, которым никак не удастся достичь берега.

Мы шли, я и моя мама, по кромке берега, а потом свернули в улочку, на которой еще не было тротуаров, только глубокий рыхлый песок с обеих сторон мостовой.

У мамы уже не было сил тащиться дальше с чемоданом в руке и на высоких каблуках.

Когда мы добрались до дома тети Ханы на улице Жана Жореса, сделалось не так темно.

Мама надавила на электрический звонок, дядя Моше открыл дверь и спросил:

– Что случилось?

Мама сказала:

– Нас эвакуировали, эвакуируют детей до четырнадцати лет, потому что мошав оказался на линии фронта. Мы сбежали из-под артиллерийского обстрела. Когда у вас будет телефон?

Тетя Хана встала и уложила меня на тахте возле моих двоюродных братьев Авнера и Амнона.

Днем тахту можно сложить и придвинуть к стене за зеленой занавеской, под книжными полками.

Мама уехала обратно в мошав и оставила меня там на неделю, потому что в мошаве так и так нет занятий, и я научилась тогда чистить крутые яйца и играть в шашки – двоюродный брат с нескрываемой радостью обыгрывал меня, а тетя взяла нас в зоопарк.

Это то место, которое я больше всего люблю в Тель-Авиве, особенно газелей и оленят, которых можно кормить банановой шкуркой или даже листьями с кустов, растущих возле ограды.

И тут приехала мама, чтобы забрать меня домой.

В другой раз грузовик направился в Кфар-Билу, и всех детей развели по разным домам. Меня высадили возле домика, покрашенного в голубой цвет, с кустиками помидоров возле крыльца, с мальчишкой, которого звали Йоселе, и осликом во дворе.

Я жила там несколько недель, ела много сыра и творога, которые производили в этом хозяйстве, и играла с осликом.

В вечер пасхального Седера мне в косы вплели белые ленты, и я читала четыре традиционных вопроса. Все хвалили меня, но я скучала по родителям.

Вернувшись домой, я увидела, что в сосновой роще возле нашего дома стоят военные джипы, и солдаты ходят к нам принять душ. В душе валялись осколки снарядов, а во дворе я даже нашла большую гильзу, которую можно было приспособить под вазу для цветов.

Теперь это уже третий раз, и я уже не пугаюсь, потому что эвакуация проводится не среди ночи, а под утро.

Мы с мамой едем в автобусе, который везет нас в такое место, где никого нет. Это ничейное место, и никто не живет тут.

Его зовут Яффо, но можно называть его также Джебелия, здесь есть двухэтажные каменные дома со ступенями из розового мрамора, с каменными полами, похожими на цветастый ковер, и красивыми террасами, навесы над которыми поддерживают тоже каменные колонны.

Когда сидишь на такой террасе, чувствуется дуновение ветра с моря, и это бывает очень приятно. Но в квартире, где нас поселили, много грязи и мусора, и целые грудыдохлых темно коричневых тараканов с очень длинными усами. Поэтому мама все время чистит и подметает дом, и предупреждает меня, что нельзя пить воду из крана, а можно только ту, что она прокипятит.

Кипяченая вода – невкусная.

Она все время ищет у меня в голове, не завелись ли там вши, и проверяет одежду, не заползли ли туда клещи.

Я не знаю, куда эвакуировали других детей из мошава, потому что не вижу тут никого из наших знакомых, только странных детей и взрослых, которые говорят на непонятных языках. Это не идиш – идиша я не знаю, но различаю его звучание. Мама говорит, что это румынский и болгарский, а может, даже турецкий или греческий.

Недавно возле нашего дома остановился грузовик, с него прыгнули люди, которые зашли в соседние квартиры и вытащили оттуда стулья с плетеными сидениями, этажерку с красивой резьбой, свернутые в трубку большие ковры и черный рояль.

Мама объяснила, что это торговцы, и этим все сказано. «Торговец» – нехорошее слово, это как буржуй или рынок, это не для нас, это то, чем мы никогда и ни за что не будем.

Вчера мама поехала привезти «продукты», которые распределяют на рынке – что делать – на улице Левински в Тель-Авиве, и вернулась с пачкой соленого сливочного масла, жестянкой растительного масла «кокозин», картонной коробкой, полной яичного порошка, и сильно покрасневшими глазами.

С соленым маслом я познакомилась благодаря посылкам, которые мы получали из Америки. Меня напугали ее глаза, но я ни о

чем не спросила. Тогда она спросила меня, не хочу ли я пойти в зоопарк. Я очень обрадовалась, потому что зоопарк это место, которое я больше всего любила в Тель-Авиве.

В зоопарке она сразу же, возле самого входа, опустилась на скамейку у клетки с косулями и сказала, чтобы и я села. Дала мне банан.

Я очистила его от шкурки и начала есть, и тогда она спросила: «Почему ты не спрашиваешь, отчего у меня красные глаза?» Тогда я спросила, и она сказала, что мой старший брат, который сейчас в «Пальмахе», ранен.

Я спросила, когда он поправится, и мама сказала, что он никогда не поправится, потому что он скончался от ран.

Я не поверила ей, подумала, что она просто так хочет позлить меня. Потом подумала, что, может быть, это правда, и ужасно рассердилась на нее – почему она ничего не сделала для того чтобы этого не случилось!

И весь зоопарк вдруг сделался черным, и мне сделалось ужасно больно, я смотрела на мамины глаза и не могла плакать, и не могла доест банан. Я сидела на скамейке и совершенно не чувствовала своего тела. Косули и оленята в клетке казались ненастоящими, серыми и подвешенными в воздухе.

Я не помню, что говорила мама и как мы вернулись в Яффо, или в Джебелию, или как бы оно там ни называлось, это место.

Ночью я не спала и все время слышала, как мама подвывает, как шакал, и не знала, что мне делать, а только хотела убежать, но не знала, куда.

Утром мама зажарила мне яичницу из яичного порошка на масле «кокозин», которое было в «продуктах», но я не хотела есть и не хотела пить горячую воду, которую она накипятила, только чувствовала шум в ушах и легкую тошноту.

– Может, пойдешь погуляешь немного? – спросила мама потухшим и осипшим от рыданий голосом. – Может, когда вернешься, появится аппетит. Возьми пока что бутерброд с маслом. – И намазала на черствый ломоть белого хлеба толстый слой желтого и блестящего соленого масла.

Я послушно спустилась с бутербродом в руке по каменным ступеням на площадку, залитую ослепительным солнечным светом.

Я старалась исполнять домашние законы, которые включали в себя запрет на хождение босиком, на свист и на жевательную резинку. Запрет на эти вещи придавал им несказанное очарование, поэтому ходить босиком по берегу моря в моих глазах было наслаждением не от мира сего.

Свистеть я научилась, когда вызвалась перекачивать керосин из канистры в бутылки металлическим насосом, производившим невероятный скрежет и заглушавшим мои тренировки.

Жвачку я жевала потихоньку, когда моя самая лучшая подруга Мирьям передавала мне ее уже изжеванную изо рта в рот вместо того чтобы выплюнуть. Вкус рта моей любимой подруги наполнял мой рот сладостной влагой.

Я бродила вслепую под ослепительными солнечными лучами. Мне некуда было идти. Я обсасывала хлеб, намазанный соленым маслом, и чувствовала все нарастающую жажду. Блуждала так,

пока не уперлась в ограду из колючей проволоки. За оградой находились темнокожие мужчины с усами и в куфиях.

Все они шагали с поднятыми вверх руками, а за ними следовали молодые солдаты в отглаженной военной форме цвета хаки.

Мальчик с обритой наголо головой играл с поломанным велосипедом. К ограде приблизилась девочка моего возраста, темнолицая, одетая в грязное платье, изначально ярко-розового цвета. На шее у нее была нитка голубых и зеленых бус. Мы находили множество таких в оставленных квартирах.

Она жевала жвачку. Глаза ее были затянuty гноем, по ним ползали мухи. Она не пыталась прогонять их, только жевала жвачку и смотрела на меня.

Она жевала жвачку, а я облизывала бутерброд с соленым маслом, который вызывал у меня ужасную жажду.

Мне было ясно, что она арабка и что если я заговорю с ней, она не поймет. Я показала рукой на ее жвачку и протянула ей бутерброд.

Она тотчас поняла, вытащила изо рта жвачку, просунула свою худую ручонку сквозь ячейку ограды и всунула изжеванную жвачку мне в рот. И только тогда взяла мой бутерброд с соленым маслом и, не глядя на меня, отхватила от него здоровенный кус.

Мы продолжали стоять одна против другой и с серьезным деловитым видом смотреть друг на друга. Она оближивает бутерброд с соленым маслом, а я жую жвачку.

Мухи время от времени взлетали с ее глаз, но тотчас возвращались на место. Покончив с бутербродом, она повернулась ко мне спиной. По всей длине платья тянулись пуговицы.

Она исчезла. Я продолжала бродить по площадке и пыталась извлечь удовольствие от влажности, которой жвачка наполнила мой рот, и от прикосновений зубов и языка к вязкой и податливой резинке.

Я знала, что выпавшее на мою долю наслаждение не может быть долгим, а также, что все это нужно сохранить в абсолютной, строжайшей тайне.

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн

Константин Кикоин

ЖИТЬЁ ВО ВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОТРАЖЕНИЯ ЗИМЫ

* * *

Закутай глобус в бархат и виссон,
пройдишь по параллелям колесом,
ударь о полюс твёрдою ногою,
своё желая слово врезать в твердь, —
что ж, он тебе безропотно отдаст
свой лабрадор, гранит и диабаз,
но этим словом не отменишь смерть
и жизнь свою не сделаешь другою.

* * *

Архаическому устройению русской зимы
и хронической дрожи души, не по здешним сезонам одетой,
мы обязаны грустным умением глазеть из полуночной тьмы
на замёрзшие блёстки хрустального снежного света
и хотением опять дотерпеть до непрочного лета.

Там, где наше терпенье теперь согревается, на
непроглядном фасаде египетской тьмы
отдыхает на спинке луна,
а зрачки субтропической ночи зияют гораздо кромешней.
Но цепляя за ногу колючкой, но не задевая за душу, она
навсегда остаётся для нас оскорбительно внешней.

* * *

У тебя притупилось чувство зимы,
Ощущенье сумы, предвкушенье тюрьмы,
На тебя наточенного лезвея,
Знание места, где череп, а в нём змея.

То ль души летучая мышь на свету ослепла,
То ли ангел-хранитель с утра отвлёкся крепко?
Ты у них сирота, не наследник семейного склепа.
Для таких пошире врата открываются в пекло.

Так возьми себя в руки, сощурь глаза,
Основные инстинкты поставь на тормоза,
Попробуй припомнить слова волхва:
На тебя внимательно смотрят сверху.
Жизнь такова.

* * *

Нынче вместо тех ноябрьских дней ледяных
Мы печём другие, жаркие, как блины.
Пригорают они на плоской сковороде земли,
Ну а может, просто дрожжи не подошли.

Те льдяные кололись тяжелым тупым ножом,
В крайнем случае разлетались в снежную пыль.
В эти входит клинок, как в масло, а прошлая была
Ненавязчиво мозг щекочет, как горло боржом.

Время вывихнуло сустав, но и это прошло.
Отчуждённо вглядываясь в брылатых, что сквозь пелену
С мавзолея делают ручкой, пока их не замело,
Я не подзываю собаку, не занавешиваю луну.

Полковник, которому никто не пишет

Отвоевав своё на невидимом фронте,
умудрившись вернуться домой
невредимым его бойцом,
освободившись от послушания,
наложенного Феликсом,
нынче костяным, а когда-то железным,
оставив подписку о неразглашении,
получив комнатку в квартире,
отнятой Конторой у живых мертвецов,
будешь стричь купоны одинаковых дней,
получать спецталоны по табельным датам,
заходя на кухню ловить обрывки
внезапно смолкнувших разговоров,
невидимкой бродить по осенним бульварам,
несмотря на все постановления,
считать себя невиноватым,
раз в месяц сдавать порожнюю тару
бывшему соратнику по невидимому фронту,
иногда по пьянке впадать во фронду,
вспоминать по ночам, особенно если улёгся трезвым,
своё настоящее имя,
с которым был когда-то обрезан.

Сбросив шинель

*А подать сюда, подать сюда подателя сего,
в его серенькой шинельке, злыми вошками затоптанной.
Вот он, донельзя напуган, зол и желчен не по чину –*

*всё, быть может, оттого, что замахнулась на него
сила, что убьёт, не думая о его судьбе и собственной,
не задумываясь, бьёт, и никогда наполовину.*

*Но в кратчайшее мгновение меж замахом и ударом
он вытягивает жребий и готов платить по полной.
Ему холодно и страшно, темень сплюсчивает череп.*

*Нищим был рождён и ничего не получал задаром,
спрятавшись в свою шинельку,
вздрагивал при блеске молний,
не умел проникнуть сквозь или махнуть нахально через.*

*Но, представ пред ны, податель напружинил грудку хилую,
в скромной серенькой шинельке, аккуратно заштукованной,
он готов платить по полной из дырявого кармана.*

*На кладбище на Рождественском над скромною могилою
наклоняет кудри редкие сочинитель зачарованный
и шинель вставляет ветхую в строчки вечного романа.*

Странная любовь

*Равнинных ангелов поход
и горных дьяволов полёт,
морей сибирских серых стылых
ледовитые листы,
тяжкая поступь длинных рек,
полгода падающий снег,
простор, где холодно от звёзд,
лес, шалый от вороньих гнёзд,
гниль деревянных городов,
стук бесконечных поездов,
беспамятство лихих ночей,
дом, то ль забытый, то ль ничей,
Кресты, Владимирка, конвой,
Чайковский, Врубель, Лев Толстой,
погромный хохот, чёрный стыд...
Всё это – ты, всё это – ты.*

ПЕСЕНКИ СТАРОГО ГИТАРИСТА

Юлию Киму

Со сцены

Подкрутив колки, проверив упругость струн,
от ночной тоски оттолкнувшись, упрямым и юным,
начинаю день, наливаю бокал вина,
ничего, что тень за спиною, что седина
забелила кудри, да и кудрей уж нет,
что усмешкой мудрой заменяю любой ответ
на любой вопрос, подобравши к нему аккорд,
с жизнью сладить просто, она певцу не в укор,
с жизнью сладить просто – не надо смотреть вперёд,
я стою на подмостках, смерть меня не берёт.

Песня бойлерной

Акустики этого подвала моей гитаре всегда хватало,
грязно-зелёной окраски этих стен нету краше на белом свете,

надписи до-минорной на стенке подвальной уборной
достанет для темы сольной в подвале первопрестольной,
и голос мой проржавевший, с утра не евший, не певший,
но всё же не севший, взвоят, со сливную спевшись трубою,

голос свое возьмёт под гитарный ропот,
бурчащий в этой утробе,
и вложит в уши Богу, который тут же в подвале,
в промасленной робе.

Песня Транссиба

Выдыхаю дым, смотрю сквозь дым на свою страну,
не сморгнув слезу, подтянув штаны, натянув струну,
паровоз считает шпалы, дымом пышет в колки берёз,
десять суток еду мимо берёз, ни пьян ни тверёз,
доезжаю дотуда, где рельсы упираются в океан,
говорят, в океане плавают множество разных стран,
паровозу до них не доплыть, он в депо ушел ночевать,
в тупике оставив состав со мною внутри горевать,
я горюю на верхней полке, синяя лампа горит,
а над водами без умолку звезда со звездой говорит.

София Шегель

*ПРОШЛОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ**

ПЬЯНЫЕ ВИШНИ

Скажите честно, вы когда впервые в жизни спиртное попробовали? На школьном выпускном балу? На собственной свадьбе? Когда паспорт получали? Или, как многие, «на слабо» в шестом классе? И как, понравилось? А вот у меня это незабываемое событие произошло в возрасте неполных шести лет и не по собственной воле.

Случилось это в те далекие годы, когда в городе Донецке не то что миллиона алых роз не было, там еще не жили мои двоюродные племянники. Это теперь они уже сильно неюные господа, а тогда просто еще на свет не родились – давно дело было. Да и господ как таковых тогда не наблюдалось и даже не предвиделось в столице Донбасса, носившей в те времена по причине неудачного, как потом выяснилось, брака грамматически странное имя Сталино, хотя в девичестве это была вполне себе скромная Юзовка. Как все эти квазиматримониальные коллизии отразились на характере города, сказать трудно. Все знают: Москва – она, Петербург – он, даже когда именовался Ленинградом. Набережные Челны – вообще неизвестно, кто это – то ли берега, то ли лодки по фольклорнопоэтическому. А Нью-Васюки – их, по-вашему, сколько есть на свете? Это все о том, как характер города соотносится с его названием.

Прибыли мы в это место со странным именем, что называется, по-горячему: на другом конце города еще шли бои.

Госпиталь разместился традиционно в здании школы, чуть ли не на тех же койках, где днем раньше лежали раненые фашисты. Койки – это, конечно, сильно сказано, то есть потом они, разумеется, появились, но в тот первый день – просто была на пол брошена, а может, и оставлена предыдущими «арендаторами» солома.

На беду заболела моя сестра – температура зашкаливает, бормочет не поймешь что и все время пить просит. Уложили ее на солому, как была – в гимнастерке и юбке, мама сунула мне в руки консервную банку с водой, велела никуда не отходить и давать попить по глоточку.

Святое дело, да и мне привычное, не раз сестрички в палатах просили помочь. Сижу. Сестра стонет так жалобно, хотя она совсем уже взрослая, ей целых четырнадцать. Это она теперь болеет, а так – в госпитале работает, у нее даже не только солдатская гимнастерка, а еще и белый халат есть.

Осматриваюсь помаленьку. Класс как класс, на стенке картина – человек нарисован, только совсем без кожи, голое красное мясо, понятно, что такие не живут. Ну, я-то не маленькая, пони-

* Рассказы из этого цикла печатались также в «ИЖ» № 37.

маю – наверное, его взяли в плен, пытали, но он никого не выдал, герой. Потом вспоминаю, я такого уже видела в папиной толстой книжке, которую нельзя трогать.

Сестра моя понемногу задремала – мне передышка. Но тут слышу стон с другого конца комнаты, а я думала, что там просто солома. Осторожно подхожу – лежит человек в белом белье, смотрит жалобно, губы облизывает. Даю и ему попить из моей банки. Тут сестра просыпается, стонет. Бегу к ней. Так и бегала туда-сюда до вечера. Думаете, я не понимала, что это немецкий солдат? Еще как понимала! Думаете, не чувствовала своей вины, что помогаю фашисту? Еще как чувствовала! Это ведь не кто-то, а я придумывала для них всех не по-детски жестокие казни, о которых сейчас даже рассказывать страшно. Но этот лежал совсем не такой, его было просто жалко, как тех, наших, которых я хорошо знала.

А потом мама меня забрала – сестру перенесли в оборудованную палату, а нам уже нашлось жилье.

По малости моих тогдашних лет города в целом не помню, зато хорошо помню то место, где мы поселились, – оно называлось Стандарт, шахтерская окраина с небольшими домиками-мазанками, с непролазно грязными дорогами – угольная пыль, земляное месиво да остатки старого снега или нового дождя. Мама и сестра, когда возвращались из госпиталя с дежурства, тащили на своих солдатских ботинках килограммы этого липкого месива, снимали обувь за порогом и потом отсиживались в сенях, пока ноги в себя придут.

Домик, где мы сняли комнату, принадлежал шахтерской семье, но к нашему появлению от семьи осталась только хозяйка да пять похоронок за иконой – на мужа и на четверых сыновей, а дочерей Бог не дал. Звали нашу новую хозяйку опять тетей Катей, потому в моих вполне себе взрослых пятилетних мозгах имя и функция слились воедино: раз хозяйка – значит, Катя. Да и удобно, согласитесь.

Всех ли своих соседей вы сегодня знаете хотя бы в лицо, я уж не говорю по именам? Я – нет. На Стандарте в те времена было по-другому. Телевизоров тогда в природе не было, даже статьи о них в любимом журнале «Знание – сила» я читала лет десять спустя и потом еще лет пять мечтала о таком чуде, пока увидела его воочию. По этой, наверное, причине, а также потому, что не было магазинов шаговой доступности и за солью-луковицей-мукой в то несытое время проще было сбегать к соседке, люди привычно и постоянно общались. Вы скажете – просто была потребность в общении, и это правда. Но разве сегодня она исчезла? Нет, конечно. Однако придет ли вам в голову запросто зайти к соседям в будний день на чашку чая? Вот бы они удивились!

Так или иначе, моя тетя Катя частенько брала меня с собой к соседям – не скажу в гости, это так не называлось, а – поговорить. Так что я довольно скоро усвоила быт и традиции Стандарта. А люди вокруг обитали, прямо скажем, нестандартные. Ближайшим соседом был плотник – кряжистый старик, высокий, вечно кашляющий, с усами, как на портретах М. Горького. В дом к нему мы никогда не заходили, а во дворе под шелковицей отдыхали часто.

Двор был небольшой, сильно захламленный, почему-то всегда пыльный. Скамеек не было, зато была завалинка-призьба – на ней и сидели. Разговоры тетя Катя вела степенные, все больше о делах или о болезнях.

– Что-то вы, сусиду, сегодня и не работали или заказов нету?

– Та яки заказы, в мэнэ спына одвалюється, так болыть...

– К врачу надо. А не то заходите ко мне, я дам натирки – крапивного зелья, как рукой снимет.

Но главной достопримечательностью этого двора, из-за чего, собственно, я его и запомнила, был гроб – большой, длинный ящик из белых струганых досок, крышка его с высокими бортиками стояла на торце, опираясь о стену домика и почти доставая другим торцом до стрехи, а на днище самого гроба лежал обыкновенный кожух – в любой момент можно было прилечь отдохнуть, что мастер нередко и делал. Ну, собственно, а что вы ожидали увидеть во дворе у плотника? Сказать по правде, никаких душевных волнений во мне это зрелище не вызывало, наверное, потому, что до того я гробов вообще не видела – в детских книжках их не рисуют, а в жизни все еще были живы.

А еще мы заходили к тетке Ульяне. Была она худой и плоской, как доска во дворе у плотника, всегда в длинной серой юбке и широкой кофте навыпуск, а на голове обязательная белая хусточка – ситцевая крахмальная косынка, тетя Катя тоже такую носила. Тетка Ульяна жила одна, как наша хозяйка, так что им всегда было о чем поговорить, а с моим появлением – все больше обо мне, своего уже все переговорено, да не по разу. Угощений в те времена не выставляли, все жили впроголодь, но все же ложку коричневого, густого, как мармелад, прошлогоднего повидла тетка Ульяна всегда передо мной выкладывала – почему-то на виноградном листочке.

Есть история, которая в связи с этой женщиной запомнилась. Наверное, кому-то рассказывали, а я была рядом. Жил-был мальчишка Семка, любимым его занятием были голуби. Он сильно заикался, может, из-за этого был молчалив и скрытен, особо с другими ребятами не водился, а всю свою привязанность и любовь отдавал птицам. Да еще на гитаре очень играл душевно – от отца перенял. Отца на Стандарте все знали, ни одна свадьба без него не игралась – он и на гармошке, и на гитаре, да и певун был знатный. Началась война – отец ушел на фронт, остался Семка вдвоем с матерью, а жить не на что. Хотел на шахте работу найти – не взяли, мал еще.

Спустя время совсем голодно стало, мальчишка растет, ему есть надо, а нечего, так ослаб, что и на любимую свою голубятню взобраться не может. Мечется мать, сына спасать надо. Дождалась темноты, поднялась на чердак, где сын голубям жилье устроил, взяла птиц, не всех, только парочку, днем еще присмотрела покрупнее, да и сварила сыну супчику. Мальчишка поел, и вроде сразу сил прибавилось. Тут ему мамка и рассказала, откуда еда. Зачем рассказала? Так ведь и завтра что-то есть надо. Парень слова не сказал, из-за стола – прямо на голубятню. Час прошел и другой, а парня все нет. И тихо. Мать позвала – не откликается, пришлось снова на чердак карабкаться.

Поднялась – а прямо над лестницей сын висит, петля из струны гитарной за стропило зацеплена...

Помню отчетливо скорбное лицо тетки Ульяны, ее сухой, хрипловатый голос и еще особый, как бы внутрь себя повернутый взгляд. Такой бывает у людей, которым есть что помнить и нет сил забыть.

Наверное, моя тетя Катя с теткой Ульяной были близкие подруги, потому что однажды, когда я заболела, тетя Катя первым делом соседку позвала. Мама моя, ясное дело, была на дежурстве, так что консилиум составили две шахтерские вдовы, что с того, что сами они расписывались крестиком, своих сыновей вырастили же. Вердикт был бесспорный: корь. План лечения составили тут же и все назначения начали исполнять незамедлительно.

Первым делом тетка Ульяна принесла из дому два полотнища кумача – остались еще от «довоенного Первомай». По правде сказать, я тогда думала, что это чья-то фамилия, от кого флаги остались, но флаги, конечно, знала. Ими завесили оба окна в нашей с тетей Катей комнате, а я жила у нее, потому что трое в другой комнатке не помещались. А может, наша хозяйка просто не терпела перекося справедливости, не знаю. В комнате стало темновато и красновато, зато красиво, тем более что тетя Катя затеплила лампадку под иконой и позже, когда все процедуры закончила, долго с ней шепталась. Когда окна были надежно завешены, тетя Катя послала подругу к соседу-плотнику:

– Сбегай, у него точно есть, скажи, позарез надо!

Тетка Ульяна вернулась мигом, принесла в алюминиевой кружке плохо пахнущую жидкость, и они вдвоем меня этой гадостью крепко, до боли растерли. Конечно же, это был самогон, но откуда мне было знать, да и зачем. Но запах на всю жизнь запомнила. Укутали меня одеялом, только нос оставили, чтоб не задохнулась. Тетка Ульяна ушла себе, а моя тетя Катя то мне лоб пощупает, то водички принесет, то меня оставит, отойдет в угол, со своей иконой пошепчется. Потом открыла тумбочку в углу, достала оттуда большущую, чуть не с меня ростом бутыл, вытащила из нее пробку и шумовкой на длинной ручке выудила из бутыльного нутра горсть темно-красных ягод. А потом стала, как мы теперь говорим, среди меня разъяснительную работу проводить.

– Ты, детка, не подумай чего, это лекарство, здоровые эту гадость никогда не едят, а тебе сейчас надо. Это как таблетка – горько, а помогает. Мама с работы придет – а ты уже здорова. Тото она обрадуется. А мы ей и не скажем, как ты пьяными вишнями лечилась – это наш с тобой будет секрет.

И опять пошла со своей иконой шептаться.

Выздоровела я быстро и легко, без осложнений. Должна признаться, на вкус эти пьяные вишни мне очень даже понравились, долго еще пыталась заболеть снова, да вот беда – корь не повторяется.

Надо вам сказать, что у нашей мамы был один незыблемый педагогический принцип: доносчику – первый кнут.

Потому она до конца жизни так и не узнала, как опасно оставлять детей без присмотра и какому разврату предавалась ее дочь в самом розовом детстве.

НАРЦИССЫ

1944 год, война уже на излете. Наш госпиталь после долгих скитаний оказался в Одессе – так привели фронтовые дороги. Мы снимаем комнату у бабки-румынки. Классическая старая Одесса: двухэтажный дом замкнутым покоем, деревянная галерея по внутреннему периметру, с нее двери ко всем квартирам. У нашей хозяйки две комнатки. Она в проходной, мы втроем – мама, сестра и я – в дальней. Между комнатами застекленная дверь. Когда мама и сестра на дежурстве, я остаюсь одна, немного страшно, потому что еще бомбят, и тогда дом, а он совсем рядом с вокзалом – главным объектом бомбардировщиков, ходуном ходит. Но в ту ночь как раз не бомбили, и проснулась я от голосов. За дверью у хозяйки лампа керосиновая горит – это при ее, как бы сказать помягче, экономотности. А за столом сидит солдат – вы не поверите! – в немецкой форме, перед ним большая тарелка, полная бутербродов, он торопливо ест и что-то рассказывает, только ни слова не понять. Честно говоря, я со страху сползла под кровать, затаилась там, да так и уснула. Утром меня сестра обнаружила, отругала за трусость, но про немца поверила. Немец оказался румыном, хозяйкиным зятем – мужем внучки. Он просто устал воевать и прятался в подвале, а ночью выходил на волю. Как с ним обошлись потом, не помню.

Осенью приходит весть, что госпиталь перебазировывают в Румынию. Но без нас. Все из-за меня: с детьми не берут. Поди объясни им, что я уже вполне взрослый человек, даже читать немножко умею и раненые со мной любят поговорить, расспрашивают о старшей сестре или просят песенку спеть, а хлеб или даже сахар я у них брать отказываюсь, мама сказала, им самим надо, чтоб выздоравливали скорей. Нет, нельзя с детьми, и все. Потому все едут в Румынию, а мы в Киев. Там наш дом, и там бабушка с дедушкой, папины родители.

Руины нашего дома чернеют над грязным снегом, и кажется, что они еще дымятся, как дымились развалины домов на всех наших военных дорогах. Жить негде: бабушка с дедушкой живут у своей дочери, моей тети; она, вернувшись из эвакуации, получила для себя, родителей и сына-инвалида крохотные две комнатки в коммунальной квартире ведомственного дома. Нас там не пропишут, а и прописали бы – как разместиться? Никто ведь не спит стоя.

Уезжаем в город с очень лирическим названием – Нежин, из него в начале войны наш госпиталь начал свой путь на грузовиках, крытых брезентом, здесь работал мой отец, и здесь наше жилье осталось цело.

Цело-то оно цело, но занято, там живут какие-то люди со странной фамилией – *Польские Патриоты*. Много лет спустя, уже почти взрослой я узнала, что так называли польских евреев, которые ехали в Палестину, то есть практически как мы с вами позже – в Израиль. Наверное, живут где-нибудь по соседству, только я имен не помню. И пока они не уехали, мы снимали угол – кто теперь знает, что значит *снимать угол*? – у одного довольно сурового и сварливого старика. Печку топить хозяин не разрешал – пожара боялся. Зато уже не бомбили. Да и весна пришла, потеплело. В

этом самом углу у нас была раскладушка – деревянные козлы с натянутой на них холстиной, называлась дачка, на ней мы с мамой вдвоем спали, еще то ли большой деревянный чемодан, то ли маленький сундучок, на нем умудрялась уместиться моя сестра, к тому времени уже студентка техникума, а внутри помещалось все наше имущество – одежда, белье, посуда, книги, чернильница... Еще была табуретка – на ней делили хлеб, ели, писали письма, по вечерам зажигали коптилку – пузырек с керосином и шнуром-фитильком из горлышка, учили уроки, гладили угольным утюгом одежду и много еще чего делали.

А над всем этим великолепием возвышалась черная бумажная тарелка – радио. Оттуда притекали все новости. И та главная новость, которую мы так долго ждали и которую дождались.

Быть того не может, чтоб я раньше не видела никаких цветов: видела же арбузы на бахче, ежевику на кустах, паслен при дороге – главное наше дворовое лакомство, значит, и цветы видела. Но не помню. В этот день мама встала раньше обычного, послушала тихонько радио и ушла из дому. Вернулась она очень скоро, шумно распахнула дверь.

– Девочки мои, вставайте, война кончилась, победа!

Мама толкнула обе створки окна, размашистым жестом смела все с табуретки и водрузила на нее консервную банку с холодной водой. Воду тогда брали из колонки или дождевую – из большой бочки, что рядом с крыльцом. И в эту блестящую жестяную банку мама поставила пять нарциссов – белые лепестки и золотистый венчик в центре. Это первые цветы, какие я запомнила в своей жизни.

А потом был шумный митинг на городской площади, кто-то сунул мне в руки огромный, с меня ростом, букет цветов и велел его преподнести городскому начальнику, когда тот речь говорить будет. А как преподнести, мало того, что я такую тяжесть с места не сдвину, так я этого дядьку боюсь до смерти – он в соседнем с нами дворе живет и всегда громко кричит на своих домашних. Потому я сразу начинаю реветь, и это меня спасает от позора, огромный пестрый букет преподносят без меня.

А в памяти остаются те пять нарциссов. Цветы Победы.

ПУТИ ГОСПОДНИ

Первой, как и положено, на свет появилась Ева. А потом родители, а может, и сам Господь, решили поработать над ошибками, и в результате спустя много лет получилась Даша. Вылитая Ева, только наоборот. Высокая, стройная, с пышными рыжими кудрями, с огромными зелеными глазами под высоко вскинутыми бровями... В годы ее молодости еще не придумали говорить «ноги от ушей», но такие они у нее и были. Зная все о своей красоте и о том, как на нее смотрят окружающие, она бесстрашно выходила из дому в шелковых брючках в обтяжку – это в провинциальном украинском городке в первые послевоенные годы. Она приезжала летом погостить к старшей сестре – от московской несытой жизни.

Ева сестре радовалась, в лепешку расшибалась, чтобы младшенькой было комфортно. Она в семье была старшей, мать умерла рано, отец, местечковый учитель и поэт Шломо, жить без жены так и не научился, и с самого начала все заботы легли на цыплячьи плечи Евы – тогда еще совсем девочки. Так это на всю жизнь и осталось.

Оно и к лучшему, потому что за повседневными бытовыми хлопотами она так и не осознала для себя, что женщины делятся на обыкновенных, как все вокруг, невероятно красивых, как ее сестра Даша, и таких вот, как она, Ева. Росточком она удалась не выше своего отца или старшего брата, тот тоже не вырос красавцем. От рождения у нее были изуродованы большие пальцы обеих рук – ногти на них росли по торцу и сильно выдавались поперек пальца. Рыженькой косицы едва хватало, чтобы прикрыть череп, глаза, правда, тоже, как и у Даши, были зеленые, только смотрели в разные стороны, а широкие рыжие брови сливались с такого же цвета крупными веснушками. Ее коротенькие ножки были тоненькими, зато сильно кривыми. В довершение всего она носила очки с очень толстыми стеклами в уродливой бесцветной оправе. Одним словом, Господу Богу и маме с папой нужно было провести очень большую работу над ошибками, чтобы выйти на стандарт Даши.

Всех этих обстоятельств сознание Евы просто не освоило, ей было не до того: семью кормить кто-то ведь должен. Отец головы не поднимал от Торы и собственных писаний, а если поднимал, то только к стакану. Брат – еще хуже, мало того, что связался с большевиками, так еще и начал стихи писать. Дело, конечно, хорошее, жаль, что не кормит. Даша еще совсем маленькая, с нее какой спрос.

– Подожди, сестричка, – уверенно говорил Ицик, возвращаясь со своих таинственных собраний, – скоро все переменится.

И все действительно менялось – приходила новая власть, начиналась новая война, вспыхивали новые погромы. Брат весь ушел в свою политику... А есть хотелось каждый день.

И Ева пошла работать – нянечкой в местечковой больничке. Да какая больничка, по-теперешнему сказать – медпункт, один фельдшер за все про все да она – нянечка, санитарка, кастелянша – что там еще бывает в настоящих больницах?

Она и жить туда переселилась, а зарплату всю до копейки отдавала семье. Работа была несложная – помыть-почистить, подать воды или супу, записать под диктовку фельдшера назначения или рецепты. Поначалу самой большой трудностью для нее было соблюдать кашрут, но – приспособилась, кастрюльку себе отдельную держала в тумбочке. На больничных харчах молока с мясом не смешашь – ни того, ни другого и в заводе не было, только каша да картошка, и то не досыта. Фельдшер, хоть и из западенцев и красоты неопишущей – она его про себя сразу назвала Прекрасным Иосифом, это и было его имя, правда, по отцу Иванович – но очень добрый человек оказался, как мог, ее поддерживал, никогда голос не повышал. Он таким и остался на всю жизнь, даже когда уже выучился на врача, и они вместе переехали в город, и брат ее стал очень знаменитым поэтом, и сын у них с Иосифом родился – а ждали девочку, потому назвали Валькой.

Вот уже и Валька вырос, поехал в институт поступать, и Ева с ним поехала, не отпускать же без присмотра ребенка. Весь месяц, что он экзамены сдавал, на хлебе и воде сидела – какой же кашрут в гостинице. Наверное, Валька потому и не поступил, у него же на лбу написано, что он сын своей мамы Евы, внук раввина Шломо, а что отец у него западенец – о том только в документах, кто ж поверит!

А доктор знай только посмеивался. Сын пошел учиться в девчачий педагогический, не пропадет. Его, доктора, рентгеновский кабинет хорошо кормит, жена давно уже не работает, забавляется своим кашрутом, ну да пусть себе, ему не мешает. Иногда только скажет:

– Зря стараешься, Бог все равно не простит, главный твой грех – это я, и этого уже не изменишь!

Так бедная Ева и жила в вечном раздвоении: любовь к мужу-гою уживалась в ее душе с истовой религиозностью и с невероятной преданностью брату и сестре. Знаменитый брат иногда летом наезжал на несколько дней, всегда в компании коллег – поэтов, писателей, и тогда шумные посиделки устраивались во дворе под окнами – в тесной квартире места не было, но дворничиха Химка относилась с пониманием, особенно после того, как доктор или сам знаменитый поэт отводили ее в сторонку пошептаться. Вся медицинская общественность, да и не только медицинская, собиралась тогда у них под окнами, стихи – на русском, украинском, идише – лились рекой. Вино тоже. И долго еще потом Ева любой свой разговор начинала словами: «А мой брат Ицик, когда он был в Америке...» И Даша своей необыкновенной библейской красотой и свободными манерами каждое лето удивляла бомонд райцентра.

Местные свой райцентр ласково называли Центром Рая и были недалеко от истины: население в городе было пестрое: естественно, украинцы, русские, евреи – куда же без евреев, а еще ассирийцы, которых в быту называли почему-то армянами, турки и греки. И все вполне мирно уживались и не мешали друг другу, прямо как кошерная Ева со своим Прекрасным Иосифом, сыном Ивана. И даже страшные статьи в газетах про безродных космополитов не сразу изменили климат в городе. Пока не затронули его конкретно.

Все изменилось, когда стали сажать антифашистов. Не всех, конечно, в основном еврейских. Ева перестала упоминать своего брата хоть всуе, хоть как. Даша перестала приезжать в Центр Рая. Да и поэты-писатели теперь посещали летом совсем иные палестины, опасаясь, впрочем, произносить это слово даже в переносном смысле.

О том, что Ицика уже нет в живых, Ева узнала не сразу. Как она выплакала это горе, одна только подушка знала, да еще добрая соседка, что не отказалась от дружбы, – многие ведь и здороваться перестали.

А прекрасный Иосиф Иванович добродушно и вполне искренне, не ощущая двусмысленности своих слов, утешал жену:

– Не бойся, старушка, я никогда тебя не брошу из-за того, что ты еврейка. Так уж и будем вместе доживать.

Младшая сестра в молодые годы пару себе так и не нашла, замуж не вышла, жила вместе с братом, вместе их и арестовали. И

долго-долго о ней никаких вестей не было. Но – неисповедимы пути Господни, красавица Даша осталась жива.

Много лет миновало с тех пор, уже вышло из моды говорить о безродных космополитах, и даже *враги народа и члены их семей* остались в лексике вчерашнего дня. И Сталина уже не только оплакали, но и разоблачили и вынесли из мавзолея, и некоторые вернулись к жизни, а другие так и остались в памяти или забвении – вот когда только жизнь подарила нам встречу с Дашей. Совсем в другой географии и даже в довольно другой истории.

Случилось это после спектакля в минском Театре юного зрителя, стыдно, но не помню, какой был спектакль, а пришла я за кулисы, потому что договорилась об интервью с исполнителем главной роли – актером по фамилии Бондаренко.

Передо мной сидел довольно угрюмый пожилой человек, смотрел тяжелым взглядом и на вопросы отвечал телеграфным стилем. А я, разумеется, пыталась его разговорить. Его жена, полная, очень еще красивая, хоть и сильно немолодая дама с тяжелой явно крашеной косой на затылке, подав чай на подносе, умолилась рядом с ним и стала меня как-то уж слишком внимательно рассматривать.

«Ревнует, что ли?» – заподозрила я. И зря, потому что почти сразу она произнесла удивительные слова:

– А вы помните, как не донесли до дома мое мороженое?

Действительно, была такая история в том самом благословенном Центре Рая, и было мне лет восемь тогда, и мы жили через стенку с Евой и ее красавцем-мужем, а Даша, возлежа во дворе под шелковицей на раскладушке, попросила меня сходить на угол, купить ей мороженого, дала денег на две порции и стеклянную баночку, я пустилась бегом – и на обратном пути, разумеется, запотевшая баночка выскользнула из рук и разбилась. Жалко, конечно, было мороженого, но еще больше страшно, что Даша мне не поверит, подумает, что я его сама съела.

Мы с нею немного посмеялись над этой давней историей и, позабывшись причудливости жизни, разумеется, договорились на другой день встретиться в ближайшем кафе-мороженом, восполнить тот давний урон.

Назавтра, задолго до намеченной встречи, я прочитала в газете, что актер ТЮЗа Бондаренко скоропостижно скончался.

После похорон и поминок в фойе театра Даша, глядя перед собой сухими глазами, рассказала, что познакомилась со своим мужем в ссылке – он отбывал наказание за то, что во время войны служил в немецкой полиции...

Фамилия поэта Ицика, как, разумеется, и его сестер, была Феллер. Тот самый.

Наум Басовский
НОВЫЕ БАЛЛАДЫ

БАЛЛАДА О ЖЁЛТОМ ПАКЕТЕ

Вестовой был отправлен с особым пакетом;
все они отличались по срочности цветом –
самый срочный был жёлтый. И знал вестовой,
что за срок отвечает своей головой.

Вестовой был отправлен из белого штаба:
штаб о флангах полка информирован слабо.
Потому-то и послан был жёлтый пакет,
чтоб немедля в таком же доставить ответ.

Мчится конь. Над пожарищем каркают птицы.
Справа виден Хопёр, слева в дымке – Царицын.
Хоть весна, но мужик и не помнит про сев.
И дорога железная рядом совсем.

Прёт по ней паровозик по кличке «кукушка»:
три вагона, платформа, там люди и пушка.
Паровозик пыхтит, разгоняя разбег.
На ступеньках вагона сидит человек.

Сам защитного цвета на фоне зелёном,
плещет красный флажок над зелёным вагоном.
Трубку курит спокойно – хозяин судьбы!
Чёрный чуб на ветру. Чёрный дым из трубы.

Вестовой размышляет: «Составчик-то странный –
видно, важная птица с такою охраной.
Вот бы шлёпнуть его, расстояние – пустяк!
Только жёлтый пакет... невозможно никак».

...Двадцать лет пронесутся. В промёрзлом бараке
управдел наркомата припомнит во мраке
и пропустит в больные тревожные сны
этот солнечный день подзабытой весны –

как скакал он утоптаным шляхом прогретым:
конь – красавец-дончак, сумка с жёлтым пакетом,

на спине карабин, в кобуре пистолет...
Эх, когда бы тогда да не жёлтый пакет!

Был бы выстрел-другой, и при лёгкой удаче
вся история мира пошла бы иначе!..
Шесть утра. И скупой зарешёченный свет.
И в ночи растворяется жёлтый пакет.

БАЛЛАДА О ФОТОГРАФЕ

Фотограф из быткомбината Шрайбер Абрам Наумыч
был старик с пергаментной кожей и трясущимися руками.
Но когда он снимал клиента, исчезала вся его немочь –
он сажал человека в кресло и ходить начинал кругами.

Он развешивал отражатели, прицельно сдвигал софиты,
меняя формат и ракурс, сто раз припадал к аппарату,
и, наконец, находил то, что будет потом на фото,
и лишь тогда назначал срок исполнения и плату.

В витрине быткомбината выставлялись его работы,
для городка заменяя картинную галерею,
и что-то вроде смеси снисхождения и почёта
жители испытывали к взъерошенному еврею.

А он, идя с работы в дом, навсегда осенний,
к лампочке вполнакала, к законопаченным рамам,
вовсе не думал о том, что в портретах – его спасенье,
за полвека привыкнув не прикасаться к шрамам,

не прикасаться к памяти, где лагеря и гетто,
где яры и овраги, где душегубки и печи...
Прошелестели полвека, и отдалилось всё это,
но стало предельно ясно, что время, увы, не лечит.

Так много было потерь, так мало было отдушин!
Распахнутое общенье – лишь с камерой на треноге.
То ли жизнь беспощадна, то ли он простодушен,
но не спасали его даже мысли о Боге.

А утешенье Господне он принял бы, как награду, –
ведь у него не осталось почти никаких иллюзий –
и не затем ли снова припадает он к аппарату,
чтобы себя убедить, что люди – всё-таки люди?

БАЛЛАДА О ПОЕЗДЕ МЕТРО (МОСКВА, 20-й ВЕК, ПОЛДЕНЬ)

В семидесятые годы закатившегося столетья
несколько раз я слышал странные слухи эти:
поезд метро с «Белорусской» отправился на «Динамо»;
никто и подумать не мог, что с ним приключится драма.

Через три минуты должна была быть остановка,
но нет остановки. Что делать?

Вроде кричать неловко,
а поезд идёт, и в туннеле платформ никаких не видно.
Паниковать пока что по этой причине стыдно,
но надо же что-то делать!

Десять минут.

Двенадцать.

Уже и самые выдержанные начали волноваться.
Кто-то рванул стоп-краны – реакция неощутима.
Сверкнули огни слепящие, но поезд пронёсся мимо.
Пятнадцать минут.

И двадцать.

И наконец платформа.

На ней шеренга людей, на них военная форма,
автоматы на шеях, в руках поводки овчарок.
Платформа весьма просторна,

свет на платформе ярок,
и звучит команда из потолочной тарелки:
– Всем покинуть вагоны и на выход по стрелке!

Толпа мгновенно затихла, лишь одиночные всхлипы
и чей-то охрипший голос: «Вот уж влипли, так влипли!»
И все потянулись на выход, а там наверх эскалатор
такой высоты немыслимой, что ехать на нём страшновато.

А наверху – кабинки, охранники смотрят хмуро,
и всю толпу ожидает личная процедура:
подписка о неразглашение и получение билета
от станции Химки в Москву,

и ни одного ответа
на все вопросы людей, их страхи, недоуменье –
как будто в зале царило полное онемение.

И все поставили подписи, и дальше всю жизнь молчали,
и ничего особенного в секрете не замечали,
словно бы всё происшествие – эта ячейка ада –
было таким естественным, что лучшего и не надо!..

БАЛЛАДА О СКРИПАЧЕ НА КРЫШЕ

– Скрипач, на крышу! – Не хочу!
Ну что там делать скрипачу
на скате скользком и опасном?
Давайте я сыграю тут,
и вас на крыльях вознесут
мечты о добром и прекрасном.

– А ты забыл, как голодал?
Забыл, как нам надоедал
игрой в подземном переходе?
Тебе придуман был сюжет;
теперь ты сыт, обут, одет –
вот и подумай о народе.

– Когда играл я под землёй,
оберегал, хоть был смурной,
я мастерство превыше клада.
А там, на крыше, я зажат,
и руки у меня дрожат,
и не могу стоять, как надо.

– У дома собралась толпа;
она глуха, она слепа,
но денежки кладёт исправно.
Давай, на крышу поднимись,
но не смотри всё время вниз,
и будет всё легко и славно.

Скрипач по лестнице бредёт.
Он знает, что произойдёт,
где кончится подъём высокий:
со скрипкой и смычком в руках
стоит на крыше, и не страх,
а стыд окрашивает щёки.

Но это снизу не видеть –
зеваки ждут, что благодать
на них сейчас прольётся сверху.
Шагнуть бы вниз – и все дела!
Но как бы бездна ни звала,
он снова выдержит проверку.

Зеваки там, толпа, народ...
Никто из них и не поймёт,
как он Бетховена калечит.
Но это – несколько минут,
и с каждым разом легче тут:
как говорится, время лечит.

БАЛЛАДА О ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА

Объявлено о премьерe новой кинокартины.
Появилась возможность вырваться из рутины,
избавиться хоть на вечер, на три-четыре часа
от верчения постылого беличьего колеса.

О фильме уже говорили – что это особый случай,
что в нём созвездье актёров – и вправду лучших из лучших,
а режиссёр картины воистину знаменит:
трём его фильмам «с полки» был путь на экран открыт!

Но это – новая лента, только что с пылу-жару;
в недавние времена ей ждать бы такую же кару,
поэтому автор будет её комментировать сам –
по принципу «снявши голову, не плачут по волосам».

Событие не волнует разве что самых отпетых –
на дальних подступах к залу спрашивают о билетах.
А в зале не то что яблоку – вишне негде упасть:
представлены журналисты, культурный бомонд и власть.

Но вот приглашены лампы, стол на фоне экрана,
стакан с водой, микрофоны – всё это довольно странно...
Вышел автор картины, сел неспешно за стол
и по-домашнему просто свой разговор повёл.

Сначала он шаг за шагом шёл по ходу сюжета,
припоминая то, слегка уточняя это,
потом подключил как будто некое волшебство,
и голоса героев ожили у него.

Разворачивал он пейзажи, дороги и панорамы,
дворы – и поля сражений, простые избы – и храмы,
подробно портреты героев, улыбки, носы, усы,
мужество воевавших, чудо женской красоты...

Два с половиной часа он был на фоне экрана,
нечасто себе позволяя хлебнуть воды из стакана,
и шли по экрану тени то грустно, а то смешно,
и все, кто собрался в зале, ВИДЕЛИ это кино!

А он закончил и встал, стеснительно так сутулясь,
и встали все, как будто от наважденья очнулись,
и долго рукоплескали, от зрелища без ума,
и разошлись восвояси, озадаченные весьма...

БАЛЛАДА О ДОМЕ КНИГИ

Ночь на улице – точно по классике:

вот фонарь, а вот и аптека...

Я работал в соседнем здании, там большая библиотека.

Весь этаж занимала цокольный,

много книг, и редкостных много;

отвечал я за сохранение и развитие каталога.

На втором этаже – издательство,

слева от центрального входа.

Я работал в этом издательстве сорок лет и четыре года.

Был редактором и корректором, иногда оформителем даже;
книги, через меня прошедшие, не задерживались в продаже.

А над нами выше, на третьем,

под покровом крыши двускатным,

был музей антикварной книги –

я служил смотрителем штатным.

Букинисты со мной дружили, антиквары со мной дружили,
поверяли друг другу тайны, и вот так мы полвека жили.

Но пока я честно трудился и не делал себе карьеры,
старый дом обветшал изрядно, и нужны серьёзные меры.

И сказали специалисты, осмотрев чердак и подвалы,
что ремонт, весьма запоздалый, будет стоить весьма немало.

Что дешевле выстроить заново

дом с пространством равновеликим,

где найдётся место издательству

и старинным, и новым книгам,

где и залу для конференций, и концертному место найдётся, –
только вот на время строительства

то, что есть, всё закрыть придётся.

Всё закрыли, и дом сломали, а не строят: спонсоры в сваре.

Фонды свезены на хранение на окраине в старом ангаре.

Что-то сложено аккуратно, что-то сложено как попало.

Старики, на меня похожие, охраняют, чтоб не пропало.

Молодые порой проходят, молчаливо на нас глаза, –

те, что выросли без читальни, без издательства, без музея.

И едва ли они откликнутся, если мы им контакт предложим, –
на одном языке разговариваем,

а понять друг друга не сможем...

Теннадий Малкин

ПОЗНАТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Интересное видит тот, кто умеет рассказывать.

Невостребованные достоинства утешаются в качестве недостатков.

Пороки существуют, чтобы жить достойно.

Вспышки гнева освещают мрак нашей заинтересованности.

Всё, что нельзя исправить, надо считать достижением.

Свои недостатки надо нести с достоинством верного выбора.

Как трудно быть вежливым, когда ты неправ!

Подарите свои часы, и вы никогда их не потеряете.

Не считайте себя умнее других при посторонних.

Как часто все, что хочется сказать в лицо, нуждается в синонимах!

Уж если говорить начистоту, то лучше – о другом.

Иногда, чтобы решиться уехать, надо остаться.

Не стоит беспокоиться заранее и уж тем более – потом.

Последнее слово произносит поступок.

Практичнее верить в лучшее, чем ждать хорошего.

Быстрее реформируется то, что было хорошо.

Мысль кажется оригинальной, если пришла не в голову.

Привычка спорить по любому поводу – проявление жизнелюбия дураков.

Люди со скромным умом уживаются с самыми разными мыслями.

Глупость, совершенная дважды, будет стремиться познать бесконечность.

Мудрость – это не ум, а способность им пользоваться.

Конец у мысли был ужасным – её пытались воплотить.

Простая человеческая глупость сближает самых разных интеллектуалов.

Здравый смысл охраняет здоровье от счастья.

Делать глупости осторожно – только портить себе удовольствие.

Идиотизм не терпит легковесности суждений.

Чтобы прослыть дураком, не обязательно кем-то руководить.

Ни в чём так не видна мудрость народов, как в противоречивости пословиц.

В красивых мыслях, как в красивых женщинах, волнует недосказанность.

Лучший способ сберечь достоинство – носить его каждый день.

Столкнувшись с жизнью, постарайтесь извиниться первым.

Все течёт, но кое-что не тонет.

Уход за душами не делает их чище, но делает ухоженнее.

До появления туалетной бумаги время так не летело!

Зря ходить по лезвию бритвы – только портить нужную вещь.

Преимущества одиночества: никого не теряешь, кроме себя самого.

Главное редко бывает срочным, а срочное – нужным.

В войнах за правду стараются обмануть не врагов, а союзников.

Отказавшись от жизненных радостей, получаешь уверенность в завтрашнем дне.

Последовав советам, мы начинаем жить чужою жизнью на свои доходы.

Не обижайтесь на погоду – не стоит портить отношения со всеми сразу.

Закономерность: вопросы молодеют, пока ответы старятся.

Надежда на встречу может испортить всякое расставание.

Керен Климовски
БАНАНОВЫЙ РАЙ

Мою любимую куклу звали Таня. Мне было пять, ей – два. Я была на три года старше, и я была ее мамой. Когда ее подарили мне, мы обе были блондинками. Мои волосы потемнели, а ее – остались такими же, не седели от пыли. Каждую неделю я мыла Таню шампунем из мыльных пузырей и зубной пасты. Я была хорошей мамой.

У Тани не было платья – я его потеряла. Ей было очень комфортно в своей пластмассовой наготе. И она никогда не простужалась. Ни разу! В отличие от меня. В отличие от меня она не капризничала и ела все, что ей предлагали: одуванчики, песок, а один раз – земляного червяка.

Я рассказывала Тане сказки. Те сказки, которые знала. О гире от часов, про девочку, которая поела невытой черешни – чтобы Таня не вздумала есть невытую черешню! Я рассказывала эти сказки Тане потому, что была хорошей мамой, и еще потому, что иногда страшно хотелось поест невытой черешни или оторвать гирю и посмотреть, что будет...

У Тани были зеленые глаза. И ямочка на каждой щеке. Папа пообещал, что у меня тоже будут ямочки. Когда вырасту. Я не хотела ждать. И, стоя у зеркала, давила на щеки указательными пальцами.

Однажды мне подарили тряпичную, роскошную Пеппи. Большую, рыжую, с улыбкой до ушей. Я ее возненавидела. Она угрожала Тане – замызганной, голой, растрепанной Тане. Я стала брать Таню с собой в постель, а Пеппи оставляла без сладкого и ставила в угол.

В мае над городом летал тополиный пух, а по нашему дому летали белые листы бумаги. Они были почти как голуби, только с морщинами синих помарок и черным шрифтом печатной машинки. Я думала: голуби, которые постарели. «Сколько рукописей», – вздыхала мама. Она ловила голубей и сажала в картонные клетки. Папа осторожно складывал в ящики книги, бережно сдувая пыль. Те книги, чьи обложки были потертыми, как изношенные воротники, книги, которые выглядели усталыми и больными, он переплетал заново. Папа был книжный врач, а у мамы летала бумага. Я боялась, что бумажные голуби вылетят в открытое окно и не вернуться.

Не только бумага летала по дому. Со свистом проносились мимо слова «ОВИР», «разрешение на выезд», «гражданство». Эти слова вихрем неслись на меня из прихожей, поднимались с водой из кухонной раковины, осыпались, как нафталин, с нашей зимней одежды...

– Там апельсины растут прямо на улицах, – сказал папа, – и нет снега. Даже зимой.

– А Тане там понравится?

– Понравится, – обещал папа, но как-то неуверенно.

– Там полным-полно бананов, – уговаривала мама, – так много, что ты сможешь их есть хоть каждый день!

Я очень любила бананы. Мама часами стояла в очередях, возвращалась с двумя-тремя бананами, а я пыталась растянуть удовольствие – ела по половинке.

– Там полно бананов...

– Родину за бананы не продают!

– Что, по-твоему, родина? – удивилась мама.

– Это там, где тебя даже кусты помнят.

Гуляя во дворе, подошла к кустам и спросила: «Вы будете меня помнить?»

Я думала, что со мной все будет хорошо, пока живу между папиными сказками и мамиными, балансируя, как на валике от дивана: прятать иголки в шкатулку аккуратно и любить круглые и гладкие мотки ниток, трогать бисер на шкатулке и перекашивать на языке это слово – «бисер». Но оказалось, что этого мало – надо еще и придумывать свои правила, соединяя мамо-папины сказки в свою – одну. Балансировать на валике от дивана всерьез, и с него перелезть на стул, оттуда на матрас – главное, не ступить на пол. Главное, не задавить солнечного зайчика на паркете, снимать пенку с молока. Главное, чтобы были зима и лето, и выполнять зимой все зимние радости, а летом летние радости и осенние – осенью, а весной нюхать воздух – это главная весенняя радость. И какой может быть мир без зимы, мир без снежков и снеговиков, без вкусных сосулек и заснеженных перчаток, мир без белых следов и рыжей шубки, без колготок, которые сушатся на батарее, и заледевшего стекла? Как может не быть зимы? Она, как и Таня, не может вдруг исчезнуть, если была, то она есть всегда. А если зимы нет, то сразу после осени весна – но как тогда нюхать воздух, чем он будет пахнуть? Как отклеивать окна, если они не были заклеены? Как ждать первой травы, первых листьев, если они никуда и не девались? Отсутствие зимы все сбивает – это против правил, это невозможно.

Мама купила самоучитель иврита. На этом языке говорят *там*. В книге было мало слов и много картинок. Слова делились на группы: фрукты, овощи, одежда, кухня... Каждый вечер мы с мамой учили новые слова. Первое слово, конечно, «банан», и я обнаружила, что на иврите оно звучит почти так же, нужно только прибавить «а». «Мазлег» – вилка, «ципит» – наволочка – сразу запомнились. Любимые слова: «тхелет» – голубой и «афарсэк» – персик. Такое заклинание, как «сезам, откройся». Перед сном я просила брата подоткнуть одеяло. Прижимала к себе Таню и шептала в темноту: «Тхелет – афарсэк, тхелет – афарсэк...»

В ночь перед отъездом я плакала, я знала, что последний раз сплю в своей кровати. Папа сказал, что в Израиле будет новая, потому что я расту. Я не хотела новую. Я гладила деревянные доски: «Прости, что я расту...» Потом снялись бананы, которые росли не на деревьях, а прямо на столах.

Утром комната выглядела пустой. Спортивная стенка, качели, белые стены и толстый матрас на полу. Наша кошка Ремедиос Прекрасная сидела на форточке, повернувшись к нам спиной... Она знала, что не едет с нами. Таню я хотела взять в самолет.

«Она будет сидеть у меня на коленях и хорошо себя вести. Мы будем смотреть из окна...» Но мама боялась, что я потеряю ее. «Мы положим Таню в синий чемодан, там простыни и наволочки – ей там будет мягко и уютно, она поспит в дороге». Я согласилась. Я была хорошей мамой.

По дороге в аэропорт мама сказала папе: «Ты ее так и не сводил на Красную площадь!»

Из самолета были видны одни облака. Хотелось открыть окно и потрогать их. Мне приснилась красная площадь. Красный тротуар, красные здания и красные фонари. По ней ходили белые лошади. И падали яблоки, как осенью на даче. А в середине стояла моя комната – пустая комната, комната, в которой может жить любая девочка, – уже не моя комната, значит, немая, безголосая. Красная площадь проглотила ее, как будто и не было. Эта площадь и была страной. И она медленно гасла, как догорающий костер.

Мы прилетели. Нас встретил друг родителей – Володя. Он подарил мне жвачку. Я такой никогда не видела. Попыталась надуть из нее пузырь, чтоб потом лопнуть. Ничего не вышло. Только папа сказал, что я его всего оплевала...

Володя повез нас к себе домой. У ворот стоял коричневый почтовый ящик – настоящий, как в кино! На него осыпались иголки с большого дерева, похожего и не похожего на сосну. Дочка Володи – Натали – взяла меня за руку и увела к себе, на второй этаж. Ей было целых одиннадцать лет! Натали что-то спрашивала, а я не понимала, но на всякий случай отвечала «кен» и «ло» – «да» и «нет» – наугад. Мне нравилось звучание этих слов и казалось, что вот я говорю на иврите. Натали разложила передо мной длинноногих барби с роскошными волосами, в бальных платьях и брючных костюмах. Она что-то спрашивала. Я подумала, она хочет знать, нравятся ли мне барби. И радостно кивала – «кен» – на каждую, даже на тех, что нравились меньше. А она сложила их в мешок и сказала: «Это твое». Единственная фраза, которую я поняла. Значит, она спрашивала, хочу ли я их! А я все забрала – как очень жадная девочка. Было ужасно стыдно, до слез.

Я не знала, куда деться, спустилась вниз. Там никого не было – взрослые сидели в саду. Зато стояло большое блюдо, до краев наполненное бананами. Мама говорила правду... Может, тут бананы и правда растут на столах?! Большие, почти оранжевые, с черноватыми полосками – мягкие, тяжелые и невесомые одновременно, теплые – нагретые солнцем. В полутемном зале с задернутыми шторами бананы светились, от них шло сияние. Банановый рай. Я ела бананы и не считала. Как очень жадная девочка. Блюдо опустело, и в зале стало совсем темно.

Я вышла в сад. Тут было светло, так ярко светло, что в глазах потемнело. В саду росло много цветов, названия которых я не знала. Я каталась туда-сюда на воротах, потом надоело. Подставила камень и залезла на забор. За забором был тоже дом и тоже сад, только там не было столько растений, а много сухой земли и большая муравьиная тропа. Над тропой на корточках сидел мальчик и следил за муравьями. Очень кудрявый. Ему было пять, как и мне, ну, может, шесть, решила я. И прыгнула с забора. Мальчик не уди-

вился, но обрадовался. Мы вместе смотрели на муравьев. Потом играли. Потом перелезли обратно и играли в саду у Володи. Я уже боялась говорить «кен» и «ло», чтобы опять не влипнуть, но мы и без слов отлично понимали друг друга. Вдруг мальчик спустил шорты и стал писать. Он полил все те растения, чьи названия я не знала. Я удивилась: во-первых, меня учили, что на улице писать нехорошо. Во-вторых, он писал совсем не так, как я, а стоя и придерживая письку одной рукой. Но я быстро поняла, что, во-первых, писать на улице нехорошо в России, потому что там холодно и можно простудиться, а тут жарко и не страшно, а во-вторых, в Израиле писают по-другому, чем в России, и нужно научиться, а то неудобно... надо попробовать! Но у меня не очень получилось – как-то даже совсем не получилось... Я подумала, что мальчику, наверно, все-таки уже шесть, и поэтому писька длиннее, и ему проще. Надо будет тренироваться, решила я, и тут меня позвали...

– Где ты была? Ты вся красная! – ужаснулась мама. – Ты ведь сгорела, не удивительно, на этом солнце!..

– Мам...

– И почему у тебя трусы мокрые?..

– Я пыталась писать, как в Израиле, но я пока не умею...

– Что???

– Мам, меня тошнит...

– Что ты ела?!

– Бананы...

– Сколько?

– Много...

– Сколько: пять? шесть?

– Может, пятнадцать...

– Господи, где ты столько...

И тут меня вырвало. И рвало, и рвало, и рвало... на блестящий плиточный пол, на коврик, на мамины туфли, на лестницу, по которой меня понесли, в ванну, которая оказалась ближе, чем унитаза...

Вечером я сидела на кровати без трусов, красная. Меня все еще мутило. Я хотела Таню. Обнять Таню, вдохнуть ее знакомый запах и заснуть. Обнять Таню, закрыть глаза и представить себе, что я опять в своей комнате, что скоро чай с вареньем, что скоро зима. Мама пошла искать. Но не нашла. Чемодан, в котором спала кукла среди простынь и наволочек, исчез... Мы даже не заметили, что он не пришел вместе с остальным багажом. Может, не дождались, может, кто-то украл («Вряд ли – кому нужны наши простыни», – сказала мама), может, по ошибке полетел не туда, а может, просто растворился, исчез в небе, рассеянном рейсом Москва – Тель-Авив...

...Меня утешали. Обещали купить новую куклу. Я плакала и яростно мотала головой. Я обещала Тане... Я была хорошей мамой... Где она, к кому попала? Может, ее нашла другая девочка и удочерила? А может, жирный грузчик выбросил ее на помойку, и ей холодно и страшно, и по ее лицу бегают крысы?.. Таня, зеленоглазая, почти лысая, любимая... Как страшно я виновата перед ней.

ДОРОГАЯ ТЕТЯ ИРАЧКА Я ХОЧУ ТЕБЯ УДЕВИТЬ МОИМ РОСКАЗОМ

КОГДА Я ПРИЕХОЛА В ИЗРАИЛЬ И ОСТАНОВИЛАСЬ НА ЭРОДРОМЕ ТАМ БЫЛО ШУМНО И БИЛО МНОГО НАРОДУ Я ЗАКРИЛА ГЛАЗА Я ЗАТКНУЛА УШИ Я НАУГАД БЕЖАЛА ЗА МАМОЙ Я ОТКРЫЛА ГЛАЗА Я УВИДЕЛА ЧТО МОЯ МАМА ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ Я БРОСАЮСЬ ДОГОНЯТЬ

У НАШЕГО ОДНОВ ЗНАКОМОГО ЕГО ЗОВУТ ВОЛОДЯ У НЕГО ЕСТЬ СВОЙ САД С ЯБЛОКАМИ ГРУШАМИ И СЛИВАМИ А КОГДА ЕДЕШ К НЕМУ ТО ПОДОРОГЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ОПЕЛЬСИНОВЫИ РОЩИ И ПАЛЬМЫ И ВООПЩЕ ИЗРАИЛЬ ВЕСЬ УСЫПАН ПАЛЬМАМИ И ФОНТАНАМИ АГОРОД ЕРУСАЛИМ И НА ИВРИТЕ ЕРУШАЛАИМ СТОИТ НА ГОРАХ А САМ ДЯДЯ ВОЛОДЯ ЧЕЛОВЕК ДОБРЫЙ И ХОРОШИЙ У НЕГО ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДОЧКА НАТАЛИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ И ДОБРАЯ ЖЕНА СЮЗЕН И ЕЩЕ У НИХ ЕСТЬ МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ АЛОН АЛОНУ 14 ЛЕТ А НАТАЛИ 12 ЛЕТ НО К СОЖОЛЕНИЮ И ЖЕНА И ДЕТИ ИЗ ОМЕРИКИ ОНИ ЗНАЮТ ИВРИТ И ОНГЛИСКИЙ НО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НЕ ТРЫДНОСТЬ Я ЗНАЮ И ОНГЛИСКИЙ И ИВРИТ ЕЩЕ У НИХ ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ ДОБРАЯ СОБАЧКА ЛЕДИ

ПЕРЕДАЙ ПРИВЕТ АНЕ И ОНТОНУ САМА Я ЖЫВА ЗДОРОВА ЖИВУ В ТЕПЛОЙ КВОРТИРЕ И У НАС МНОГО ПРОДУКТОВ
ЦЕЛУЮ ОБНИМАЮ

...я перестала плакать. Плакать можно было в той стране, а в этой – и солнце другое, и писают по-другому, и плакать лучше не надо – бесполезно. Плачут там, где все знакомо, где лежат солнечными пятнами на паркете ручные сказки, и там от плача теплое ощущение в животе и сладко. А в бессказочной стране – надо стиснуть зубы, надо быть смелой. Я – взрослая, я любила Таню и потеряла ее. Я думала, Таня не может исчезнуть, ее не может не быть, и я ошиблась. Значит, не важно, все не важно, потому что тогда и меня может не быть, то есть может не быть *ничего*. Прямо у меня под ногами – даже не щель, а маленькая щелочка, откуда дует холод и может заползти белое ничто, то ничто, от которого не спасут никакие сказки – они остались *там*. Может, здесь свои сказки, может, я их найду, но когда это еще будет, кто знает, и поэтому пока – молчать. Я оплакала Таню, а теперь похороню в молчании. Она – там же, где моя старая кровать и пустая комната, на красной площади, где цокают лошади по мостовой и падают яблоки, они падают прямо на Таню, она лежит под ними, ее уже не видно, падают яблоки, падают дождь и снег, все глубже Таня, все дальше – не отыскать, не найти красную площадь и не попрощаться, уже не успеть попрощаться...

июль, 2012

Хава-Броха Корзакова
«СЧАСТЬЕ» УЖЕ ТЯЖЕЛО
ПИСАТЬ БЕЗ КАВЫЧЕК

Павлу Лиону

* * *

Каких-то пару слов черкнул – и всё забилося,
Что билось разве что об стенку головой,
Каких-то пара слов – и я уже забылась,
Верней, опомнилась. И снова вижу свой
Привычный Град Любви, зверинцы, и фонтаны
Вина, чернил и слёз, и на песке дворца...
Все любящие здесь, а вот любимых страны
Холодные должны отдать нам наконец.

* * *

Во сне ты мой, дружок, не более, чем въявь,
При свете дня, свечи бессонной ночи трезвой,
Да просто разума, я дальше мыслью резвой,
Чем спутанной мечтой, упархивала вплавь.
Мечта ведь неизменна – куда ее ни правь,
Всё в койку норовит, кипит забытой джезвой,
А толку-то? В лесу моём хоть до небес вой –
Напомнят разве что: «Надежду-то оставь!»
Ну, ладно, у мечты отбили страсть к полётам,
А с логикой моей хваленой слышно что там?
Что силлогизм поет? Я истины ищу!
О, тот на высоте! Ведь, рассуждая здраво,
И я тебе нужна! Я изучала право
И сладкий узуфрукт навряд ли упущу.

* * *

Я не ревную, не ревную,
Но я завидую волнам,
Бегущим лечь к его штанам...
Хотя поспрашивай иную –
И не спешит. А я лину
Десятый свиток... Где уж нам!
Так хочется по временам,
Не скрипнув, дверцу потайную

Открыть, и хоть исподтишка
Взглянуть, насколько велика
Та череда, и кто последний,
Ведь я, хоть и без номерка,
Но не отчаялась пока,
И волны пережду в передней.

* * *

Ночевала тучка – не проспалась
Ватно-серым телом на горе,
Мне бы так, чтоб не скрывать усталость
В безнадежном этом декабре.
А придется мчаться и дожидаться,
Но хоть не сегодня бы, потом...
Холодеют тучкина водица
И мои слова, а всё о том.

* * *

Одинокая сигарета, которая «вместо»,
А отнюдь не «после», и даже, боюсь, не «до», –
Чего ты хотела? Сетовать-то неуместно,
Неуловимого Джо не желаешь? Вот те Годо.
И ждать по году – ещё не худшая участь.
Вы знакомы? На «ты»? Целует при встрече? Ну?
А долгой ночью, разлукой с солнцем намучась,
Лови отраженный свет и вой на луну.

* * *

Слово «люблю» подходить здесь давно перестало
То есть, конечно, люблю, это он ведь и есть,
За незнакомым лицом я его угадала
Или ошиблась, но поздно уже предпочесть
Что бы то ни было, проще оно или ближе,
Лучше-то нету, и весь мой балованный сказ.
«Не возжелай компромисса». Перловка пожиже –
Да, но ведь жемчуг не сварить на жалкий заказ.

* * *

Да бросьте, ребята, я выгляжу, как говно,
Иначе откуда такая непруха в нижних?
А горе-карьера в горних – прям как в кино,
Карусель из пятых колес, тир для третьих лишних,

В общем, ярмарка, Стан Еуды* нестройный, базар,
Распродажа излишков. Не купят, а сбор высокий.
И свои таланты засунь себе в. Не ухватишь за,
В пустых кустах растянув нецепкие строки.

* Маханэ Еуда – рынок в Иерусалиме.

* * *

Конечно, мой друг, не к спеху, подумаешь – жизнь проходит,
Подумаешь – белым прядям давно потеряли счёт...
Сразу и чёт, и нечет у судьбы не в заводе,
Штучных – по одиночке, фишку она сечёт.

Только ошибка вышла – я-то с тобой всечасно,
А не рукой, так сердцем, – может, и не стряхнут.
Видно, мгновенье встречи было и впрямь прекрасно,
Вот и остановилось, даже привыкло тут.

* * *

Мне надоело всё время «входить в положение» –
Этак ещё залечу, представляешь, конфуз.
В жажде ответного жеста – хотя бы движение,
Просьбы о байте, о бейте – вот это искус.

Тысячу байтов по золотому динару
Я бы купила – да нет их, ещё не пора.
Паданцы будут бесплатно, тряси хоть чинару, –
Время! За время вся тяжба, не легче пера.

* * *

«Порядочных» надёжней убивать.
Что с нами делать, чтобы было честно, –
Решат ли в нашу пользу, неизвестно,
А между тем уж выстыла кровать.
Нечестно – это нас мариновать,
Но дата с крышки им неинтересна,
«Быть иль не быть» – старо и неуместно,
Их мучает «давать иль не давать».
Как будет лучше мне, я и решаю,
Дай Бог, и в этот раз не оплошаю,
И мы не потеряем высоты.
Склонись ко мне – не так уж это низко,
Уж лучше «непорядочный», да близко,
Чем ангел, да в раю. Рай – там, где ты.

* * *

Я зависима, к счастью, — дети, страна, работа,
Они этим часто пользуются, но никогда во зло.
Праздник любимой зависимости — свобода любить кого-то,
Кого не то чтобы выбрала, а просто с ним повезло.
Но как же я буду праздновать, если рождённый в Нисане
От меня, от нас и от нашего в Ияре так же далёк?
Продолжим считать снопы, они не рассчитаются сами,
Самое время гореть — авось заглянет на уголёк.

* * *

Иногда чудовищно бесит «всё понимать»,
У меня и так-то претензий совсем немного —
Всё, но можно и меньше. И, вашу мать,
Зачем эти поддавки? Нас и так, потрогай, —
Всего-то двое, и времени на двоих —
Всего ничего, и то подусохло к маю,
Часы в четыре руки, и не сверишь их...
Давай не играть. Я действительно понимаю.

* * *

Когда б я знала — ладно, не когда,
Но хоть чего мне ждать... В том вся и штука,
Что это неизвестно. Лженаука,
Не *ars amandi* — игры в «нет» и «да,
Держи карман». Но раз я так горда,
То лучше на бобах пересажу-ка,
Добавив и гороху. Станешь бука,
Когда вот так лет шесть — одна звезда.
Да, я бы предпочла узнать, и срочно,
Что есть надежда, — а ведь это точно,
Я думала про это, и давно.
Молчишь, вот видишь. Правда, мне виднее?
Но долго не молчи, ведь сатанея
Мне ангелом не заглянуть в окно.

* * *

Ты только дышишь на стекло,
И это теплое дыхание —
Твое. На вашем расстоянии
Его бы просто не дошло,
И стылым даже. Тяжело —
И что? Не в этом мирозданье —
Избранника переизбрание,
А может, даже повезло:

Да, смотришь снизу вверх и дышишь
Сама себе на руки, выше ж
Холодный вакуум и свет.
Зато устойчива граница
И моносказка может длиться,
Двоих не вынес бы рассвет.

* * *

Кочанчик полумягких лепестков,
Манящих сладковатым ароматом,
Покрыт росой утренней – и матом,
Не «был таков», а показал, каков.
Вот и играй теперь без дураков,
С болваном проще, а теперь – куда там!
Кого обдуришь, со своим-то братом?
До посинения чулок толков
И даже в снах твоих неколебим,
А главное, не менее любим,
Чем если бы... Да черт с ним, с этим «если»!
Есть только «там», и я «тогда» живу,
Где и когда он – вот он, наяву,
В стране напротив, или даже в кресле.

* * *

Любой имеет право на посыл,
Но и любая – не кончать от счастья
Быть посланной. Спасибо за участие –
Я предпочла б уступку. Ты просил
Не подождать, а из последних сил
Зачем-то вёдрый вид хранить в ненастье, –
На собственные чувства разве класть я
Привыкла хрен чужой? На вынос – ил,
А рыбка – в Иппокрене чистой снова.
Всяк требует чего-нибудь другого,
А щиплет виноград из «Месневи».
Вот так и я – вымучиваю сказки,
А хочется, как всем, любви и ласки.
Любви и ласки. Можно без любви.

* * *

Я не хочу, чтоб зима пришла, но зима пришла,
Гуще дым сигарет – окно не открыть,
Надо одеться, как эта мысль ни пошла,
Дни и тучи бегут, утешает прыть.

Я не хочу, чтоб уехал ты, но уехал ты,
Нет ни меня с тобой, ни тебя со мной,
Всё пока бесполезно, кроме мечты
О возвращенье твоём и тепле весной.

* * *

Прекрасный рыцарь, я тебе не дама,
Я тоже рыцарь, только не в штанах,
И то смотря когда. Последний нах,
Кто чаёт во мне дамскости упрямо,
Опричь детей. И то – я разве мама?
Скорее папа – вечно в ебеньях,
Придя с работы, падаю в сеньях,
А до детей, до кухни, до бедлама
Доходит только тень. И тени той,
Очерченной не брэнной красотой,
А вечной книжной пылью, нет приюта, –
В лесу из миртов бегают уже,
Как есть, в дешёвом ветхом неглиже,
За тенью в тени лат. Сними хоть тут-то...

* * *

Это и есть непарной любви отвратительный признак:
Он для тебя – во плоти, а ты для него – как призрак,
Ибо преследуешь ты, а он является, если
Этот эпос можно ещё разделить на песни.
У вас тут, может быть, шаткий мир, но точно не дружба,
Если то, что нужно одной, другому не нужно.
Лучше тепло, чем холод, но жару тепло – не пара,
Не закипит, так стухнет, лучше б уж выкипало.

* * *

Паучиха семиногая прошла,
Невезучая, видать, как ни ушла.
Неудачно закусила мужиком,
То есть, я прошу прощенья, пауком?
Или детки, разбегаясь из гнезда,
Отдавили, и ищи теперь суда?
Паучиха семиногая моя,
Друг не друг, а тоже всё-таки семья...
Мне бы яду, то есть всё-таки тебе,
Мне вот так вот, чтобы враз, не по судьбе.

* * *

Эй, алло, цигель-цигель, ау, ку-ку!
 Что-то мне воркуется нынче хрипло.
 Я бы ещё надрала кожуры в строку,
 Но придётся по памяти, раз уж влипла.
 Новый куплет напою – ты молчишь рефрен,
 «Счастье» уже тяжело писать без кавычек,
 В твоём блокноте на «ха» вместо «Хава» – «Хрен!»
 И зеркало вместо воска внутри табличек.

* * *

Афродита, наверное, ангел, – не спорит с Единым
 (Вправо-влево – и бух, да ещё Люцифером слыви),
 Значит, то, что, сжигая, не светит пока впереди нам, –
 Тоже воля Его, тоже дело в диване любви.
 По Платону, их две, а по-моему, три, и Небесной
 Надоело возиться, Земная со мной не в ладу,
 А вот третья взялась, так что мы под крылом нелюбезной
 Афродиты чистилища – кажется, нет их в аду.
 То есть я – под крылом, всё же ближе к узорному трону,
 Ну, а ты и не рад бы, да только теперь не взыщи,
 Это выбор – отделать мне или уделать корону,
 С поэтессами вечно, как *голдене паве*^{*}, в ощиц
 Попадает, кто в ритм не попал этих цыпок и кисок,
 Книжных лёгких и прочего ливера, и поделом:
 Из-за крупных фигур горизонт получается низок,
 Не имеешь манеры – уйдёшь за известный шелом.

* *голдене паве (идиш)* – золотой павлин.

ИЗ ЕВРЕЙСКО-ПЕРСИДСКОГО

«Интим не предлагать, но не терять надежды», –
 Узнаешь сразу речь невежи ли, невежды.
 Мне тёмн плоти пост, а полная луна
 Души телесный жар нам осветить должна.

* * *

Ты говоришь, что нет такого – «мы».
 Ну, если «мы» – двуспинно и безлично,
 Конечно, и не нужно. Нелогично
 Желать того, что не спасёт от тьмы

Два имени. Не трогает умы
Двойная ласка, разве что публично,
Но это, я согласна, неприлично
И просто некрасиво – две кормы...
Уж лучше ростры на колонну эту,
Открытую уже не полусвету,
А сфере всей и смыслов, и времён.
Тебя, возможно, нет, тебе виднее,
Но это «мы» уже «не нас» прочнее,
Хотя мой край вдвойне обременён.

* * *

Не отпустило. Нет – не отпустил,
А я сегодня вырваться пыталась,
Точнее, сын пытал. Такая малость –
Возьми да разлюби его, big deal.
Хороший мальчик. И ведь не дебил, –
Жалеет маму, и ему досталось,
Ведь я нечасто с нами. Только жалость
Здесь неточна. Да сам-то он любил?
Наверное, всегда не безнадёжно,
И девочек понять, конечно, можно, –
Красавец, чтоб не сглазить, тьфу-тьфу-тьфу.
Но молод он ещё, не понимает, –
Любовь-то безнадёжной не бывает,
Люблю – значит, надеюсь. На фу-фу.

* * *

Я не хочу свободы. Ни к чему.
Какая, к вечной матери, свобода?
Я счастлива почти четыре года –
Считая встречи, я не отниму
Разлук, пусть будут, и не потому,
Что образ твой – со мной, такого рода
Явления понятны, с небосвода
Не снимешь образ солнца, и во тьму
Пустую возвращаясь каждый вечер,
Не потому, что в каждой нашей встрече
Довольно счастья на год (кстати, да), –
В цепях своих я вижу украшение
И даже орден. Это не решение,
Но мы и не решаем никогда.

Лина Тородецкая

ДОЖДЬ

ЯФА

Яфа убирает. Быстро-быстро. Тихо-тихо. Чтобы никому не мешать. Повернулась направо – на полу коричневеют водянистые пятна. Это Ронен поднялся по лестнице с чашкой в полной задумчивости и расплескал кофе. Не заметил, конечно. Повернулась налево – одна из девочек обронила бумаги из папки. Веером рассыпались по полу. Спешила, наверное. Яфа пятна вытерла, бумаги подняла. Аккуратно сложила стопочкой на столе.

«Девочке», самой младшей в Конторе, уже под сорок. Орит. Главный бухгалтер. Шустрая очень. И надувается, аж пыхтит. И почему-то не нравится ей, как Яфа убирает. А у Яфы дочь Сигаль такого возраста, старшая ее. Двух дочек Бог подарил, а потом и сынишку – Ави. Хорошие дети. Любят к матери приходить. Перед каждой субботой стоит Яфа на кухне и варит. Потому что кто-то из них обязательно на шабат придет. Яфа и рыбу в соусе храйме приготовит, и салат с бургулем, и шницелей с собой им на неделю нажарит. Дочки готовить не любят.

Сама виновата, не приучила...

А все остальное время Яфа убирает. Сорок лет уже. Или даже больше. Так что и вспомнить особенно нечего. Мыла и мыла полы. Детей рожала. И опять мыла. Сегодня чего уж задумываться, почему так жизнь прожила. Да и некогда задумываться...

На втором этаже давно пора помыть окна. Секретарша Илана косится. Прошла рядом с Яфой, посмотрела на сетки от комаров, провела пальцем. *Пыль...* Непорядок это. Да что, Яфа сама не видит? Нужно, все нужно сделать за четыре часа. Помыть полы, пропылесосить дорожки в кабинете босса до его прихода, помыть гору посуды в раковине. Кофе-чай все пьют, а стаканы оставляют немытыми. Назавтра – для Яфы.

Вот она и бросается в бой, как приходит на работу. Первым делом, конечно, мусор вчерашний. Огромный полиэтиленовый мешок. Тяжелый, как гири, которые ее Ави поднимал. Молодой был, мускулы качал. А сейчас разошелся с женой, алименты платит на двоих. Ползарплаты уходит на сына и дочку, половина – на съем квартиры с какой-то новой принцессой, а сам днем столуется у матери. Всегда голодный... Вот и бежит Яфа с работы скорей, чтобы обед доварить. С раннего утра все уже приготовлено, только на огонь поставить.

Не привыкла она детей вчерашней едой кормить.

...А мешок все-таки тяжелый.

На днях даже не смогла поднять. Волочила его до мусорного контейнера. А тут битое стекло. Кто его знает, откуда эта напасть

на ее дороге. Наверное, проверяют Яфу на выносливость. Высшие силы, наверное... И все рассыпалось! Грязь посреди двора, молочные пакеты, еды остатки, бумаги обрывки, кожура от огурцов, скорлупки от яиц – это девочки на обед салат себе готовят... С трудом Яфа успела все собрать. В новый мешок перекинуть. Вздохнуть глубоко. А тут босс заехал во двор на машине лакированной. И сам весь светится, улыбается. Даже на Яфу взглянул. А так вообще ее не замечает. «Свари, дружок, быстро черный кофе, – говорит ей. – Не забудь добавить своих специй. У меня встреча. Хочу удивить зарубежных гостей».

Ну, Яфа бросилась со всех ног варить кофе. Приправу эту она еще от свекрови знает, а та – от своей бабки. Так весь род их Свисса кофе в Марокко варил. Кто ж думал, что здесь, в Конторе, его полюбят. Теперь едет Яфа на арабский рынок, покупает семена и дома их перемалывает. Можно, конечно, в супере кофе с готовой приправой купить. Кардамон называется. Но не то, совершенно не то. Не пахнет домом.

А каким домом, Яфа не задумывается.

...Ничего от того дома в Микнесе она не помнит. Пять лет ей было, когда собрали родители вещи, взяли Яфу с младшей сестричкой и уехали из Марокко. Поехали бы сразу в Израиль... Так нет, отправились во Францию – счастья искать. Все вокруг говорили – богатая страна... Страна Франция, может, и богатая, только бедным везде плохо.... Шил отец, мужским портным был в Марокко. А во Франции своих портных хватало. Кто ж ему в недобрый час посоветовал на водителя учиться? Вот и выучился, хотел в таксопарк устроиться. И машину на все сэкономленные деньги купил. Яфе тогда уже семь было. Приехал он на своем такси, погудел матери: «Поехали, Париж тебе покажу». Мать руки вытерла, кухонный передник скинула. Даже волосы взбила красиво. Париж все-таки, хоть Парижа она и не видала толком. Все время гладила чужие рубашки. Яфе велела за младшей сестричкой смотреть. «Через час вернемся», – пообещала.

Ну, Яфа булку сладкую для Кэти в молочке размочила, даже трусики мокрые ей поменяла. И играла с ней, сказки рассказывала, пока Кэти не уснула. И стемнело вокруг. А родители так и не вернулись...

«Не знаешь броду – не лезь в воду», – это Яфе однажды сказала русская соседка. Так и отец, на какую дорогу его занесло, где он перевернулся вместе с мамой... Кто же тогда семилетней Яфе рассказывал?

А потом приехала тетка Адина и забрала девочек в Израиль. А как у той Адины ей жилось, лучше не вспоминать...

Спина... Господи, сколько лет вот так она живет, согнувшись... Проверяет, чисто ли пол вымыт. Но нельзя на пенсию. Не проживут они без ее подработок. Когда Цахи уволили с работы, они сняли все его пенсионные деньги. Как раз дочка замуж собралась. Да и холодильник заменить нужно было. И казалось, что все еще впереди. Заработают... А тут у Цахи инсульт. Сперва не поняли, что это. Почему он буквы в словах путает, даже смешно было, и

вдруг – рука повисла, и взгляд... Яфа и сейчас помнит взгляд мужа... Стекло, черное холодное стекло. Как она испугалась! Ничего не помнит, ни как скорая приехала, ни как с ним в больницу добиралась. Только помнит, что всю дорогу его руку держала. Чтобы ей жизнь возвратить... Ничего больше не хотела, только чтобы жил он.

Да... пришел в себя Цахи, спасибо Всевышнему. И речь вернулась, и рука двигается. Но работать столяром теперь не может. И сидит Цахи дома, на пособии. Выходит во двор, там полно безработных бездельников, вот он с ними в шеш-беш или в дамки играет.

Хорошо еще не на деньги.

Или вслед молоденьким девочкам облизывается. Конечно, будешь облизываться, если они одетая забывают.

Рваные шорты и майки без бретелек.

А Яфа крутится, так придется всю свою жизнь убирать. Другой работе ведь не научилась. Сперва убирала квартиры, и какие квартиры попадались богатые! Ей даже ключи доверяли. Гордилась этим Яфа, убирала на совесть. А потом – что за рок злой.... Одна хозяйка умерла, и не старая совсем, другая – в дом престарелых с мужем жить перешла, а третья – к дочери переехала. Конечно, нашла бы она себе новые дома для уборок. Людям деньги не жалко, людям время жалко и руки свои с маникюром портить. Но сил у Яфы все меньше и меньше. Износилась, наверное. А тут ей контора эта подвернулось. На четыре часа. Сказали, работа не тяжелая, поддерживать чистоту...

Вот она ее и поддерживает.

Убирает Яфа, а сама в окно посматривает. Тучи! Успеет ли добраться домой раньше чем дождь начнется? Дорога домой – немалая. Автобусом – по промзоне, а потом на маршрутку. Если повезет, уговорит водителя ближе к дому подвезти, а если упрямый или пассажиры не согласны, приходится от остановки два с половиной квартала идти. В дождь, в хамсин... А что делать...

Сегодня она спешит. Нужно Шуки, внука, из садика забрать. Мазаль, младшая ее, не успевает. Учится на курсах бухгалтеров. Хоть одна в семье будет чистую образованную работу делать. Не мыть полы, как мать, или посуду в ресторане, как Сигаль.

Вот так лучше! Сетки в окнах вымыты, прозрачные капельки светятся на них. Даже Орит не придерется. Вазы с цветами в комнате босса политы, картины в коридорах протерты. А что интересно, никто этого не заметит. Замечают только, когда не убрано. Прошлой зимой заболела Яфа воспалением легких, дома лежала. Так сколько к ней звонили! Когда Яфа просто простужена, она на работу ходит. Их в Конторе много – чертежников, инженеров, техников, а Яфа – одна. Болеть нельзя. Иначе босс, сказала Илана, срывает злость на других сотрудниках.

Он грязь не любит.

А когда чисто, то все хорошо. И незаметно вроде. Но Яфе так и лучше, что она незаметна. Не любит она выделяться. И никогда не

любила. Даже когда молодой была и парни все пытались ухаживать. «Яфа́, яфа́́», – кричали ей вслед. Да она и сама в зеркало видела, что неплоха собой. Только когда ей было в зеркало смотреть? Восемь лет в школе отучилась с горем пополам, а летом, перед девятым классом, тетка Адина ее уже работать пристроила, утром – малыша нянчить, а вечером – за старушкой ухаживать. А потом – уже и полы стала мыть, много разных полов...

...Вот бежит по лестницам чертежница Ольга с рулоном под мышкой и что-то громко шепчет по-русски в мобильник. Яфа все равно не понимает. Но слова звучат так смешно... Только смеяться некогда. Да и не с кем. Все заняты своими делами. Ронен из технического отдела раздает приглашения. Женится, наконец. Давно пора! Увидел Яфу, остановился, озадаченно почесал затылок. Видно, не решил еще – звать ее на свадьбу или нет. А Илана зашла в бухгалтерию, показывает девочкам новый маникюр, с камнями цветными и иероглифами какими-то. Девочки восторгаются. А ногти-то полированные и длинные. Не ее это ногти, Яфа знает. Свои Илана давно сгрызла. Но красиво. Илана даже научилась ими печатать, клацает по клавиатуре, словно барабанную дробь отбивает.

А Яфа всего два раза в жизни у маникюрши была. Когда Сигаль замуж выходила и когда Ави женился. А Мазаль... что Мазаль, нет у нее счастья. Так и растит одна сынишку.

Да Яфа ей помогает...

Еще нужно убрать в архиве, принести туалетную бумагу со склада, почистить чайник от накипи, чтобы девочки не сердились, приготовить им перед уходом кофе, вкус которого напоминает ей Дом. А бутерброд свой Яфа так и не успела съесть. Но это не страшно. Можно и в автобусе.

Главное, до дождя домой вернуться...

УТРО

Дождь этим утром был вовсе неожиданным. Кто бы мог подумать, что он вернется в конце апреля, когда уже прошло его время, и вернется с полными ведрами воды, до того холодной, словно нет впереди лета. Нет, это не весенний дождик, который «перестань, мы поедем на фонтань», – в радуге солнечных бликов. Это возвращение в зиму, в бесконечность коротких дней, чередующихся с бесконечно длинными вечерами, которые Дана часто проводила одна. Ну кому он нужен, этот непрекращающийся дождь, в весеннее субботнее утро...

А мама улыбается, конечно, вот еще немного благословенной влаги для наших полей и лугов. Этот дождь, заявляет она, подарок природы, уже когда его никто не ждал и даже в синагогах перестали молиться о дожде.

* яфа́ (*иврит*) – красивая.

Мама всегда все знает и дожди любит.

А Дана хотела сегодня проснуться и увидеть в это утро солнце: огромное южное солнце, на которое можно смотреть, только зажмурившись и непременно улыбаясь ему. Она хотела вскочить с постели и подбежать к окну, распахнув шторы с большими золотистыми звездами, порядком надоевшие ей за эту зиму. И обрадоваться, что солнце уже здесь, с ней – вот оно, пожалуйста, расцвело веснушками на ромашках, которые посадил на балконе папа, когда думал, что холода кончились.

Но вчера днем небо натянуло серую майку с пятнами облаков, а к ночи пошел глупенький дождик, который к утру совершенно окреп и не думает расставаться с землей, поливая ее очередной порцией, припасенной, наверное, на следующую зиму. Бьет по подоконнику, булькает в приготовленных собой же лужах, превращая мир в один огромный серый и мокрый шар, в центре которого жалобно мяукает голодный промокший кот, грохочет блестящий от воды проезжающий грузовик и плывет в луже под окном кем-то забытый мяч.

И стоит Дана у окна и ждет Весны, которую ей обещали на сегодня, день ее двенадцатилетия, ее бат-мицвы. Но дождю не видно конца, и Дана начинает привыкать к нему, как к неизбежности. Привыкать к серому утру и еще к тому, что уже несколько дней противно ноет живот, а Юваль из соседнего класса вчера так внимательно изучал эмблему на ее школьной футболке, что хотелось прикрыть ее вместе с маленькими бугорками, недавно обнаруженными Даной во время купания. Но это было любопытно – поймать взгляд Юваля и быстро отвернуться, чтобы не заметил, что щеки ее горячи.

И в конце концов, какое ей дело до этого нудного дождя. Главное, что мама сегодня дома и улыбается ей. Несмотря на то, что теперь мама больше лежит, и папа часто возит ее в больницу, и в свой лифчик она кладет маленькие подушечки, а на голове у нее почти нет волос.

Но мама улыбается ей, значит, дождь этот – не навсегда.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Алла Широнина *ВСЁ НАШЕ ЗДЕСЬ*

КТО ЕГО ЗНАЕТ

Рыжую, рыжую, кудри по плечи,
встретила женщину в куртке овечьей,
с гордой осанкой, правильной речью,
всё понимает – глаза человечьи.

О как прекрасны странные встречи!

Нового счастья мне пожелала.
«Как, разве скоро?» – я отвечала.

Смотрим друг в друга, метель замедляет.
«Кто его знает», – она отвечает.

Кто его знает... Кто его знает.

* * *

Щипцами толкнёшь головёшку в камине –
погасшее пламя легко разгорится.
Так в область забвенья упавшее имя
нечаянно вспомнишь – и всё повторится.

* * *

В долину тёмных сил,
ристалище теней
сошла с небес любовь.
Но что им было в ней?!

Смертельная тоска
ей губы обметала,
крылами хлопал сыч,
гиена хохотала;
и где любовь
босой
ногой своей ступила,
вскрывалась и текла
забытая могила.

* * *

Узнаем не теперь.
Узнаем слишком поздно.
Сквозит. Закроем дверь
и будем спать не розно.

* * *

Вновь сердца кулачок
 уверенно и ловко
схватил моей любви
 змеиную головку.
Теперь – любви конец.
 Теперь, змея, молчок!
Но алой лентой вдруг
 обвился язычок.

Опять – сто двадцать пять!
В смятении серной прядать,
лукавые слова бессвязно бормотать,
опять писать стихи
 и в сумочку их прятать.
Кому они нужны? Их некому читать!

Снегуркой вожделеть к весёлому апрелю,
пока не стаял снег, не обнажилась прель.
Пока еще лицом невинности умею
кого-то приманить, как ведьму –
 Кристабель

Заухает сова, завоют псы в округе,
по листьям зашуршит нездешняя тоска,
не разглядит апрель
 змеиных глаз подруги,
не избежит её
 змеиного броска.

Беги, пока вином не выплеснулась хмара,
пока под сапожком
 не треснуло стекло!
Но нет, идёшь ко мне.
 Теперь нас будет пара,
стремящихся взойти
 туда, куда влекло.

Увидишь смерть любви. Закат её пожара.
К земле тебя прижмёт,
 и ты землёй падёшь.
Со змейкой в кулачке,
 погибшей от удара,
укроется травой распластанная ложь.

И глянут две груди глазницами пустыми.
Глазами мертвеца, узревшего пустыню.

* * *

М. Книжнику

Июльские липы роняют рефлекс
на ткань мимолётного лета.
Оплавлены солнцем страницы поэз,
оплавлено сердце поэта.
Из памяти он ароматы достал,
черты дорогие припомнил,
тоску затворил, и любовь настоял,
и нежностью душу наполнил.
Теперь он забрало готов приподнять,
как рыцарь, уставший от битвы.
Он хочет надеяться, смеет мечтать.
Он ждёт исполненья молитвы.
Небесная пряжа капризно впрядёт
в судьбу его нить непростую:
– Пускай себе любит, мечтает и ждёт
впустую... впустую... впустую.

* * *

В сердце демона пустила,
думала, каприз минутный,
а теперь – изгнать не в силах:
он смешной и бесприютный.
Все ли демоны так милы?
Никогда их не встречала.
Никого так не любила.
Ни по ком так не скучала.

* * *

Райской птицы осыпались перья,
и не слышно волшебного пенья.
Птица больше не может летать.
Отворите защёлки и дверцы,
подтолкните притихшее сердце.
Кровь густеет, и нечем дышать.
Как легко возвратиться в начало,
пасть с высот и на досках причала
клюв беззвучный в тоске разевать.
Неотъёмное право природы
жить, не требуя прав и свободы,
и, не жалуясь, умирать.

МОЛИТВА

Разве жалко тебе, Господи,
если птичка запоёт,
над живыми,
на погосте ли
расшеперивая рот?
Не оставь меня, по благости,
жить сипухой домовой,
хоть мешки мои подглазные
и роднят меня с совой
Охрани ты птицу певчую
и прозрачную стеной
стань под хищным когтем кречета,
устремлённого за мной.
Чтоб несла меня без роздыха
вдохновенная струя
Твоего святого воздуха,
милость Божия Твоя.

* * *

Благодарю, Творец,
за мужа и детей,
за жизнь без пошлых драм,
кривлянья и затей,
за кофе по утрам,
прожаренные гренки,
за мой простецкий нрав
и гордые коленки,
Благодарю Тебя
за тех, кого люблю,
за тех, кто мною жил,
кого недолюбила,
за впечатления, которые ловлю,
как Прозерпина
бабочек ловила.
За то, что Ты
порой
со мною говорил
высокой тишиной,
мерцанием светил,
за двадцать долгих лет,
положенных молчать,
за то, что снял запрет
и с губ сорвал печать.

Как сиротам родную мать
ни обрести, ни потерять,
так нам,
 кочующим и бедным,
не слиться с племенем оседлым,
пристанища не отыскать.
Из чрева выжатым последом
молва бежит за нами следом,
но мы не разбираем слов.
Куда идём – там нет следов
и никому другим неведом
язык наш льдистый, как слюда.
Мы позабыли города,
в богов играют наши дети,
и наши псы не знают плети,
как наши женщины – стыда.

* * *

Вы слышите посвист?
Рустэм подзывает коня
иль ветер высокой воды
прокатился по степи?
Приснились матросу
какие-то ржавые цепи.
Кочевнику – солнце
какого-то чёрного дня.

Каринэ Арутюнова
из цикла «Чужая линия»

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В Судный день моя бабушка поднималась ни свет ни заря.

Собственно, она всегда просыпалась рано, но пробуждение пробуждению рознь.

В этот день она не суежилась на кухне и не гремела посудой.

Уходила очень рано и, как выяснилось позже, ехала через весь город чуть ли не двумя трамваями – и это под холодным проливным дождем, а дождь, как неперенный атрибут скорби, сопровождал ее до самой синагоги.

В общем, бабушка моя в этот день являла собой совершенный образ скорбящего иудея – бледная, в мокром плаще и с мокрыми щеками, она долго разматывала платок в прихожей и долго вздыхала. Я помню непонятное и немного пугающее слово «берковцы» и смешное – «синагога».

Я мало что понимала.

Дети вообще воспринимают события и явления как некую данность – да, такой вот день, и положено в этот день грустить, ездить через весь город двумя трамваями и мокнуть под дождем.

И все это – заметьте! – без маковой росинки во рту.

Я понятия не имела о скрепляемом невидимой подписью сговора с Всевышним. Да и бабушка явно не торопилась посвящать меня в тонкости обряда. Во-первых, ребенок, чтоб он был здоров, и так все время болеет. То горло, то уши, то не про нас будь сказано.

Ребенок еще настрадается.

Тем более школа на носу. В которой, как известно, о Судном дне особо не распространялись.

Моя бабушка в советской школе не училась. Разве что закончила несколько классов хедера. И думаю, она прекрасно понимала, что ребенку (без пяти минут советскому школьнику, октябреньку и пионеру) беседы с Ним явно ни к чему.

Сама же бабушка общалась с Всевышним регулярно. Она вела долгие, изнурительные и сладкие беседы. Как правило, на нашей крохотной кухне, за столом.

– Ты слышишь меня, готеню?

Подозреваю, «готеню» она поверяла тайны и сомнения, которые не доверила бы лучшей из подруг. Хотя какие могут быть подруги?

На лавочке под «второй парадной» – досиживающие свой век старушки в платках, все как одна чужие, чужого роду-племени... Их тоже занесло в эти дворы из прежних жизней – из пригородов, сел и местечек.

Пожалуй, это их явно сближало.

Подол остался далеко, в другой жизни, до которой добираться надо было двумя трамваями и еще черт знает сколько идти под проливным дождем.

Конечно, можно было добраться на метро – гораздо быстрее!

Но что-то мешало моей бабушке ступить на лесенку эскалатора, и она обувала нарядные, немного тесные балетки (они ей жали в пальцах) и практически ненадеванное синее платье с пуговками на груди и шла к трамвайной остановке, покупала талончик и занимала место у окна.

Иногда я думаю, сколько надо проехать, чтобы вернуться в город своего детства? Сколько раз трамвай должен выйти из депо и сколько кругов отмотать от района, застроенного типовыми пятиэтажками?

Зато «готеню» всегда был рядом, всегда начеку. К нему не нужно было ехать в переполненном трамвае.

– Как тебе это нравится, готеню? – с горестной иронией вопрошала бабушка и застывала, видимо, в ожидании ответа.

Иногда, впрочем, она отвечала, не мешкая, за «Него» и удовлетворенно покачивала головой.

У нее, чтоб не сглазить, все хорошо...

ДОМ АРИАДНЫ

– А знаешь, у меня теперь новая жена и новый ребенок, – он взмахнул рукой в сторону высокой молодой женщины, укачивающей младенца. – Мальчик, – горделиво добавил он.

– А старые дети? Что со старыми? – встрепелась я, вообразив себе двух уцененных девочек пяти и девяти лет, стоящих на пороге дома в Амишаве.

Нюма был моим первым соседом. Первым ивритоговорящим соседом, коверкающим довольно забавно русские слова. Выходец из Бессарабии, jovиальный здоровяк с маленькой до синевы выбритой головой, он снимал квартиру в доме того же Нури, только с противоположной стороны. Как оказалось позже, счета за газ и воду я оплачивала за хозяина и Нюму – честноглазого вышибалу, женатого на тихой женщине в шлепанцах и растянутой хлопчатобумажной майке. Женщина смотрела мыльные оперы и воспитывала двух замечательных девочек – Вики и Шени.

– А что с Вики? – повторила я. С тонконогой, стриженной под мальчика, впечатлительной и отзывчивой.

– Все хорошо, все у них хорошо, – торопливо закивал Нюма, приглашая полюбоваться «новым ребенком».

Тем летом в нашей жизни появилась юркая Ариадна. Она свила себе уютное гнездышко в разошедшей стене и начинала шуршать под утро, видимо, обнадеженная внезапной и обманчивой прохладой. Иногда она буянила под мойкой и деловито пробегала вдоль плинтуса, выныривала за окном и замирала, сливаясь с землей, песком и чахлой травой. Мне она казалась терракотовой, с зеленоватым отливом, и довольно дружелюбной.

Ящерица – это хорошо, это к добру, это не крыса и не таракан.

Тараканы, то есть «джуким», водились здесь в огромном количестве. В отличие от своих соплеменников, обычных домашних тараканов, эти были довольно мобильны и любили путешествовать. Это были летающие тараканы, пикирующие, сражающие

цель до последнего, доводящие до истерики, до сумасшествия, до сердечного приступа.

На их фоне миролюбивый шорох Ариадны казался добрым предзнаменованием. Иногда мне хотелось взять ее в руки и полюбоваться розовыми бликами на гибкой спине и пульсирующим изумрудным глазом.

По двору носились хозяйские дети и дети Ньюмы – тогда еще совсем не старые, любимые, не подозревающие о грядущем предательстве. По стене ползла задумчивая Ариадна, а на крылечке, высунув влажный подрагивающий язык, лежала обессиленная Лайла, юная гладкошерстная такса, безропотно разделившая судьбу новых репатриантов.

– Эти странные люди, эти странные люди так самоуверенны, до глупости, они приезжают сюда, не зная ни слова на иврите, они едут сюда с детьми, хорошо, но они везут сюда собак – такс, терьеров, овчарок, уверенные, что для всех для них уготовано теплое местечко под солнцем, хотя бы даже здесь, в каморке жуликоватого Нури.

– Откуда такая уверенность, – сетовала Эстер, моя новая знакомая, полнеющая яркоглазая брюнетка, нет, впрочем, уже тогда – блондинка.

Они едут сюда со скарбом, с детьми и с собаками так просто, без малейшей мысли о благословении, о чуде.

– Ты хоть понимаешь, что этот лимон, висящий на ветке, и эта апельсиновая завязь – это нес'¹? Чудо? Ты хоть понимаешь, что предшествовало этому всему, как появились здесь все эти люди, похожие на обтесанные булыжники, грубоватые, упрямые, идущие к цели?

– Я шла по шуку и прикасалась к каждой картофелине, я чистила ее, и дрожащими руками укладывала в кастрюлю, и шептала заклинания, наблюдая за тем, как быстро твердый клубень становится рассыпчатым, нежным... Ты хоть понимаешь, что такое приехать сюда, в благословенный Эрец-Исраэль, и съесть картофель, выращенный на этой земле, и разрезать помидор, сорванный этими руками?

– Иешуа... – кричит она, – Иешуа, ты только посмотри на этих малахольных, они приезжают сюда, заходят в супермаркет, покупают хлеб белый, черный, арабскую питу, лаваш, они едят пастраму, сыр, творог и даже пирожное и еще чего-то хотят.

– Я, например, ехала домой, а куда ехала ты?

Иешуа – коренастый сухумский еврей, похожий одновременно на араба из Яффо и на Армена Джигарханяна, надевает кипу и садится во главе стола.

На столе – серебряный подсвечник и блюдо с халой. И много маленьких тарелочек с острыми и сладкими вкусами.

– Кушай, – строго напоминает Эстер, – и ребенку положи, бери еще, побольше, все равно такая жара, все испортится, холодильник почти не работает. Иешуа! – кричит она так, как будто муж находится за тысячу километров от нее, но нет, он сидит по правую руку и улыбается. Лицо его покрыто кирпичным несмываемым загаром.

¹ нес (*иврит*) – чудо.

Иешуа – человек-загадка.

– Что ты знаешь, – стонет Эстер, – это моя головная боль! Он уходит на рассвете, идет пешком до шука Пишпешим² и возвращается поздно, к ночи.

Где он был, что он ел, никто не скажет.

Иешуа – коллекционер, собиратель прекрасных странностей – эфиопских статуэток, картин кисти неизвестных мастеров, ваз, бутылок, шкатулок, рам. От их обилия в комнате некуда ступить и невозможно вздохнуть. В распахнутое окно не поступает воздух – впрочем, поступает, тяжелый, горячий, с песком. Каждый день приносит новую пыль. Пыль вездесуща, живуча, неистребима. Она забивается в нос, глаза, стекает по спине жаркой стружкой.

– Что ты знаешь, – стонет Эстер, протирая зеленоватую лампу с тяжелой бронзовой подставкой, – это мое горе, это мое наказание! День за днем я протираю, вытираю, вымываю, я была молодая, у меня были черные косы, веришь? Когда-нибудь, когда-нибудь, – таинственно добавляет она, – я расскажу тебе историю.

Историй у Эстер не тысяча, а миллион. Когда-нибудь, говорит она и начинает. Конец одной истории становится началом другой, и так до бесконечности. В прошлой жизни Эстер была полководцем, летописцем и дипломатом.

– Что ты знаешь, – все происходит здесь и сейчас, – я лежу на диване, еще даже без лифчика, я беру трубку и говорю: соедините меня, ну, с кем ты думаешь? С Аризлем Шароном, правильно. И соединяют! Они все у меня здесь! – она раскрывает пухлую ладонь и подмигивает. – Что ты знаешь, вчера я говорила с Геолой Коэн, а сегодня я умираю, и никому нет дела, ни одной живой душе. Никому нет дела, государство разваливается на глазах – они отдают территории, это большая кровь, это преступление, это война, и никому нет дела. – Она вздыхает и крошит салат, вынимает из духовки рыбу и разминает запеченные на огне баклажаны. – Вы приезжаете сюда и думаете, что так надо. Привозите детей, собак, отдаете голоса за кого попало. И что мы имеем? Все ваши проститутки уже здесь. Территории отдают, солдаты гибнут. Шабат шалом, кстати, пора за стол, – говорит она и зажигает свечи.

– Шабат шалом, – говорит Иешуа и разрывает руками халу.

– Что значит, – продолжает Эстер, – все чего-нибудь да стоит, мы, евреи, давно сюда шли, к нашему общему дому.

Не знаю, как остальным, но мне душно за роскошно накрытым столом, душно и неуютно. Я неловко раскланиваюсь и тороплюсь к выходу. К так называемому первому дому на родине. Дому, в котором светятся хозяйские окна, за которыми точно такой стол и свечи. Слышно, как гремит посуда и ревет младший хозяйский ребенок.

«Шекет!»³ – зычный мужской голос перекрывает галдеж, а к ногам моим бросается Лайла. Она лижет мне руки и лицо, вертится и виляет хвостом. Она так долго ждала в одиночестве и кромешной темноте и совсем отчаялась, и даже шорох ползущей по стене Ариадны и шелест эвкалиптового дерева не могли утешить ее и отвлечь от острой собачьей тоски.

² шу́к пишпешим (*иврит*) – блошинный рынок в Яффо.

³ шекет! (*иврит*) – тише!

Алексей Ивантер

НАД МОТИЛАМИ ШВАРЦА И КАЦА

САМОГИТСКИЙ ПОЛК

Из дубового комода
утром выпало само
от шестнадцатого года
в адрес бабушки письмо,

поискал, а там их много,
не пускают в отпуска
с гренадёрского седьмого
Самогитского полка.

На высотках безымянных
фронтная полоса,
на шатрах на полотняных
украинская роса,

где-то танцы, обниманцы,
где-то смерть на рубеже,
Ленин в Цюрихе, германцы
под Черниговом уже,

эшелоны и шевроны,
мат частей передовых
и галунные погоны
на шинелях полевых,

полусвёрнутое знамя,
кони, бронепоезда...
Ничего о нём не знаю —
не узнаю никогда...

* * *

Няня с папой на выцветшем фото задают немудрёный размер, и заводишься с пол-оборота, окунаешься в СССР. Никакой по нему ностальгии, пусть о длинной стальной булавке как о родине плачут другие, я родился в России, в Москве. Плакать нечего после гулянки, погуляли — любите ворьё, моё детство на узкой Солянке — дорогое наследство моё. Сколько мы по стране колесили, с каждым городом были на

ты, я из поезда видел Россию, я глядел на неё с высоты, но, наверное, в том-то и дело, что важней мне сегодня стократ, как она на меня поглядела из-за низких орловских оград. В день весенний, в снегу ноздреватом, в марь сухую и в дождь ледяной ощущаю себя виноватым перед ней непонятной виной. Чем, не знаю, я ей не потрафил, было грешным моё житиё, но в крестильной воде фотографий принимаю крещение её. Всё мы полили кровью и потом – её войнам и стройкам родня. Но крестьянка со старого фото с тихой мукой глядит на меня.

* * *

Юрию Воротнину

Вот и читаешь по совести повести русской земли. В светлой Теряевской волости ивой поля заросли. Снег оплавляется в зареве, русское сердце болит, свадьба гуляет в Теряеве, разве что вверх не палит. И что девица на выданье, с каждой весною рыжей, дом генеральши Давыдовой – в гнёздах синиц и стрижей. Церковь отстроена наново, лес поиссох у реки, снова читаю Розанова с Юриной лёгкой руки. Звонница – русская вольница! Брюхом касаясь земли, мчится монгольская конница, ржавы её жигули. В века наставшего вареве нас укорот не берёт. Свадьба гуляет в Теряеве, свадьба гуляет в Теряеве, свадьба гуляет в Теряеве! Правду – Господь разберёт.

* * *

Над могилами Шварца и Каца, над плитой Кузнецовых семьи – только начало в небе смеркаться, рассвистались всю соловьи. Местный сторож замок отворяет, на хромую собаку орёт, за вечерний визит укоряет, сто рублей неохотно берёт. Прикипевший к спиртному и хлебу на своём нешутейном году, он отправит великую потребу за мою невеликую мзду: мне покажет кладбищенский житель, беззатейных письмён грамотей, где раскрыла объятья обитель для всегда ожидаемых гостей. По вечерней аллее ведущий, по лицу ментовской отставник, мне покажется вечно живущим этот рядом идущий старик. Всё он бродит родными местами, мягкий хлеб стариковский жуёт... Нас рядами кладут под крестами, а старик всё живёт и живёт. Всё жуёт – не насытится хлебом, москворецкой бредёт стороной – между твердью земною и небом – незатейливый житель земной.

* * *

Привычно уже успокоаясь, уставший от женской журьбы, старик с бороною по пояс стоит возле синей избы. Кругом терема и хоромы, и некуда вылить бурду; жаль, нет у соседей коровы – зарезали в прошлом году. Подперши оглохшее ухо, с облезлым котом на груди, с ним рядом сухая старуха на мартовском солнце сидит. И смотрит она виновато на ветхий забор и жильё, и греет истлевшая вата пожившее тело её. Дед курит и слышит вполуха журьбу и соседский привет. «Алёша!» – окликнет старуха, «Петровна!» – откликнусь в ответ.

* * *

В жилище новое внесли с десятков снимков в фоторамках – портреты бабушек в панамках; повесить сразу не смогли. Портреты деда, и отца, и свояка, и тестя с тёщей, и поля пнёвского за рощей, за домом крёстнина вдовца. Им места не было в ином пространстве средь цементной пыли, их положили под окном и в суматохе позабыли. Потом хватились, не нашли, всё перерыли, но без толку, потом в строительной пыли нашли, и сунули на полку, и потеряли наконец, уже найдя для каждой место. Ни брат, ни дед мой, ни отец не захотели переезда.

* * *

Скрипели балки деревянные, густела истринская мгла, глядели лики осиянные с икон из красного угла, горел в окошке цветик аленький, спал кот на первом этаже, я думал – нету в доме маленьких и мало стареньких уже. Скрипели балки деревянные, дом спал и думал обо мне, на досках лики осиянные, и рядом рамки на стене, с уже далёкими, но милыми, не пережившими войну, и надпись синими чернилами: «Полк на манёврах на Дону». Наш дом бревенчатый расстроился, окреп и выдюжил беду, и было весело на Троицу в подростковом грушевом саду, и снова гости полупьяные, и те же песни о войне, и эти лики осиянные на полуструганной стене. И ель высокая качается, и гнутся яблони в саду, и всё течёт, не возвращается, бурлит в тринадцатом году. Я сам, как цветик этот аленький, покорен местным чудесам. Я знаю, будет в доме маленький и стану старенький я сам. И кто-нибудь по фото выцвелым ребячьим взглядом проскользлит, и дом моими половицами живущих в нём благословит. Не зря мы силы наши тратили, не извели на ерунду. Я напишу на фотографии – «Наш дом в тринадцатом году».

* * *

Когда меня в психушке били – не по злобе, но от души (так алкаши с ума сходили в психиатрической тиши, я был приبلуда и обуза, бурчатель непонятных фраз), и гимн Советского Союза мне пел печальный пидарас, уже заколотый до дури, но исцелённый не вполне, и взгляд его по арматуре в окне блуждал и по мошне, в ошмётках синего халата я мог ли думать в этот миг, что всё сполна вернет Эллада, слегка знакомая из книг? Когда судьба меня мотала по Верхоянскому хребту и горло медью обрастало, а сердце плакало Христу, я мог ли верить в том бараке, той бесприютности, скажи, где два бича в сивушной драке друг в друга всунули ножи и был поставлен отвечать я за производство двух гробов, – и в непорочное зачатие, и в умножение хлебов? Когда я чуждые обычи в себе прочерчивал углём и пахли лавки кожей бычьей и пережжённым миндалём, торговлю тягостней обмана я постигал на раз и два, но с древней хитростью османа душой не чувствовал родства, я жил без веры и уклада, ногой в тюрьме, ногой в дерьме... Пока ждала меня Эллада вечерней службой на холме. И над холмом, и выше, выше – над пенем крепких стариков... Где что-то русское я слышу, иных не помня языков...

* * *

В линзе телевизора вода,
вечное фигурное катанье,
медные на кухне провода
Комитета радиовещанья.
Про войну по праздникам кино,
слесарь выпивал в полуподвале,
на Солянку ясное окно,
на углу соленья продавали,
няня в дальней комнате жила,
по субботам баню посещали,
лодочка по Яузе плыла,
щами пахло, водкой, куличами.
Помню, как горел ацетилен,
дворника немецкую гармошку,
телевизор марки КВН –
весь экранчик с детскую ладошку,
и на секретере навесном
умершего деда на портретах
в окруженьи ангельском земном
медсестёр в походных лазаретах.

ПАМЯТИ АЛИКА

В Сталинграде или в Ленинграде небелёный суп хлебали свой, добывали школьные тетради (на паёк меняли фронтовой). Вот идут они по зимним шпалам, в блиндажах кемарят фронтовых, водку пьют, довольствуются малым и уже не числятся в живых. Жили, были, плакали, служили, не сдавали выжженной земли, вот в неё мы всех их положили, заучили, в ризы облекли. Обнялись. И так уж получилось, что назавтра свечка в головах. Тяжело душа моя училась простоте в поступках и словах в стороне негустонаселённой, на перронах станций узловых... Тяжело душе неоперённой не делить на мёртвых и живых. С непокрытой встану головою, поутру придя натяжеле. Только слово русское живое неподвластно тленью на Земле.

* * *

Некому жить тут и некому плакать, церковь гниёт на вершине горы. Будешь, как утка осенняя, кричать, встанет деревня когда в топоры. Пела она и пила, но не встала, не поднялась с заскорузлых колен – ноги её оковали металлом, рот её выжжен, а взор опален. Только и слышно, что мата и мыка, змий огнедышащий реет вблизи, руки скрестивши, лежит, безъязыка, в лёд она вмёрзла, утопла в грязи. Ангел стоит у железной кровати, ночью удавят её паханы. Вечная жено, стожильная мати! Крест положи перед смертью за ны.

* * *

Солнце оловянное восходит, песню деревянную поёт, жизнь моя от пристани отходит, длинный, три коротких подаёт. Там, где воблу к пиву подавали, на закваске чёрный хлеб пекли – так друзья сигналы подавали, расплатились, встали и ушли.

* * *

Старуху с банками в кошёлках, дедка с ведёрком чеснока и парня в лагерных наколках несёт великая река. Дымит паром, дедок шуткует, мотает бакены волной, КАМАЗ на пристани паркуют напротив бочки нефтяной. И пахнет дымом и соляркой, и рыбу чистит на лотке по виду старая доярка в посадском хлопковом платке.

...На чёрном фоне или белом в любом проведенном краю углём кузнечным, курским мелом рисую родину мою.

...но у дощатого причала в краю мочала и кайла – она сама меня стачала, сковала, в воске отлила. Причал. Тут пьют и расстаются, сидят до вязкой темноты... И всё никак не удаются неуловимые черты.

* * *

В Хрущёвым даренном бараке – вершине маленьких надежд – без света, в мелком полумраке сижу я с ней, не сняв одежд. Я ей – как воздух даль колышет, и пар сбивается в круги... А мама смотрит и не слышит. – Алёша, ты отдал долги? Долги мои... Должки и долги: на память, на карандаше лежат, как лёд на зимней Волге, на обмерзающей душе. Долги напеву негустому, Толстому, мёртвой пехтуре... И недостроенному дому, отцу, двоюродной сестре... ...и пулю в Бутово нашедшим, и тёткам нашим трудовым... Их не отдать уже ушедшим и трудно возвратить живым.

* * *

До забора тропинка протоптана, в телевизоре Басков поёт, полдеревни старушкой утоплено, а сама своё зелье не пьёт. «Живы-сыты мы, вот те и ладушки», и улыбка – зубов корешки. В деревнях самогонщицы – бабушки, редко гонят теперь мужики. Пожелают всего благоденствия и «спасибо» промолвят вдгон, ей такая назначена пенсия – будет до смерти гнать самогон. «Вот колбаска, огурчики, вилочка, ты давай не стесняйся, налей!» Через низкий штакетник бутылочка эта стоит полсотни рублей. «Посдавала углы я и коечки, нету сил наводить чистоту. Мои Люба с Серёжей покойнички, вот вселила к себе черноту». Ай, колбаска, огурчик, селёdochка! Духота в постоянной избе. Дорожает акцизная водочка, значит, помощь народной нужде. А в груди начинается долгое, не залить ни вином, ни водой... «Как над речкою стылой над Волгою председатель гулял молодой...»

* * *

Пили горилку, не ели сала. Детей было много, а денег мало. То им давали селиться где-то, то затворяли в новое гетто. Плоть от их плоти и дух от духа, пепел от пепла и смех от смеха, я не люблю из подушек пуха, но люблю Русского Человека. Что мы в себе бережём и греем, сами решаем хоть эту малость. Жил я евреем, умру евреем, русским в стихах на Земле останусь.

Владимир Жаботинский

*ИЗ ПУБЛИЦИСТИКИ (1905-1906)**

ДВА ПРЕДАТЕЛЯ¹

Из Агады

На суд к Адонаю привели ангелы двух жалких, которые были некогда людьми на земле.

Один из них был видом тщедушен и ничтожен, и глаза его беспокойно моргали, быстро поглядывая туда и сюда.

Другой же был лицом благообразен, и веяло от него достоинством, кротостью и покоем чистой души.

И привели их и поставили перед лицом Предвечного, а Предвечный долго молчал и смотрел на них всеохватывающим оком и потом сказал первому:

— Изложи нам, как жил ты на земле.

Тогда затрепетал тщедушный и упал у подножья престола, возопив воплем одержимого, и так закричал, корчась и захлебываясь:

— Господи, я был доносчиком на Твоей земле. Я прятался вечером под окнами, когда люди мнили себя наедине и раскрывали друг другу тайники души; я же запоминал их речи и передавал врагам их; и многие через меня приняли позор и муку. А я принимал за них серебряные сикли, цену дела моего, и питал этим серебром жену и малых детей...

И выл тщедушный, как собака под плетью, и в вое не можно было расслышать заключения слов.

Долго смотрел на него, извивавшегося, Предвечный, долго молчал и потом произнес:

— Имя тебе предатель.

И обратился ко второму, и сказал:

— Ныне изложи, как жил ты на земле.

Тогда выступил благообразный и поник на колени, склоняясь седой головой до подножья престола, и проговорил голосом тихим и кротким:

— Я, Господи, никому не сотворил зла на Твоей земле.

При этом ответе омрачилось лицо Адоная, и были Его слова, как тяжелые ледяные глыбы.

И сказал Он:

— Здесь ли, перед лицом ли Судьи хочешь ты хитрить, дитя человека? Ибо зачем говоришь ты: вот, я жил на земле и никому зла не сде-

* Статьи, напечатанные впервые в российской периодике в 1905–1906 гг. году, планируются к публикации во второй книге четвертого тома «Полного собрания сочинений» Владимира (Зезва) Жаботинского, который выйдет в свет в 2014 году. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора и просит ссылаться при перепечатке материалов не только на «ИЖ», но также и на ПСС В. Жаботинского.

¹ Хроника еврейской жизни, № 43–44, 11.11.1905.

лал; а я вижу эту землю и знаю, что нельзя человеку на ней приветствовать вечер, не сотворив злого дела в течение дня; так что и я, Бог твой, если бы жил на земле среди вас, сотворил бы злое. Думаешь ли ты обмануть Бога твоего, Мстителя?

Было печально лицо старца от гнева Господня и трепетно, и тихо, но стойко ответил он:

— Я же говорю тебе воистину, Царь над царями царей, что никому я не сделал на земле твоей зла. Во всю жизнь мою, Господи, я не знал ни мгновения мира; гнали и мучили меня близкие и далекие, но я никому из них не пожелал зла. Когда ввергли меня в узилище, я укрепил сердце мое надеждою на Твое милосердие и никого не проклинял; когда ограбили меня, я протянул руку во имя Твое за подающим и никого не проклинял; когда посетил меня гнев Божий, я горько заплакал над пожарищем моего дома и над холодными трупами детей и никого не проклинял. И вчера, когда я умирал голодный, под забором, вокруг пировали и ругались надо мною притеснявшие меня, но и тогда я никому не пожелал злого и умер, никого не проклиная.

Долго молчал после того Всевышний и долго смотрел в кроткие и скорбные глаза старца, и многое таинственное было тогда написано во взоре Адоная.

И прозвучало затем слово Господа:

— Имя тебе — предатель.

Нет предателя хуже тебя на земле. Ибо о нем, о товарище твоём, что лежит рядом с тобою и корчится, и воет неподобно человеку, — о нем говорят люди на земле: «О, то был дурной человек, и не должны быть подобными ему». И тем удаляются они от греха предательства.

Но о тебе говорят люди на земле: «О, то был святой человек, и блажен тот, кто найдет в себе силы поступать всю жизнь подобно ему».

И оттого редеют ряды борцов Моих, готовых положить душу за правое дело, а в то же время злые, вспоминая тебя, говорят с усмешкой друг другу: «Безопасно для нас обижать этих людей, ибо не хотят они постоять за себя; пойдем же к ним и возьмем себе их достояние, и повеселимся с их женщинами».

Так растет через тебя посев несчастья на земле; и вся жизнь твоя была предательством ближних, живших рядом с тобой, и внуков, которые придут после тебя. И потому говорю тебе: имя тебя предатель!

Его, что предательствовал за деньги, не накажу муками: пусть идет, презрение Бога и людей да будет ему карой; но тебя, развратителя, — проклиная!

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ²

Чем это все кончится? Минутами кажется, что ни мы, здесь, на месте, ни Европа еще не вникли как следует в грандиозность этой революции. Она, правда, не в том смысле грандиозна, чтобы в ней был замечен особенный творческий размах, величественный план, стройная и ши-

² Молва, 5.12.1905, № 1.

рокая подготовка. Нет даже того произвольного стихийного единодушия, которое в иные крупные моменты может создаться само собою и дружно сплотить миллионы, заставить их стройно идти в ногу без всякого уговору заранее. Русская революция скорее даже несколько бестолкова. Многие, очень многие совсем не знают, чего они хотят. Зато все знают, чего они не хотят, и этих «всех» около 130 миллионов. В этом и сегодня подавляющая грандиозность момента, которую мир еще не раскусил. С одной стороны, цифра, какой еще никогда не было на революционных аренах, – цифра, которую легко написать девятью значками на бумаге, но которую воплотить бессильно человеческое воображение. С другой стороны, – сумма накопленного горя, которая, кажется, тоже превосходит все, что до сих пор знала история. Ибо какие были в прошлом тиранические правительства, но ни одно из них по условиям эпохи не могло располагать такою сильной и утонченной системой организованного насилия, какую давали нашему самодержавию новейшие ружья, железные дороги и телеграф. К моменту революции ни в одной стране еще не было столько горя и столько людей. Прибавьте к этому разноречие, разноречие, сто различных уровней культуры и взвесьте все это. Если вдуматься, получается нечто неопишное, несказанное, чудовищное. Получается ясное впечатление, что революция в такой стране должна принять формы и размеры настоящего геологического переворота. Накопленный столетиями гнев миллионов должен будет с разных сторон разразиться безудержно и бессмысленно, как лава из утробы земли, потопившая Помпею. Должны совершиться титанические катаклизмы. Над землею должен пронестись ураган и смерч, и неслыханные циклопические взрывы должны смести добрую половину того, что, как Пифом и Рамсес, созидалось руками рабов под бичом слуг фараоновых...

Может быть, конечно, всего и не случится. Может быть, выскочит из сутолоки умный человек или несколько умных людей, которые найдут способ направить расхившиеся массовые силы в спокойное русло и благополучно вывести Россию на либеральный или демократический фарватер. Это возможно, и мы все этого желаем. Но это будет чудом. Ибо самый хладнокровный расчет действующих ныне сочетаний, причин и сил без фантазирования, без увлечений, математически ясно приводит к полному уверенности, что пред нами только цветочки. Хотя и велика – чересчур велика – та сумма событий, которая уже успела разыграться пред нами, но слагаемые, сотни лет лежавшие и зревшие под спудом, еще неизмеримо грандиознее. Мы слышали ужасные взрывы, но под нашею почвой заложено еще во сто раз больше динамита. Возможно, конечно, что он не взорвется. Но это будет чудом.

Кто когда-нибудь продумывал историю, тот знает, что в такие эпохи выплывает наружу и приходит к учету все, что накапливалось за долгие годы. Пожинаются все, решительно все семена, где и когда бы то ни было заброшенные; разрубаются все, решительно все узлы, кем и когда бы то ни было завязанные. Страшный суд, полная последняя ликвидация – вот во что логически должна вылиться та революция, которую мы переживаем. С чем же приходит Россия к этой ликвидации, что записано в конторских книгах ее самодержавной дирекции?

Будем перелистывать наудачу. Первый узел, следы которого пестреют почти на каждой странице, – это тот узел, которым связали Россию с европейским золотым тельцом. Старый, хитрый, опытный телец дал увлечь и обмануть себя, как малого сосунка. Жадность отуманила его зоркие глаза. Он поверил, что Россия сильна и богата. Он не понял, что ни сильной, ни богатой не может быть страна, где все производительные силы скованы железной цепью. Он не понял, что его богатства, брошенные сюда, буду не расти, а только пухнуть, как пухнет пареная репа в навозе, и нагрянет неизбежно день правды – *dies illa*, – когда возвестит ему страшный голос с неба: плакали твои денежки! Дал себя надуть старый телец, словно двухнедельный теленок. А теперь жалобный трепет несется во стане золотого тельца. Ближе и ближе подступает к ним ужас полумирового банкротства.

Первый узел подходит к своему Александрову мечу. Как это разрешится? Будет или не будет краха? Перебросит или не перебросит к нам сюда Европа свои штыки, оскорбленная за свой собственный карман? Уберутся или не уберутся восвояси заграничные миллионы, вышвырнув на улицу несметные толпы рабочих? Нелегко отгадать. Особенно нелегко тому, кто не любитель каркать.

Будем перелистывать дальше. Второй узел – тот, которым Россия увязала вокруг себя в одну охапку чуть ли не 108 племен. Самодержавие постаралось натянуть веревку так, чтобы у каждого народа остались кровоподтеки. Здесь недавно был небольшой съезд инородцев, на котором эти племена – и далеко еще не все – два дня подряд поочередно показывали друг другу эти кровоподтеки. Положа руку на сердце, можно смело сказать, что во всем этом ни на минуту не просвечивала вражда к великороссам, к «москалям» как таковым. Слышалась прямая ненависть – но, так сказать, не к Москве, а к Петербургу. Чувствовалось, что пасынки великодержавной России потеряли терпение, что вся гордость живых национальных организмов готова скоро восстать против угнетения. Ни один из них не согласился бы на разрыв России как единого союза. Но ни один из них уже не мирится с мыслью войти в этот обновленный союз иначе как равным среди равных, чтобы не было хозяев и постояльцев, господствующих и второстепенных наций. Это настроение чувствовалось определенно и отчетливо, и ясно было, что скоро подойдет и этот узел к своему разрешению – сложный, страшно перепутанный узел *Nazionalitätenstaat*'а, еще нигде и никогда не развязанный. Когда и как суждено ему распутаться у нас? Кто распутает его – тонкие ли пальцы политиков или грубая, кровавая междоусобица?

Перелистываем дальше. Новый узел, самый великий, самый страшный. Этим узлом был скручен от века богатырь святорусский, всероссийский поилец, серый пахарь. Брел он взад и вперед по своей тощей полосе и молчал, а под затвором этого молчания год за годом, век за веком зрела и росла в нем обида, такая бездонная, беспредельная обида, пред которой, если она разразится, гром небесный покажется детской хлопушкой. Мы говорим об ужасах этой революции, – а ведь он, неисчислимый хозяин земли русской, он, настоящий главный актер этой исторической трагедии, он-то еще и не выступил на сцену, и теперешние аграрные вспышки – это, быть может, только первые шаги его,

которые смутно слышатся пока из-за кулис? Может быть, есть какая-то внутренняя электрическая связь ним и его детьми, что захвачены казармою, и для того, быть может, и зреет шаг за шагом войсковой мятеж, чтобы в тот день, когда грянет над Россией знакомый набат – «Сарынь на кичку!» – никто и ничто на всем раздолье от Амура до Днепра не мог бы встать помехою против торжествующего мстителя. Тогда содрогнется мир перед зрелищем небывалых потрясений, тогда смешаются добро и зло, правда и насилие, любовь и зверство, и в вулканическом грохоте страшного переворота будут одинаково смолоты и поглощены тюрьмы и больницы, университеты и казармы, дворец и эрмитаж...

У самого жерла вулкана стоит кучка людей, ничтожная количественно и качественно, и ломает голову над тем, что будет, если этого графа прогнать, и какого графа посадить на его место, того арестовать, того повесить и того подкупить. Они думают, что все дело в искусном ходе, а если найти искусный ход, то еще можно спасти старый режим от гибели и его сутенеров от народного суда. Это и понятно: осужденные на смерть ничего не забывают и ничему не научаются. Пусть копошатся, пусть изворачиваются, передергивая карты либерализма и реакции: история на ходу раздавит шипящее гнездо, и только смрадная память останется на поучение потомкам.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ³

Я когда-то жил в Риме. Однажды утром меня разбудил какой-то странный хриплый возглас с улицы. Очевидно, уличный торгаш или кто-то в этом роде выкрикивал свою рекламу. Вслушиваясь, я даже разобрал слова: это были два слова, которые по-русски означают «старые вещи». Тогда я подошел к окну и выглянул на старьевщика: у него оказалось еврейское лицо – типичное лицо любого одесского, как там выражаются, «старовещенника», из тех, которым я во дни оны сбывал тайком от матери летом зимнюю форму. Я крикнул этому человеку «шалом», подозвал его и расспросил; он оказался коренным, исконно римским евреем, и сообщил мне, что все римские старьевщики – евреи, и что у них даже есть союз, который называется благозвучным титулом: «Общество скупщиков подержанных предметов». Я ему рассказал, что у нас эта индустрия тоже представляет национальную монополию еврейского народа. Он был очень тронут.

Мне вспомнился этот эпизод, когда я прочел передовицу в последнем номере «Восхода» за истекший год. Мне стало жаль, что я не знал ее тогда в Риме и не мог процитировать на память тому старьевщику. Бедный осколок великого народа, уцелевший на задворках Ватикана, – он был бы еще глубже тронут и польщен, если бы узнал, что у него есть братья по ремеслу и среди мудрецов Израиля, что его промысел воистину есть национальная индустрия, ибо книжники еврейского народа тоже принимают ревностное участие в торговле «подержанными предметами», и братски протягивают руки последнему бедняку гетто во имя общего девиза: – Старые вещи!

³ Хроника еврейской жизни, №1, 10.01.1906.

Действительно, в этой передовице написано все, что полагается: что евреям надлежит объединяться с общерусским освободительным движением, что погромы устроены правительством и что надо стремиться к полноправию. Затем также говорится (это не написано в тексте, но читается между строками), что евреи не ростовщики и что слух об употреблении крови христианских младенцев при изготовлении мацы есть грубая ложь...

Читатель не должен подумать, будто я хочу выставить «Восход» лейб-органом⁴ национальной индустрии. Боже упаси! Это была бы черная несправедливость по адресу почтенного журнала. Я говорю о передовице последнего номера за прошлый год, и только о ней, а журнал тут совершенно не при чем. Надо вообще помнить, что «Восход» сам по себе, а помещенные в нем статьи сами по себе, и если в той или иной статье что-нибудь не так написано, нельзя же за это придирааться к журналу. Тем более, что вас сейчас же могли бы пристыдить, указав на другой странице того же номера совсем другие звуки. Мало ли кто пишет статьи? Сегодня ты, а завтра я. Не все же люди могут мыслить одинаково. Нападать на «Восход» за то, что напечатано в «Восходе» — это значит судить с плеча. Разве справедливо, например, обвинять огулом весь еврейский народ за дурное поведение отдельных евреев? Кстати — я не помню, содержится ли сия последняя мысль в упомянутой передовице, но полагаю, что несомненно содержится. Уже очень она, так сказать, в стиле.

На основании вышеизложенного прошу иметь в виду: я не полемизирую с «Восходом» как таковым, ибо это вообще немыслимая вещь, — я полемизирую с данной передовицей, а «Восход» ни при чем, и я охотно свидетельствую мое совершенное почтение этому заслуженному органу и надеюсь впредь еще долго знакомиться по его гостеприимным страницам с разнообразнейшими течениями еврейской мысли. Впрочем, я и с передовицей не собираюсь «полемизировать» в настоящем смысле этого слова. Poleмизировать значит, по моему, бороться — бороться со взглядами данного противника. Но для этого надо прежде всего быть уверенным, что у противника есть взгляды, и что эти взгляды стоит обсуждать.

В указанном безымянном произведении говорится, например, что не время теперь затевать национальное собрание. Нам придется еще много писать в защиту национального собрания, придется для этого, быть может, немало спорить с той или иной партией. Но спорить с авторами опусов вроде этой передовицы «Восхода»? Чего ради? С какой стати? Кто они такие? Чтобы серьезно возражать им, надо прежде всего поверить в то, что они действительно — хотя бы на свой лад — компетентны судить, нужно или не нужно теперь национальное собрание, или вообще высказывать какие бы то ни было суждения по каким бы то ни было вопросам. Но что поделаешь, когда нам решительно не верится в эту компетентность. Мы, конечно, признаем полное нравственное право голоса в делах общественных даже за тем, кто ошибается, — но под одним условием: чтобы человек твердо знал, чего он хочет. Лю-

⁴ Здесь: придворным изданием.

ди должны считаться внимательно со всяким возражением – при одном условии: чтобы в нем присутствовала определенная точка зрения, хоть какая ни на есть. Но когда вместо сего имеется налицо, так сказать, явное отсутствие всякого присутствия, то является вместо всяких доводов только простой вопрос: зачем эти люди разговаривают? Почему бы им, собственно говоря, не помолчать?

В том же сочинении написано, что «тактика» сионистов будет еще «подвергнута» (надо полагать, со стороны того же автора) «особому рассмотрению». Очевидно, тактика эта г-ну автору не нравится. Мне она, напротив, нравится. В виду этого разногласия можно бы и надо бы, конечно, поспорить – но... с кем тут, опять таки, спорить? Кто судья? По какому праву станут автор этой передовицы или его единомышленники одобрять или не одобрять «тактику» сионистов, откуда им узнать, что хорошо или что не хорошо? Можно критиковать других по праву убеждения, даже по праву заблуждения, но нельзя делать это с совершенно пустыми руками, не обнаруживая даже сколько-нибудь уловимых признаков каких бы то ни было определенных убеждений или хотя бы определенных заблуждений. Нельзя критиковать, не имея критерия.

Автора передовицы я, конечно, не имею чести знать, но по типу он хорошо мне знаком. За последние месяцы развелось ужасно много добрых людей этого типа и в «общерусской» среде, и у нас. Это все господа, которые с давних пор жили-были, жили-поживали, имели приличное и гуманное мировоззрение и сообразно оному высказывались – даже иногда печатно. И сходило с рук, публика даже бывала довольна. Так они дожили уже до средних или выше средних лет, и вдруг все перевернулось. Оказалось, что при одном гуманном мировоззрении оставаться дольше нельзя, а нужна еще какая-то программа. Бедные добрые люди спохватились, протерли глаза и бросились выбирать себе программу. Но ведь это не так легко. Извольте сразу ответить: вы за что – за однопалатную или двухпалатную систему? Извольте ответить, когда во всю жизнь даже не снилось, что когда-нибудь придется копаться в таких подробностях... Но вдвое трудней положение такого гражданина, когда он еврей и хочет облагодетельствовать именно еврейство. Политическая программа – это еще туда-сюда: известно ведь, что все мы радикалы, а прочее как-нибудь приложится. Но национальное мировоззрение? Как с ним быть? Жил человек до средних лет и никогда не думал, что ему нужна еще какая-то национальная программа, и вдруг – трах! – извольте выработать национальную программу. Кто вы такой: сионист? автономист? ассимилятор? – Бедный добрый человек растерянно улыбается, делает многозначительную мину, забирает бороду в горсть и говорит: – Н-да... Как бы вам сказать... Я, собственно... И ничего не получается, и, глядя на это смущение, на эти наморщенные лбы, на беспомощно моргающие глаза, в которых ясно читается отчаянный вопрос: – Да в самом деле, черт побери, каковы же это бишь мои национальные убеждения?! – глядя на все эти комические муки запоздалых идейных родов, так и хочется продекламировать:

– Ох, тяжела ты, шапка гимназиста,
На голове мужчины зрелых лет!

Учиться, конечно, никогда не грех – и в разбираемой передовице «Восхода», если хорошо вчитаться, можно, без сомнения, найти какой-нибудь соответствующий подержанный афоризм вроде «век живи, век учись». Но все-таки лучше начинать учиться смолodu – и в политическом отношении тоже. Двадцать пять лет тому назад, милостивые государи, надо было вам выработать свои национальные программы, двадцать пять лет тому назад! А теперь уж поздно. Конечно, никто вам не воспрещает учиться и теперь, но сами видите, что ничего не выходит, ничего не вытанцовывается, «убеждения» не складываются, «программа» не выясняется, и плететесь вы и будете плестись до конца дней в хвосте всех движений – но не во главе ни одного, ворча на одних и умильно приседая перед другими, – но и здесь, и там встречая только недоуменное пожимание плечами и насмешливо снисходительный оклик:

– Ах, и вы тут? Мы про вас совсем забыли... Вот как, у вас есть свое мнение? Что ж, пожалуйста, говорите, – отчего же, разговаривать никому не возбраняется. Впрочем, если бы вы предпочли, например, воздержаться от разговоров, то ведь и это ничуть не возбраняется...

Вот почему я не полемизирую с данной передовицей «Восхода». Господа, о которых я говорил выше, могут быть за национальное собрание или против него, могут хвалить или ругать тактику сионистов. Это все равно для нас, для них, для всего мира. Эпохи переворота, подобные той, что в настоящий момент переживает еврейский народ, всегда выбрасывают за борт известное количество ненужных элементов, которые будут еще некоторое время плавать на поверхности воды, но не могут ни помогать, ни мешать, ни двигать, ни тормозить; голос их не учитывается в общем итоге жизни, усилиям их не дано весу ни на правой чашке весов, ни на левой. По человечеству их, конечно, очень жалко, и если бы они от нас требовали носовых платков соболезнования, то мы от всего сердца к их услугам. Но знамя борьбы не носовой платок. Знамена борьбы мы храним для других противников. Здесь мы ограничимся только тем, что, как учил Данте, посмотрим – и пройдем мимо.

Я остановлюсь только на одном замечании этой передовицы – и только потому, что в нем есть фактическая неправильность. Там говорится, будто сионисты прежде обязались вступать в союз полноправия не в качестве сионистов, а *так*; на втором же съезде сионисты вдруг объявили себя сионистами и принялись действовать «сомкнутым строем». Это просто очаровательно, хотя и вполне естественно. При своем вышеописанном идейном настроении, безымянный автор прошлогодней передовицы, конечно, так и должен смотреть на политическую тактику: политический идеал – сам по себе, а участие в той или другой организации – само по себе. Но мы, которые – не в обиду будь сказано иным прочим – озаботились выработать свои национально-политические убеждения еще до манифеста 17 октября 1905 года, мы самым решительным образом отклоняем от себя честь участия в подобных водевилях с переодеваниями. Мы не только 9-го Ава вспоминаем о Иерусалиме: мы – сионисты во все семь дней недели, и не признаем никакой иной точки зрения на еврейские дела, кроме сионистской. Мы содействовали возникновению союза полноправия и приняли в нем даль-

нейшее участие только потому, что нашли это полезным для наших сионистских целей. Совершенно подобно тому, как социалисты, признав раз навсегда коренное противоречие между интересами рабочего и хозяина, ставят себе целью на каждом шагу выяснять и подчеркивать это противоречие, безжалостно разгоняя всякие мечты о всеклассовой гармонии, – так же точно мы, сионисты, признав раз навсегда непримиримое противоречие между интересами еврейского народа и галутом, поставили себе целью на каждом шагу выяснять и подчеркивать это противоречие и выводить на чистую воду всякие иллюзии. Единственным средством для этого мы считаем пробуждение в еврейском народе политической самостоятельности – «организацию» и «национализацию» еврейства, как сказано в базельской программе: «национализация» для того, чтобы народ осознал свои особые национальные интересы и резко отграничил их от интересов окружающих племен, и «организация» для того, чтобы народ мог общими силами, как одно стройное целое, осуществлять и отстаивать эти особые интересы. Нам поэтому полезно все то, что ведет прямо или косвенно к выделению еврейских сил или еврейских интересов из так называемого общего дела. Нам был полезен Бунд, поскольку он выделял еврейский пролетариат в особую организацию и внушал ему сознание того, что у еврейского рабочего класса есть свои особые интересы; правда, в это понятие «особых интересов» Бунд не сумел вложить никакого содержания, но тем лучше – об этом пробеле позаботятся социал-сионистские партии. Нам так же точно полезен союз полноправия, поскольку он, во-первых, может выделить из «общего дела» известную часть более или менее ценных еврейских сил для работы на почве особых еврейских интересов, – а во вторых (и главным образом) поскольку этот союз в настоящее время может призвать все еврейское население России к организации его национальных сил.

Вот почему и вот в каком качестве работают сионисты в пресловутом союзе, и никогда они этого не скрывали, как не скрывали и того, что для них на первом плане тут не «союз для достижения полноправия», а союз для организации еврейства. Это нисколько не исключает того, что, мы, сионисты, самым искренним образом стремимся к действительному «полноправию» – и, надо прибавить, в более широком объеме, чем г-да руководящие авторы из «Восхода», взятые вместе во всем живописном разнообразии их национальных «программ». Мы, Боже упаси, ровно ничего не имеем против того, чтобы союз и впредь «достигал». Но не можем же мы кривить душой и уверять, будто мы верим, что союз как таковой действительно способен добиться полноправия, когда веры этой у нас – извините – нема.

Тут придется уделить некоторое внимание и «Еврейскому рабочему»⁵, который тоже высказал свое просвещенное мнение о тактике сионистов. Там сказано (№ 1, с. 16):

«Идея политической борьбы подверглась особенно сильному гонению со стороны г-д сионистов. Наиболее известные ораторы из их сре-

⁵ Хотя «Еврейский рабочий», кажется, приостановлен, я считаю себя вправе обсуждать его заметку потому, что в распоряжении Бунда имеются другие собственные органы легальной печати. (Примечание В. Жаботинского).

ды проповедовали полное равнодушие к тем неотложным нуждам, за удовлетворение которых с таким героизмом борется еврейская масса...»

Несколько дальше говорится, будто устами вашего покорнейшего слуги «сионисты заявили, что они не в силах придумать, какими мерами мы можем добиться желанного полноправия».

Тут, конечно, что ни слово, то «ошибка». И не думали сионисты на съезде подвергать «гонению» политическую борьбу вообще, а просто советовали *союзу*, как таковому, заняться на первом плане другими, более доступными и более полезными вещами, не прекращая, впрочем, своей прежней «борьбы». Впрочем, о борьбе я собираюсь поговорить несколько ниже; теперь только отмечу эту «ошибку» лейб-органа Бунда и прибавлю, что мы и впредь с полной уверенностью будем ожидать с его стороны таких и еще более странных «ошибок» в изложении фактов, касающихся сионизма. Это вполне естественно. Иначе и не может действовать партия, вся полемическая тактика которой объясняется исключительно, как я имел честь докладывать в прошлом номере, психологией лавочника, почуявшего сильную конкуренцию.

Мне здесь хочется сопоставить с просвещенным отзывом Бунда о нас – отзыв «Восхода» о Бунде. Я предупредил, что мой отказ от полемики относится лишь к той прошлогодней передовице, а вообще «Восход» весьма почтенная газета, и мы рады всегда прислушиваться к его многострунному голосу. В № 1 за 1906 год обозреватель еврейской печати г-н Z., констатируя всеобщую еврейскую растерянность ввиду возможности новых погромов, говорит следующее: «У еврейской печати нет определенного, категорического ответа на грозные вопросы: “Что делать, что предпринять”, она не знает подобного ответа и не может дать его разоренному и терроризированному в конце еврейскому народу. Исключение составляют лишь народившиеся в конце года органы рабочей партии “Дер Веккер” и “Еврейский Рабочий”. У них есть готовое, определенное решение, определенный “лозунг”»... – Что вы, г-н. Z., – у «них» есть готовое средство против погромов? Да не со сна ли вы говорите?

Должен припомнить другой эпизод, уже не римский, а санкт-петербургский, и не один эпизод, а ряд эпизодов. Было это в эпоху «доверия», когда начались банкеты и на них стали изредка появляться рабочие. Надо было видеть прием, который устраивали этим рабочим. Дамы за ними увивались, мужчины расступались, барышни стреляли глазками. Со стороны это все было весьма противно. К чести русских рабочих надо сказать, что их это глазение стесняло и корбило, и они сами неоднократно и жалобно говорили:

– Да чего эти господа пред нами стараются?

Это мне вспоминается каждый раз, когда в еврейском «обществе», особенно вне черты, возникает речь о еврейском пролетариате. Господа ужасно стараются. «Пролетариату», что называется, смотрят в рот, приседают, обворожительно улыбаются, говорят комплименты, расстегивают пред ним жилетки и выворачивают души наизнанку. На «пролетариат» набрасываются, точно дамы в Ялте на покойного Чехова, со вздохами жаждущего сердца: – Ах, Антон Павлович, научите

меня жить! – Надо, однако же, отдать справедливость нашей избранной нации: если русского рабочего ото всего этого стошнило, то еврейский пролетариат – по крайней мере, поскольку он представляется Бундом – блестяще доказал тут наш национальный талант приспособляться к какой угодно атмосфере. Бунд вошел во вкус этого барского фимиама. Он развязно приходит в салоны, садится в кресла, закладывает ногу на ногу и поучает, как надо жить – поучает строго и сурово, без всяких поправок, не упуская отметить, что вы буржуи, прах, а мы соль земная. Точь-в-точь знаменитый маркиз де-Карабас, только шиворот-навыворот:

*Слушать, поселяне!
К вам – невеждам, дряни –
Сам веду я речь.
Я – опора трона!
Царству оборона
Мой дворянский меч!*

Вот уже несколько лет, как литература Бунда превратилась в один сплошной гимн самодовольства и самолюбования. Ни намек на внутреннюю критику – у нас все благополучно, мы так, да мы этак, все нас боятся, а враги наши Каины и Варравы. Наряду с этим развилось мелочное самолюбие, привычка дорожить аплодисментом. Стоит прочесть, каким курьезным тоном внутреннего удовольствия констатирует, например, «Der Wecker», что на съезде «достигателей» «много говорили о Бунде»: так и чувствуется, что автор, в сущности, ужасно польщен, хотя, конечно, и сохраняет на челе подобающую мину презрения к «dergreicher'am»⁶. Я предвижу, что если это пойдет так и дальше, литература Бунда понемногу превратится в одно сплошное «ура!» и ее можно будет петь на мотив «Боже царя храни». Но это все, конечно, их дело. Если вожакам Бунда еще не опостыла вся эта приторная, конфетная пантомима, – то на вкус да на цвет товарищей нет, а вольному воля. Пейте себе на здоровье патоку и купайтесь в самодовольстве, пока жизнь из-под ваших ног не вытащит последней ходули. Но «старающимся» еврейским интеллигентам следовало бы, все-таки, умерить свое почтительное усердие и посчитаться хоть немного с трезвою логикой.

Мы были бы страшно благодарны г-ну Z., если бы он нам процитировал то место из «Дер Веккер» или «Еврейского Рабочего», где содержится «готовое решение» против погромов. Шутка сказать! В Вильне теперь из за покушения на офицера Войткевича ждут не погрома, а кой-чего похуже: идет слух, что войска собираются сечь евреев. Я хотел бы знать, какие у Бунда «готовые» средства против этого нового ужаса и позора? Самооборона? Революционная борьба? Поздравляем! Это мы и раньше слыхали. Это все очень хорошие вещи – и самооборона, и революционная борьба; они поднимают дух еврейского народа и приносят ему великую пользу... в заграничном общественном мнении. Но как вы, однако, устройте, чтобы солдаты и под их прикры-

⁶ Здесь: «достигателям» (от greichn – достигать; *идиш*).

тием хулиганы вас не высекли, не взирая на всю самооборону и всю революцию, если им это будет угодно? Где этот чудодейственный «определенный лозунг», спасающий от «новых катастроф»? Пустой комплимент от избытка усердия, неуместный и бессодержательный. Бунд и все еврейские социалисты вместе взятые так же бессильны и беспомощны против погромов, как и г-н Z., и авторы передовиц «Восхода», и союз достигателей. Ибо вы живете в чужой земле, милостивые государи, и туземцы делают над вами то, что им угодно!

О, бесспорно, в органах Бунда нет той растерянности, о которой говорит г-н Z., и чувствуется «определенный лозунг». Но надо писать в «Восходе», чтобы этому поразиться. Надо привыкнуть к полному отсутствию какого бы то ни было определенного лозунга, чтобы растаять от умиления перед «решительным» тоном партийной газеты. Да для чего же иначе была бы на свете партийная программа, как не для того, чтобы частичные неудачи не могли колебать нашей веры в конечную цель и в избранный путь? Но никакая твердость веры не может мешать партии быть бессильной, когда она бессильна, и именно таков нынешний момент.

«Еврейский рабочий» говорит, что сионисты «не в силах придумать, какими мерами мы добьемся полноправия». Как раз о сионистах я бы этого не сказал так решительно, как говорю это о союзе «достигателей» — и о Бунде. Был бы я весьма любопытен знать, какими средствами может, например, Бунд взять да добиться еврейского полноправия. Чтобы добиваться, надо иметь силу, которая была бы хоть немного страшна неприятелю. В чем ваша сила, позвольте узнать? Еврейская крамола была страшна правительству, пока молчала коренная Россия, и была именно и только потому страшна, что представляла из себя спичку, которая грозила поджечь коренную Россию. Но теперь, когда вся Россия запылала, — кто помнит о спичке, кто с нею считается?

Последняя забастовка лопнула, хотя евреи самым усердным образом бастовали, и никто даже не заметил их усердия, потому что дело не в них, а в остальной России. Неужели можно в самом деле серьезно верить, будто крохотный народец, скученный на обочине страны вдали от ее политических центров, в состоянии по своей воле творить революцию в Империи со 135 миллионами жителей? Я уже не говорю о том, что лишь по невежеству нашему еврейская революция так часто отождествляется с Бундом; но если взять и Бунд, и социал-сионистов, и еврейскую часть российской партии и PPS, и собрать всех вместе, то они теперь не могут быть страшны русскому правительству, потому что перед ним выступил новый, настоящий неприятель, своей громадностью заслонивший всех старых врагов. Я сказал и повторяю: освободительная борьба очень хорошее дело, она приносит еврейскому народу честь и так далее, — но еврейские революционеры, с Бундом во главе, так же мало в состоянии добиться теперь еврейского полноправия, как и союз «достигателей».

Мы, сионисты, гораздо трезвее взглянули на дело. Сто тридцатимиллионная Россия делает свою революцию: она рано или поздно будет госпожою всего положения, и от нее будет зависеть признать или не признать наше полноправие. И так как нам желательно, чтобы она

его признала, то мы и считаем прежде всего необходимым, чтобы требование о полноте прав было заявлено действительно от имени всего еврейского населения. Тогда оно будет покрепче. Тогда будет ясно, что права, именно в данном объеме, представляют из себя не лишний запрос, а реальную потребность еврейского народа, и не дать их – значит отказать ему в действительно необходимом; а оставить одно из племен России неудовлетворенным в его действительных нуждах значит не довести до конца устроения и успокоения всей страны, сохранить в оздоровленном организме один ноющий нерв. И для этой цели мы и приняли идею национального собрания.

Но у нас была и другая, главная цель. Мы живем в чужой стране, мы в руках чужого народа. Если он захочет, будут погромы, и мы можем тогда умереть, как храбрецы, но не можем помешать. Если он не захочет, то не даст нам даже простого гражданского равноправия, и мы не сможем его заставить, потому что мы в ничтожном меньшинстве. Но одно в нашей власти: мы можем создать и сплотить еврейский народ, выделить его из окружающих масс в стройное целое и воспитать в нем сознание национальных нужд и задач. И после того пусть гром гремит и воеет буря, но сознание сохранится, единство будет крепнуть, и народ пойдет своими путями к полному восстановлению своей утраченной свободы.

Будьте спокойны, господа. Кто-то растерялся и сбился, – но сионисты хорошо и твердо знают, «какими средствами» надо вести народ к его настоящему *полноправию*.

ЕВРЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ⁷

Поздно теперь ставить вопрос о том, «должны» или не «должны» были евреи принимать участие в революции. Точнее было бы сказать: «в революционной борьбе с самодержавием», – так как в понятие революции, кроме этого негативного момента, входит еще и другой, творческий, созидательный. Этот второй момент российского переворота еще не вполне выступил на сцену, и, когда он выступит, легко может оказаться, что евреи в нем никакой или почти никакой роли не сыграли. Между тем здесь-то им, пожалуй, и следовало бы проявить особенную энергию – главным образом в выработке и создании новых форм для сожительства разнородных национальностей. Но сегодня речь не об этом моменте, а о первом – о революции в обывательском значении слова. Тут уж, конечно, не о чем хлопотать: «должны» или не «должны» были евреи вмешаться в нее, – они фактически приняли в ней огромное участие, и, значит, так было необходимо, а иначе быть не могло. *Damit Punktum*⁸.

Но за каждым из нас должно быть признано право на исходе определенного периода революции, в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то

⁷ Хроника еврейской жизни, № 3, 24.01.1906.

⁸ И точка (нем.).

дурное, что произошло для нас от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Я попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель – получить, насколько это в его силах, правильный баланс.

Один выигрыш от революции для меня вне всяких сомнений. Я о нем писал уже несколько раз. Это – выигрыш моральный. Роль нашей молодежи в огромных событиях российского переворота создала, особенно в Европе, совершенно новое мнение о нашем народе. Этим нельзя пренебрегать. Мы, сионисты, всегда издевались над попытками апологии, и были правы, ибо апология как цель унижительна, смешна и бесполезна. Личность и народ должны действовать ради своих интересов, а не ради доброго мнения соседей.

И лучший способ реабилитировать себя в глазах других, это – идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь. Такой реабилитацией нельзя дорожить. Куда бы ни пошла дальше линия нашей национальной самостоятельности, – нам придется то, что племена земли не считают нас больше народом трусов. Великую или малую пользу принесет нам эта перемена в общем представлении – другой вопрос, ответить на который можно было бы лишь гадательно, а я гадать не хочу. Но пренебрегать нельзя. В этом отношении наша роль в революции уже окупилась.

Есть еще и другая сторона в этой моральной пользе – сторона субъективная, подъем боевого духа в самом еврействе. Нечего таить: ведь не только во взгляде других на наш народ совершилась перемена – перемена совершилась и в нас. Еврей сегодня уже не похож на еврея 25 или даже 10 лет тому назад. Конечно, смешно было бы думать, что русская революция создала этот подъем. Он создан ходом еврейской жизни, который привел к пробуждению национальной самостоятельности, активно-исторического творчества. Но русская революция была школой для этого нового духа. Она приучила еврея «к огню», как выражаются военные, и эта выучка нам еще не раз и не раз понадобится в будущем. В этом отношении наша роль в революции тоже не прошла для нас без пользы. Я не повторю, что и здесь она вполне «окупилась» – это, пожалуй, было бы чересчур, потому что и без такой выучки – слишком дорогой выучки! – развилась и возросла бы активная энергия народа в силу внутренних процессов его собственного роста. Можно было дешевле заплатить и приобрести то же самое. Но если мы переплатили, то все же приобрели. Честный бухгалтер должен записать и малую прибыль.

Честный бухгалтер должен записать и убытки. Здесь я должен задуматься. Мы подходим к трудному казусу политического счетоводства: что нам дала и что нам даст наша роль в революции в смысле реальных выгод? Реальные выгоды это в данном случае права. Я, допустим, не сомневаюсь, что революция в конце концов нам их даст, но не о том вопрос. Вопрос о нашем участии, о наших затратах на революцию. Окупятся ли они? И даже больше спрошу: оправдается ли этот великий расход еврейского народа, – будет ли доказано, что

эти затраты действительно были необходимы для получения полных прав в обновленной России?

Сложный вопрос. Я выше сказал, что раз евреи приняли участие в революции, значит, так было необходимо. Но я имел в виду другую необходимость – внутреннюю. Видно, таково было настроение народа, что из него должен был выделиться известный процент революционеров. Но была ли объективная, так сказать, «деловая» необходимость, в том простом смысле, что, не будь евреев-революционеров, мы не получили бы никогда равноправия?

Многие так именно и полагают. Я не могу присоединиться к этому мнению. Я, конечно, не ручаюсь за то, что в этом случае – не будь наших революционеров – нам обязательно дали бы права. Может быть, и не дали бы. Но ведь киргизы бесспорно получают все права, которых им недостает, хотя и духу их не было в революции. Значит, евреи на особом положении. Не спорю. Но тогда я не вижу реального смысла именно в этом средстве завоевать себе полноправие. Одно из двух: или Россия, настоящая народная Россия, хочет нашего равенства, или не хочет. Если хочет, то дала бы его нам и без учета наших заслуг по революционному делу. Если не хочет, то не можем же мы ее заставить. Наша революция бессильна против парламента России – в этом никто не сомневается.

Или то, чего нам иначе не хотели бы дать, будет нам дано именно в благодарность за наши заслуги? Наши революционеры почти все исторические материалисты. Странно было бы услышать из их уст, что благодарность или память о заслугах может явиться реальным фактором в истории...

Но, конечно, в этом еще не весь вопрос. Если бы даже и была полная уверенность, что революция все равно даст нам права и без всяких заслуг, – то ведь самой революции не было. Надо было вызвать ее. И эту роль взяли на себя евреи. Они – легко воспламеняющийся материал, они – грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом, и считается большой истиной. Но я, счетовод, и над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумье, и не знаю, окупилась и окупится ли она.

О, бесспорно, это прекрасная задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 130-ти миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтоб увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома, – чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?

Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны, Кострома, бесспорно, вводилась во искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и нашего околоточного... этаким же манером? – В то же время отдельные евреи

добирались и до самой Костромы, и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но... А другая сторона?

Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что чрез несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с хорошим открытым лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собою штурмом на город и повесить Дмитрия Нейгардта на фонаре у Строганова моста. И ораторов действительно слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» – с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым «р». И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? – Именно замечание, а не возглас, не окрик; в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы – это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был свой от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным – деревней, степью, Русью.

Тут были ведь не пропагандированные люди, которых можно взять резонами, – тут была масса, неподготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь именно этого не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жида пошли – ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награвленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы.

Я далек от того, чтобы медленный рост революционного настроения в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого – если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, – у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.

А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто, и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ

им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда неумоготу становились страдания русского народа, и вот-вот готов был прорваться его гнев, – кто сосчитает, сколько раз в такие моменты самодержавие спасало себя искусной игрой на этой слабой струнке стихийного существа – на недоверии к революции, предводимой инородцами?

Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещало самодержавие их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И я говорю, что если, с одной стороны, еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то, с другой стороны, преизобилие евреев в рядах крамолы давало самодержавию ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году самодержавие сыграло такую же спекуляцию на польском восстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.

И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение самодержавия? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет – ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, – но дешевле заплатить за свободу?

Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, – я не могу, потому что не знаю ответа.

Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовней все модные вопли о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров – значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.

Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не всегда ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного

союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, — а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит...

Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, — только там воля народа всегда к благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное недоверие к чужакам и скажут: благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.

ЕЩЕ О БУНДЕ⁹

I. «Культурная» автономия отыскалась

Жив Курилка!

Недели три тому назад в номерах 28 и 29 газеты «Der Wecker» была помещена статья за подписью А. Литвак, посвященная отчасти позиции Бунда по отношению к Национальному Собранию, а главным образом, моей скромной особе. Отозваться тогда же на эту статью оказалось неудобным в виду того, что через несколько дней последовало свыше закрытие «Wecker'a». Теперь уже имеется новая газета того же направления. Такое приятное известие дает мне возможность, не нарушая литературных приличий, откликнуться на статью почтенного органа политической улицы.

Конечно, мне в этом отклике не удастся возвыситься до эпической силы моего оппонента. Его статья озаглавлена «Kunzenmacher»¹⁰, и в ней рассыпаны такие словеса, как «der fokusnik», «прыгает и ломается», «клоун», — и все это про меня. Я так не умею, да и не притязаю на такой тон. Я давно примирился с мыслью, что он составляет неоспоримую привилегию Бунда. Уж на что суровы были к этому «всеобщему» еврейскому рабочему союзу на II съезде российской с.-д. партии, но и там должны были признать за ним эту привилегию: когда кто-то из бундовцев начал сквернословить, и председатель было запротестовал, то чуть ли не сам г-н Троцкий вступился и попросил предоставить делегации Бунда «свободу языка», что и увековечено протоколом. Не могу же я, заведомый и давнишний почитатель Бунда, оказаться скупее такого ярого бундоеда. Не могу же я требовать, чтобы для меня целая организация отказалась от исконных традиций своей политической тактики. Я могу только преклониться и благоговейно сказать:

— Мели, Емеля!

⁹ Хроника еврейской жизни, № 8, 24.02.1906.

¹⁰ Фокусник (*идиш*).

По существу же вопроса мой оппонент настаивает, что совсем не «пропала культурная автономия»: напротив, Бунд все еще высоко держит то знамя национального освобождения, на котором написано, что погромы, бойкот, экономическое вытеснение и Alien-bill'и – все ерунда, а суть в децентрализации школьного дела. «Der Wecker» очень сердится на меня за мои сомнения, и в доказательство моей низости ссылается на одну свою статью, где говорилось паки о пользе «культурной» автономии – хотя тут же отмечает, что эта статья была напечатана после рассуждения о Национальном Собрании, вызвавшего мои сомнения... Что же, я, конечно, в высшей степени рад, что мои подозрения о пропаже автономии не подтвердились. Но... не позволю себе все-таки предложить «Wecker'у» почтительно-скептический вопрос: «а вы в этом очень уверены?» Вы, правда, ссылаетесь на статью во славу «культурного» сейма, напечатанную на ваших столбцах, но ведь это – простите за откровенность – еще ничего не значит. В вашей же газете недавно была убедительная статья о необходимости слиться без всяких церемоний и оговорок с российской партией, а в следующих номерах столь же убедительные возражения против этого проекта. Ясное дело, что по вопросу о «воссоединении церквей» в лоне Бунда существуют два мнения. А ведь вопрос о бундовском национализме тесно связан с этим организационным вопросом, и давно уже не только злые, но и дружественные языки уверяют, что и по пункту о национальных требованиях имеются в лоне Бунда тоже «два мнения». Так говорят языки; лично же я не позволю себе такой определенности и скромно замечу: чтобы тут было именно два мнения, не больше и не меньше – за это не смею ручаться, но что есть сумбур и путаница – это бесспорно.

Предлагаю читателю судить. В № 2-м «Хр. Е. Ж.» я с изумлением отметил ту странность, что все доводы редакционной статьи «Wecker'a» против Национального Собрания могут быть целиком применены против национального сейма, – да к тому же в статье вместо «Национальное Собрание» почти всюду упорно было написано «сейм». – Мы не пойдем в этот «сейм», – аргументировала газета, – потому что сионисты будут там в большинстве. – И я задал вопрос: но тогда ведь и в вашем «культурном» сейме у сионистов будет большинство; следовательно, вы, страха ради сионска, должны отречься от «культурной» автономии? На это теперь «Der Wecker» отвечает, что тут большая разница, что Национальное Собрание не будет иметь никакой принудительной силы, а «культурный» сейм будет, мол, санкционирован государством и т. д., – и торжествующе прибавляет:

«...как видит читатель, Национальное Собрание и культурный сейм суть две различные вещи, и можно стоять за национально-культурную автономию и быть против так называемого Национального Собрания» (№ 29).

Но позвольте: а что же все-таки со щекотливым вопросом о буржуазно-сионистском большинстве? Если вы его боитесь даже в Национальном Собрании, которое не будет иметь принудительной власти, то как же вы – *kal wa choimer!*¹¹ – не опасаетесь его в санкцио-

¹¹ Тем более (*иврит*).

нированном сейме, где оно сможет насильственно заставить вас плясать под нашу дудку – например, давать вашим детям строго национальное воспитание с основательным изучением Палестины? Где же тут логика? Неведомо. Но мой оппонент упорно утверждает, что «Нац. Собрание и нац. сейм – две различные вещи». И тогда у вас, конечно, опять возникает вопрос: почему же в той редакционной статье сейм называли «Собранием» и Собрание «сеймом»? На это вам в № 28-м опять самым развязным образом отвечают, что оно, собственно, все равно, и даже «сторонников еврейского Национального Собрания называют теперь сеймитами». Я прежде всего должен довести до сведения редакции почтенного политического официоза, что «сеймитами» называют не «сторонников Национального Собрания», а сторонников той сионистской концепции, согласно которой идеал сионизма может быть осуществлен только путем накопления национально-еврейских сил в форме санкционированных автономных сеймов. Это знает теперь в черте каждый экстерн, и если «Der Wecker» тут опять сбился, то... то он, значит, и посейчас все-таки не может разобраться в разнице между Собранием и сеймом. «Кажинный раз на ефтом самом месте!..»

Мне, быть может, скажут, что на этот раз я напрасно придираюсь к «Wecker'у», как таковому, а не к г-ну Литваку, писавшему эту статью. Но я не мог бы согласиться с таким отводом. «Wecker» – не «Восход». Партийная газета, как «Der Wecker», ответственна за каждую строчку, напечатанную без редакционной оговорки. Я не могу считаться с г-ном Литваком, о котором никогда не имел и теперь не имею решительно никакого представления. Я считаю с газетой, а газета есть выразитель организации. И когда газета, обсуждая важнейшие вопросы, раз за разом обнаруживает самое примитивное, самое захолустное непонимание заграничных слов, я не могу не поставить этого в пассив организации, и не могу не напомнить опять и опять, что не только простые доброжелатели, вроде г-на К. К. из «Зари», но даже лучшие друзья, вроде г-на Акимова-Махновца (единственного защитника Бунда на злосчастном 2-м съезде) с прискорбием констатируют явную теоретическую «неподготовленность» бундовских руководителей. А когда на почве этой «неподготовленности» разыгрываются передо всей почтеннейшей публикой такие курьезы, что в органе «культурных» автономистов печатаются в редакционной статье аргументы, прямо и безжалостно уничтожающие с пролетарской точки зрения «культурную» автономию, и потом приходится починять и замазывать ошибку новым нагромождением путаных выкрутасов, – то это ясно значит, что сумбур тут не на бумаге, а в самой организации. Именно так мы все это и понимаем, и никакие ругательства не закроют от нас того, что мы совершенно отчетливо и ясно видим: старая позиция между двумя стульями трещит, сшитые белыми нитками полунационализм и полуассимиляторство – тащат каждый в свою сторону, и не один растерявшийся «теоретик» уже давно с досадой поглядывает на проклятую «культурную» автономию, бормоча сквозь зубы:

– Черт тебя занес в нашу программу... Еще куда ты нас заведешь?

Внутри Бунда скрипит. А когда внутри скрипит, то снаружи слышно. Вот и все. Я могу вместе с редакцией «Wecker'a» пожалеть, что

отголосок этих досадливых размышлений по недосмотру попал однажды в набор, да еще в виде редакционной статьи; я могу также сердечно порадоваться, что на сей раз дело исправлено и «автономия» спасена. Но не могу понять, за что вы так рассердились? Ведь я же, помилуйте, не утверждал наверное, что «автономия» пропала, – я только спросил, а спрос ведь не беда? И вдруг такие молнии на мою бедную голову... Странно. Очень странно. И мне невольно приходит в голову, что тут вас, очевидно, зацепили за очень болезненное место...

Позвольте по этому поводу рассказать вам одну буржуазную притчу. На бирже встретились несколько финансистов и стали спрашивать друг друга: – Ну, как дела? Банкротировать, хе-хе, не приходится? – И все спокойно и улыбаясь отвечали: – Хе-хе, пока еще не приходится... Только один возмутился, затопал ногами и закричал: – Как вы смеете? – И все поняли, что в боковом кармане у этого господина уже заготовлены письма к его кредиторам: «Честь имею просить вас пожаловать ко мне такого-то числа на чашку чаю...»

II. Почему я поклонник Бунда

Domina ancillas amare debet. Госпожа должна любить своих служанок.

Из латинского учебника

Что касается вылазок лично против меня, то я уже сказал, что на них отвечать не стану. Но есть одна в их числе, на которую я возражу довольно пространно – потому что она, собственно, касается не моей скромной особы, а весьма интересного принципиального вопроса. Я давно заметил, что господам из Бунда совершенно недостает сколь-нибудь ясного понимания этого вопроса, между тем как оно им очень и очень необходимо, – и потому, в качестве давно зарекомендованного доброжелателя, я попытаюсь им это раз навсегда растолковать. Речь идет об оценке Бунда с сионистской точки зрения.

«Der Wecker» никак не может разобраться в этой оценке. Он не понимает, как это можно признавать заслуги и достоинства Бунда и в то же время быть его противниками. Газета, очевидно, предпочитает популярную альтернативу: или в зубы, или ручку пожалуйста. И так как я не обнаружил столь упрощенного мировоззрения, то она и заявляет: «Г-н такой-то не помнит, что сказал вчера, и не знает, что скажет завтра». Ниже я документально покажу, что всегда и письменно, и устно проводил одну и ту же точку зрения на Бунд и его роль в истории еврейства; но теперь я останавлиюсь на другом пункте, которого «Der Wecker» тоже никак не может понять. Я, видите ли, заявил, что если бы Бунд исчез в 1903-м году, это было бы жалко, так как тогда еще не было заместителей; а теперь заместители уже готовы, и потому, если угодно – скатертью дорога. «Der Wecker» изумлен. «Это вас бы огорчило, – спрашивает он меня, – если бы два года тому назад Бунд сошел с еврейской политической сцены, и не было бы другой социалистической партии, которая могла бы его заменить? Это вы теперь довольны, что есть уже заместители? Да кто же вы такой: поалей-сионист или сионист-социалист? Подымите маску!»

С большим удовольствием, милостивые государи. Охотно открою вам эту глубокую тайну. Я – сионист. Вы и вам подобные, во всеоружии вашей бездонной «теоретической неподготовленности», очень часто сочиняете статейки против «Kol-Isroel-Politik» и уверяете, что таковая немыслима. А я – сторонник и поборник именно этой общеврейской политики, вытекающей из общеврейских интересов. Но прошу вас правильно понять: быть Kol-Isroel-politiker'ом не значит только желать такой политики, сокрушаться об ее отсутствии и проповедовать ее. Нет, милостивые государи: я – «кол-исроэлист» потому и в том смысле, что признаю эту политику уже совершившимся и совершающимся фактом, что ясно вижу, как она – в неполной и бессознательной форме – проводится и осуществляется всеми слоями и группами еврейства, даже теми, которые о ней слышать не хотят. Я вижу совершенно ясно и отчетливо, что отдельные классы еврейского народа, сами того не видя, на каждом шагу фактически поступают своими классовыми интересами ради общенациональных (а если вы попытаете заспорить, я вам напомню хотя бы резолюцию вашего собственного IV съезда об ограничении экономической борьбы); и делают они это не из великодушия, а потому, что они к этому вынуждены, потому, что они составляют часть единого национального целого, и от благосостояния этого целого зависит их благосостояние. И, видя это, я считаю невежественной болтовней все модные вопли о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, и эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа¹².

В чем же заключается эта единая политика национального блока? В том, что еврейский народ инстинктивно стремится к так называемому «самоопределению» – к полной свободе для всесторонней национально-организованной самодеятельности.

В этом одном требовании заключена вся наша платформа. Его нам достаточно потому, что мы знаем, какова будет эта самодеятельность и в какую сторону неизбежно поведет она еврейский народ¹³.

Ибо еврейский народ, под непреодолимым давлением всего комплекса так называемой силы вещей, бессознательно и сознательно тяготеет к концентрации своих рассеянных элементов и восстановлению своей национальной государственности¹⁴.

Таков стихийный процесс, и каждый отдельный отрезок или слой еврейского народа по-своему переживает и проделывает различные стадии этого процесса, но не может уклониться от него.

...Всякое новое событие в жизни еврейства, крупное или малое, отрадное или печальное, рано или поздно впадет только лишним при током в русло сионизма. Вся сложная гамма еврейских проявлений,

¹² Хроника еврейской жизни, 1906, № 3, с. 8–9.

¹³ Еврейская жизнь, ноябрь 1905, с. 52.

¹⁴ Там же, с. 49.

начиная с героизма еврейских рабочих и кончая богатствами еврейских банкиров, и даже ассимиляция, которая ослабила нас изнутри, но дала нам бесчисленное множество сил и связей извне, – все это, в силу вещей, неизбежно будет координировано и учтено в свою пользу синтезирующим движением, ведущим к национально-государственному возрождению нашего народа¹⁵.

А потому «политическая роль сознательного еврейского гражданина заключается в том, чтобы расчищать дорогу для этой силы вещей». Вот та точка зрения, с которой сионист оценивает национальную роль той или другой личности, той или другой партии. Только с этой точки зрения мы и рассматриваем национальную роль Бунда. И с этой точки зрения мы находим в ней двоякую пользу. Во-первых, они (т. е. бундовцы, а на тогдашнем подцензурном языке – «автономисты») содействовали выработке активного настроения в еврейском простонародье... Они приучили часть еврейской массы к организации, развили в ней сознание своих классовых интересов и внушили ей идеал более справедливого общественного строя. Это все очень важные вклады в сокровищницу народного духа, а мы, сионисты... не можем не дорожить всем, что усиливает и обогащает нацию духовно или материально. И так как все, что усиливает еврейство, усиливает и сионизм, то вся эта сторона деятельности автономистов должна оказаться, в последнем итоге, водою на колеса нашей мельницы, и будет нами рано или поздно пожата и использована для целей сионизма¹⁶.

Но это только одна сторона бундовской заслуги, которую, к тому же, Бунд по справедливости должен разделить с еврейской частью Искры, с.-р. овцев и Р. Р. С. Для нас (в данном случае) гораздо важнее другая сторона дела – именно та, в которой Бунду не с кем разделить свою славу, ибо здесь у него до самого последнего момента не было ни сотрудников, ни соперников.

Та или иная группа еврейского народа не всегда сразу приходит к полному пониманию своих интересов и задач. На пути к этому полному пониманию возможны отдельные этапы, последовательные ступени.

При такой постепенности первым и, быть может, важнейшим шагом является *выделение* данной группы из общего массива. Чтобы ее выделить, надо, конечно, внушить ей убеждение в том, что у нее имеются свои особые интересы; однако, при этом как сама группа, так и ее вожаки могут иногда не вполне ясно представлять себе, каковы собственно эти особые интересы, и даже толковать их самым ошибочным образом. Но здесь только вопрос времени: рано или поздно истинное содержание реальных интересов данной группы будет ею понято и охвачено во всем его объеме, – лишь бы только соблюдалось главное условие: чтобы группа все время оставалась выделенною, чтобы она ни на мгновение не сливалась с общим массивом, чтобы ни на миг не ослабевало в ней ощущение своей специфичности и обособленности.

¹⁵ Там же, с. 51.

¹⁶ Хроника еврейской жизни, 1905, № 13, 2–3.

Если только соблюдено это главное условие, то можно быть уверенным, что сознание группы будет пытливо работать над раскрытием полной формулы ее интересов, пока не добьется истины.

Я, милостивые государи, не принадлежу ни к Поалей-Цион, ни к сионистам-социалистам и ни к какой другой из нынешних или будущих фракций пролетарского сионизма. Я – общий сионист, в глазах которого сионизм является потребностью всех классов еврейства и который, поэтому, с большим участием и сочувствием следит за процессом постепенного сионизирования каждой из еврейских классовых групп. Одна из этих групп – еврейская рабочая масса, а бундизм – один из ее этапов в этом процессе. И в этом весь национальный смысл Бунда, и вне этой роли он не имел бы никакого *raison d'être*¹⁷.

Нам (сионистам) полезно все то, что ведет прямо или косвенно к выделению еврейских сил или еврейских интересов из так называемого «общего дела». Нам был полезен Бунд, поскольку он выделял еврейский пролетариат в особую организацию и внушал ему сознание того, что у еврейского класса есть свои особые интересы; правда, в это понятие «особых интересов» Бунд не сумел вложить никакого содержания, но тем лучше – об этом пробеле позаботятся социал-сионистские партии¹⁸.

Положа руку на сердце, полагаю, что все вышесказанное дает мне полное право причислить себя «к убежденным и горячим поклонникам Бунда».¹⁹

И если кто-нибудь из сионистов со мною не согласен, я обвиняю его или в непонимании, или в черной неблагодарности. В течение пяти лет на глазах у нас Бунд из всех сил систематически подготавливал еврейскую рабочую массу к восприятию сионизма – именно тем, что всеми силами поддерживал обособление еврейского пролетариата, не умея в то же время достаточно объяснить цель этого обособления. Та цель, которую он указывал – сначала равноправие, потом хедерная «автономия» – не выдерживала никакой критики: и в «Искре», и в «Заре», и на 2-м съезде российской партии Бунду неоднократно и неопровержимо доказывали, что *эти* цели не только не оправдывают организационного сепаратизма, но даже наоборот – именно в этих целях необходимо слияние. И тем не менее Бунд не хотел слияния и рекламировал и прославлял на все лады обособление, и согласился ради этого обособления даже на полный разрыв со своими хозяевами; и в результате получилось то, что еврейская рабочая масса действительно насквозь пропиталась верой в необходимость обособления и наличность особых интересов – и теперь остается сделать только один шаг: объяснить этой массе, в чем состоят ее особые интересы. Бунд разыграл для нас, сионистов, роль анекдотического Кузьмы, который накормил Фому селедкой, а напиться не дал, – и нам теперь осталось только поднести жаждающему Фоме чашу воды от берегов Иордана.

И после этого «Der Wecker» удивляется нашей благосклонности? Да помилуйте! Кого же нам ценить, если не вас? Или мы, по вашему,

¹⁷ смысл существования (*франц.*).

¹⁸ Хроника еврейской жизни, 1906, № 1, стб. 1.

¹⁹ Еврейская жизнь, ноябрь 1905, с. 40.

слепы и глухи, и не видим того, что видят уже давно все вас окружающие? Вот уже несколько лет, как в Швейцарии стало ходячею фразой, что Бунд ведет свою массу прямо в объятия сионистов (ср. № 56 «Искры»); Плеханов окрестил бундовцев «сионистами, боящимися морской качки»;²⁰ солидная «Заря» с недоумением вопрошает их: «Да какая же разница между вами и сионистами?» – и только один Бунд еще не понимает, какую роль он сыграл в истории сионизма.

А теперь прошу посмотреть на выноски под текстом этой статьи. Все это взято из моих писаний о Бунде, начиная с марта прошлого года и кончая нынешней зимою. «Der Wesker» уверяет, что я «вчера» писал одно, а «сегодня» другое. Пусть судит читатель, так это или не так. Я же со своей стороны обещаю редакции «Der Wesker'a» разорвать в ее честь сто марок Национального Фонда, если она во всем, что я писал и говорил о Бунде, укажет хотя бы одно слово, противоречащее тому неизменному взгляду, который я высказывал «вчера», высказываю «сегодня» и буду высказывать «завтра»: что со дня своего зарождения Бунд был не чем иным, как своего рода *behelfer*'ом²¹ при сионизме, что в этой роли заключается все его национально-историческое значение и его основной *raison d'être*, и что в момент, когда он откажется от этой роли и уклонится от мании развития сионизма, Бунд потеряет все свое влияние и сойдет без следа с еврейской политической сцены. И если вы, милостивые государи, ссылаетесь на ноябрьский съезд Союза полноправия, где я говорил-де по вашему адресу «комплименты», то позвольте вам заявить на основании стенографического отчета об этом съезде, что я там во всеуслышание повторил то же самое. Я сказал: «Здесь, конечно, может возникнуть вопрос относительно моей беспристрастности как принципиального противника Бунда... Я хочу заранее избавить себя от подозрения в партийном пристрастии. Здесь, не раз говорилось, что мы, сионисты, считаем себя не партией, а выразителями всего еврейского народа. Всякий новый шаг еврейского народа... ведет к тому, чтобы рано или поздно привести его в наш лагерь... В этом мы уверены, и с этой точки зрения мы видим известную долю пользы для себя в деятельности почти каждой партии, и смотрим на них скорее как на сознательных или бессознательных помощников, чем как «на конкурентов»»²².

И все «комплименты», которые я делал Бунду на этом съезде и которые с величайшим удовольствием повторю где и когда угодно, заключались именно в том, что Бунд идет за массой, когда масса идет к сионизму. Поздравляю вас с такими «комплиментами»!

²⁰ Это высказывание приводит в своих мемуарах и Хаим Вейцман, в начале 1900-х встречавшийся в Женеве с лидерами российской социал-демократии: «Когда был создан Бунд <...>, Плеханов язвительно заметил, что “бундовец – это сионист, который боится, что его укачает во время переезда в Палестину”». В своих печатных выступлениях («Искра», № 82 от 1.01. 1905) Плеханов именвал бундовцев так: «непоследовательные сионисты, стремящиеся к тому, чтобы утвердить Сион не в Палестине, а в пределах российского государства».

²¹ Подручным (*идиш*).

²² Протоколы съезда Союза для достижения и т. д. 22–25 ноября 1905 г., С.-Петербург. Стенографический отчет, выпущенный Центральным Бюро Союза.

Только один из моих «комплиментов», которые приведены в статье «Wecker'a», я действительно должен признать чрезмерным. Но с этим «комплиментом» вышло нечто весьма странное и в порядочной печати небывалое. Тут уж я предлагаю почтенной редакции «Wecker'a» не то что разорвать сто марок, а прямо-таки записать ее в золотую книгу Национального Фонда, если она мне укажет, где было напечатано или в какой публичной речи был мною произнесен этот «комплимент»? Ибо я что-то не помню...

Этот «комплимент» в передаче газеты гласит так: «Бунд – это одна из лучших жемчужин в короне Теодора Герцля». Трудно описать волнение, в которое пришел мой г-н А. Литваков от этой фразы. Прочитав ее, он не то истерически, не то патетически восклицает:

«Посмотрите нам прямо в глаза, г-н такой-то! Вы помните, кому принадлежит эта напыщенная фраза?» (№ 28).

Да-с, милостивый государь. Помню. Она принадлежит мне. Я никогда и нигде не печатал и публично не произносил этой фразы. Я сказал ее в виде шутки *наедине* одному моему доброму знакомому, тоже бундовского вероисповедания. И я прекрасно помню, что при этом нашем разговоре г-на А. Литвака в комнате не было.

И вы еще требуете, чтобы я «взглянул вам прямо в глаза»! Однако, это развязно. Да вы-то сами посмотрите мне в глаза и извольте ответить: вы имеете понятие о том, как должен себя держать порядочный журналист? Вы слыхали про то, что опубликовать частные разговоры, да еще переданные вам от третьего лица, есть выходка, достойная уличной печати?

Я, милостивые государи из газеты «Der Wecker», прошу вас верить, что *такой* «комплимент» мог у меня вырваться только в виде шутки *наедине* с добрым и старым знакомым. Публично я бы его в этой форме не сказал. Какой я ни поклонник Бунда, но нахожу, что уж это для вас слишком много чести. Если бы мне пришлось повторить этот шуточный парадокс публично, то я выразил бы это иначе. Я бы тогда сказал, что Бунд – это одна из лучших пристяжных в колымаге д-ра Авиновицкого. Есть такие пристяжные: брыкаются, но везут.

На этом считаю вопрос о «комплиментах» поконченным, и думаю, что для всех теперь ясно, почему я был, есть и буду почитателем Бунда. Как сионист я не могу не дорожить вспомогательной ролью этой организации, и от всего сердца желаю ей и дальше продолжать свою деятельность на пользу нашему делу. Причем у Бунда остается, конечно, самый свободный выбор, каким путем приносить нам эту пользу: *se soumettre*²³ или *se demettre*²⁴. Первый путь – значит расширить свою программу до совпадения с социал-сионистскими партиями; второй путь – значит наверняка уйти со сцены, предоставив ее целиком опять-таки социал-сионистам. Третьего пути нет. Говоря откровенно, я лично больше был бы доволен первым, но на худой конец ровно ничего не имел бы против второго.

²³ покоряться, подчиняться (*франц.*).

²⁴ уйти в отставку; сложить с себя обязанности, полномочия (*франц.*).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ²⁵

Много и часто писал я когда-то для южного читателя, главным образом еврейского читателя, хотя мне велено было об этом обстоятельстве не упоминать. Теперь я возвращаюсь к старым знакомым, но возвращаюсь с тяжелым чувством. Моя прежняя работа в Одессе не принесла мне, правда, ни одной минуты удовлетворения, но мне писалось легко, может быть потому, что вообще тогда было сравнительно беззаботное время, а вернее потому, что вокруг себя я ощущал теплоту известного сочувствия. С того времени все переменялось. Теперь к моему перу словно привешена тяжесть, я больше не близок моему читателю. Я испытываю чувство человека, пришедшего со своими заветными словами в холодную приемную незнакомых людей, где почти наверное встретят его недружелюбием и отчуждением.

Наше движение пробивает себе дорогу в атмосфере непонимания и клеветы. За эти три года я близко видел жизнь разных партий, следил за их враждою – ни против одной из них не пушено в ход столько ненависти, сколько против нас. Сделано все, чтобы нас изолировать. Свежий человек из среднего круга, примкнувший к нашему лагерю, замечает, как понемногу от него ускользают старые связи, падает общественное признание, вместо уважения в глазах окружающих мелькают искорки пренебрежительного недоумения. С поражающей быстротой создается вокруг него – за пределами партийной жизни – холод одиночества.

В этом нет ничего странного. Так было и всегда будет. Когда на улице праздник, люди требуют, чтобы все были в брачных одеждах: среди еврейской интеллигенции до сих пор еще держится вера, что праздник относится и к нашей улице; и когда между ними проходит человек с траурной повязкой на руке и с кличем: «не верьте!» – они раздраженно отворачиваются. Это вполне естественно, роптать против этого бесполезно. Тяжесть, нависшую на пере, надо поднять. Навстречу недружелюбию, навстречу злобе и клевете надо нести нашу горькую правду без прикрас и без смягчений.

Я хочу начать сегодня с самого горького зерна этой горькой правды, и не только потому, что оно горше всех остальных, но еще больше потому, что в этом вопросе главный корень упрямой ненависти, которой окружено наше движение. Флаг надо поднимать сразу над тем местом, куда направлен самый жестокий натиск противника. Это – вопрос о еврейской роли в русских событиях.

Почти уже десять лет, как люди нашего лагеря ведут настойчивую проповедь осторожного и сдержанного отношения к этой роли. Я всегда признавал, что эта проповедь была ошибкой с их стороны, потому что она тактически много нам повредила, а практически не принесла результата: все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю. Раз оно так случилось, значит, и не могло быть иначе, и наша проповедь осуждена была на бесплодие, и было бы расчетливее совсем не тратить нашей силы на этот спор. В *этом* смысле мы сделали действительно

²⁵ Хроника еврейской жизни, № 8, 24.02.1906.

ошибку, но только в *этом*. Есть и другой смысл – смысл жизненной правды, которая не всегда вовремя проникает в сознание людей, но всегда остается правдой. Эта правда была за нами. И теперь, когда накоплен еврейством России неслыханный, чудовищно-богатый опыт, когда пережито все, что можно было пережить на быстром пути между верхом восторга и пропастью отчаяния, теперь мы подводим итог и спрашиваем: кто был прав?

Нам до сих пор стараются втолковать, что дело России есть общее дело, как будто против этого кто-нибудь спорил. Суть спора в том, что на общее дело надо и расходовать сообща, а сообща значит пропорционально. Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами, и с ее силами. Больше должен тратить на общее дело тот, кто получит большую выгоду от его осуществления; больше должен тратить тот, у кого силы и средств больше. – Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерена ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного настолько бессовестного глупца, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос, – ни одного, кто в глубине души не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями, а психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием. Это все понимали. Все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, – и все же мы заплатили больше, непомерно, безумно больше того, что могли заплатить, и того, что стоило заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственною волей систематически вносили на алтарь общего дела удесятеренную живую подать, – а когда взошел посев, судьба взыскала с нас уже помимо нашей воли неслыханную доплату... Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или не разумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? И если даже поверить, что от этого по чужой косности ход событий растянулся бы на более долгие годы, – кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену?

Наши политические танцоры в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской души. Да. Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупой и расчетливой, как лавочник над своею кровною кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь – это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело, если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется, не разорит ли ее непомерное бремя и стоит ли вся игра свеч, – это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае плясуном, место которому в балагане, а не на трибунах политической борьбы. – Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас, но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то, что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы?

Еще не настало время для окончательных итогов. Только будущий историк ответит на этот вопрос. Но уже и теперь сами действующие лица в собственном сознании ясно предчувствуют его беспощадный ответ. Уныние национального бессилия, охватившее самые гордые партии на еврейской улице, говорит громче слов. Горячка первого задора у них прошла, и они впервые трезво смирили с ног до головы противника и себя. И они увидели, что против гиганта, вооруженного сталью, мы, евреи, не располагаем ни одним из орудий материального могущества – ничем, кроме нервного энтузиазма. А энтузиазм не сила. Все потуги еврейских рук за эти годы, несмотря на всю их эффективность, были по существу не ударами, а царапинами, дразнили, но не колебали. Их субъективная ценность может быть и очень велика, но их объективное значение было ничтожно. Только слепые до сих пор еще не поняли, как бессмысленно преувеличена действительная роль, которую *активно* сыграли евреи в споре о русской свободе.

Я подчеркнул здесь «активно». Потому что пассивно мы в самом деле играем нешуточную роль в этом споре – и, быть может, именно эту нашу роль историк действительно признает громадной. Эта наша пассивная роль в споре о русской свободе заключается в том, что из нашего имени реакция сделала себе орудие отпора, и силу этого орудия мы уже видели на деле. Мы видели и видим, что легенда о жиде стала ныне любимой пищей реакции, что из нашей энергии, щедро затраченной на дело свободы, реакция черпает теперь живительные соки для борьбы против свободы. Кто же ответит на вопрос: пользу или вред общему делу принесла в итоге наша энергия? Какой из двух сторон мы больше дали – одной ли, в качестве активных помощников, или другой, в качестве пассивного орудия, в качестве большой струнки, на которой так легко оказалось играть?

История решит, куда записать еврейскую энергию – в актив или пассив освободительного движения. Теперь этого не знает никто – ни я, ни сами те, о ком идет речь. Они начали игру вслепую и теперь беспомощно бьются в темном лабиринте, в который сами забрели.

Мы – партия национального зодчества – никогда не хотели играть в слепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы хозяева, есть игра с завязанными глазами и ничем иным не может быть, и мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых и решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции. Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немыслимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям национального большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию *вести*: мы присоединяемся – это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории.

Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, кото-

рых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников – или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай *свои* силы, измерь *свою* волю, и тогда – или иди за нами, или да свершится над тобою судьба побежденных.

Пойдет ли за нами народ – покажет будущее. Но на совести нашей не останется пятна: мы не играли счастьем народа, мы не сулили ему друзей и не звали его в чужие объятия, которые оказались западней.

КТО ИНИЦИАТОРЫ САМООБОРОНЫ²⁶

Письмо в редакцию

Вильна, 5 марта 1906

М. г. г-н редактор!

В № 8 «Восхода» в статье г-на Ан-ского «Уроки страшных веков» сказано следующее: «Революционеры, которых 20 лет перед тем считали врагами народа, навлекшими на него гнев Божий, царский и народный, выступили теперь, как самые надежные защитники народа. Даже их вчерашние идейные противники, отрицавшие всякую борьбу в диаспоре, вынуждены были резко изменить свою тактику. Они начали *также* вооружаться, организовать дружины самообороны».

Эти строки привели мне на память другое имеющееся у меня аналогичное утверждение, напечатанное в № 1–2 «Вестника Бунда». Вот оно: «Комитеты самообороны – эта первая вооруженная организация еврейской буржуазии и ее интеллигенции – обязаны своим возникновением Бунду не только с точки зрения историко-психологической, но и формально. Мысль о вооруженном отпоре была высказана впервые в *Arbeiterstimme*²⁷ после ченстоховского погрома; после Кишинева мы ее повторили. («Новая страница в истории евреев», стр. 15, стлб II).

По этому вопросу должен сообщить следующие фактические данные.

Недели за две до христианской Пасхи 1903 года (следовательно, до кишиневского погрома) в сионистских кругах Одессы, преимущественно среди ремесленников окраин, было распространено в копиях письмо одного местного литератора, тоже сиониста, предупреждавшее о возможности погрома в Одессе и призывавшее сионистов организовать самооборону. На Пересыпи тогда же состоялось собрание в несколько сот человек – опять-таки сионистов – где было принято аналогичное решение.

Эта попытка, однако, не пошла дальше создания известного настроения. Зато, едва в Одессе были получены первые известия о Кишиневе, – следовательно, 7–9 апреля 1903 г., – сейчас же началась уже настоящая организация самообороны. В течение трех дней были собраны деньги, куплено много холодного оружия и несколько десятков револьверов, составлены списки участников самообороны и организована

²⁶ Хроника еврейской жизни, № 10, 15.03.1906.

²⁷ Нелегальный социал-демократический журнал, выходивший на идише в 1897–1905 гг. в Вильне. С № 7 стал центральным органом организации «Бунд».

стража по всему городу. Во главе всего этого дела стояли исключительно сионисты, в их числе в значительной доле те, которые потом вошли в состав разных групп социалистического сионизма. Из других партий в центральном комитете, насколько помнится, показывался только представитель с.-д. или наименовавший себя таковым. Об с-р-овцах не помню, Бунда тогда в Одессе не было. Стража и главные ядра охранных дружин были почти целиком на вербованы из сионистской молодежи.

Приблизительно в то же время четыре еврейских писателя в Одессе разослали по городам черты воззвание, где за полными своими подписями требовали немедленной организации самообороны. Из этих четырех писателей трое были сионисты «духовного» оттенка, четвертый – весьма близкий к сионизму националист.

Что касается до «мысли о вооруженном отпоре», которая была высказана в «Arbeiterstimme» после ченстоховского погрома, то газета «Arbeiterstimme» в то время была едва ли не совершенно неизвестна в районе Одессы, особенно в среде сионистов, которые, таким образом, никак не могли заимствовать вышеуказанной «мысли» из бундовской литературы. Что же до «историко-психологического» влияния Бунда на зарождение этой *первой* самообороны, то и здесь надо заметить, что на юге в то время, как уже сказано, Бунда не было, о нем даже мало знали, мало интересовались, и ни о каком влиянии поэтому не могло быть речи.

Из этих фактов, достоверность которых может быть во всякую минуту подтверждена сотнями подписей, вытекают следующие заключения:

1. После Кишинева Бунд повторил «мысль о вооруженном отпоре». После Кишинева сионисты сейчас же, в течение ближайших трех дней, создали в Одессе крупную организацию еврейской национальной вооруженной самообороны, причем начало этой организации было положено сионистами же еще недели за две до Кишинева; и опять-таки сионисты обратились с аналогичным призывом в другие города.

2. Следовательно, инициатива первого в России комитета самообороны принадлежит исключительно сионистам, и ими написаны первые строки «новой страницы в истории евреев».

С приветом Сиона.

ОБ ОСНОВАНИИ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГРУППЫ²⁸

Ограничусь только общими соображениями, которые изложу в сжатых формах. Постараюсь напомнить все, что говорится *за* и *против* этой группы.

В дальнейших прениях мои единомышленники, если понадобится, укажут на историю вопроса – на печальный опыт наших западных братьев, который может нас многому научить; я пока буду говорить только о русских делах.

²⁸ Доклад В. Е. Жаботинского на съезде «Союза для достижения полноправия евреев». Хроника еврейской жизни, № 19, 17.05.1906.

Раз мы говорим о «тактике еврейских депутатов в Думе» значит, мы намерены предложить им определенные директивы, но мы не вправе давать им указания касательно *всей* их парламентской деятельности: мы должны ограничиться только областью еврейского полноправия. Ибо в этой области наши депутаты получили от населения императивный мандат.

При выборах еврейское население проявило огромную энергию, несмотря на тяжелые условия и даже риск вызвать погромы, несмотря и на то, что не только имена кандидатов, но зачастую даже имена выборщиков были им неизвестны.

Чем же объясняется эта активность? Только желанием вынести на своих плечах кого бы то ни было, кто стал бы в Думе защитником еврейского народа. Только ради этой цели выбраны все 12 депутатов.

Поэтому ошибаются те, кто полагает, будто под требованием еврейской *группы* кроется требование создать еврейскую *партию*.

Партия имеет программу по *всем* вопросам, мы же говорим о группе, каждый член которой волен во всех вопросах поступать за свой личный страх согласно своим политическим убеждениям, выделяя один только еврейский вопрос.

В этом пункте он не волен распоряжаться собою: он должен добиться полноправия и вправе делать только то, что ведет к этой цели.

Какие же директивы вытекают из этого мандата? Постараюсь их выяснить один за другим. Первый из них — *единодушие*. 12 человек и без того слабы, тем более при разброде в их среде. Наши надежды на полноправие предполагают веру в благожелательное настроение сильнейших общих партий — иначе нам вообще нельзя было бы рассчитывать на победу. Но это не значит, что общие партии сами собою, без евреев, приведут еврейский вопрос к благополучному разрешению. В этом вопросе много сложного, много подводных камней, которые заметны только еврею: расспросите наших депутатов, как им приходится напрягать внимание и находчивость, чтобы не дать еврейскому делу наскочить на мель. Поэтому именно при самом лучшем настроении наших союзников на евреев-депутатов возлагается ответственная роль «экспертов». А эксперты должны быть заодно, иначе они взаимно друг друга уничтожат. Если по еврейскому вопросу Дума услышит два различных еврейских мнения, один скажет «автономия нам нужна», а другой «нет, нам автономии не нужно» — то спор закончится тем, что Дума сама должна будет решить его по своему разумению, т. е. наша судьба будет определяться другими, а не нами.

Не может быть никакого сомнения, что все избиратели именно так и понимают обязанности еврейских депутатов. Достаточно было на предвыборных собраниях намекнуть на такую перспективу разброда между нашими представителями в Думе, чтобы избиратели в один голос отвечали: нет, *это* невозможно, *этого* права мы им не даем.

Нам возражают, что все это понятно само собою; наши депутаты сами знают, что им надо быть заодно, и не нуждаются в дисциплине. Но если все признают необходимость единодушия, то тем более надо провозгласить это единодушие как руководящий принцип, чтобы все население знало, что союз и депутаты понимают свой долг. И наобо-

рот, когда противники образования «группы» так упорно отказываются фиксировать принцип единодушия, у нас невольно возникает вопрос: почему же? Не значит ли это, что вы смутно предвидите в отдаленной перспективе возможность такого момента, когда тому или иному из вас покажется необходимым выступить пред Думой по еврейскому вопросу против еврейского большинства, т. е. дать Думе *два* еврейских мнения, *две* «экспертизы», и вы на этот случай хотите оставить за собой право такого выступления? Если так, то съезд нам должен громко подтвердить, что этого права избиратели вам не дали.

То, что я говорю, не должно быть истолковано как недоверие к личностям наших депутатов. Мы их все уважаем, но общественное дело ведется не на основании слепого доверия, а на основании ясных и определенно заявленных принципов и обязательств.

Таким образом, первый директив есть солидарность. Но отсюда непосредственно вытекает и второй: имя.

Иначе нас упрекнут в политической неискренности, в желании скрыть нашу организованность, — которую, конечно, нельзя скрыть. Есть и другая причина, почему нужно имя, еще более важная, но я на нее укажу только мимоходом, так как не хочу подвергнуться обвинению в том, будто оперирую «сентиментальными» мотивами. Но нельзя и умолчать о том, что главной бедой наших братьев на Западе всегда было отсутствие правильного еврейского представительства в парламенте. Евреи-депутаты выступали там не как евреи, а исключительно как члены общих или просто чужих групп; еврейское знамя никогда не значилось в парламентском списке, и этот пробел символизировал незначительность и незащищенность еврейской нации. Провозглашение еврейской группы в Думе имеет для нас поэтому значение исторического прецедента, в смысле начала новой эры активной национальной политики.

Доводы против имени все чрезвычайно слабы. Не хочу допустить и мысли, что кому-либо из нас неловко состоять в еврейской группе. Что же тогда можно возразить против нее? Что наши союзники рассердятся? Я думаю, что наши русские друзья не заслуживают такого недоверия к их чувству справедливости. В Думе каждая группа откровенно выдвигает свои интересы, и все прекрасно понимают, что и евреи пришли за тем же, и считают это вполне естественным.

Главный и самый острый довод против «группы», это — опасение конфликта между дисциплиной «группы» и дисциплиной общей партии, к которой принадлежит тот или иной еврейский депутат. Здесь-то и зарыта главная трудность вопроса. Но я уверен, что такой конфликт почти невозможен. Во-первых, еврейская группа всячески будет избегать его и уступать общим партиям во всем, покуда дело не дойдет до насущных интересов еврейства; вызвать конфликт из-за маловажного пункта значило бы ссориться с союзником, без которого мы не можем достигнуть главной цели. Во-вторых, что касается области еврейского вопроса, то, не будучи оптимистом, я все-таки полагаю, что здесь общие партии до известной степени сами пойдут нам навстречу, ибо им тоже — должно быть желательно провести еврейский вопрос с наименьшими препятствиями, т. е. без тех подводных камней, которых не

минуешь без еврейского лощмана. Таким образом, конфликт почти невозможен, так как всегда если не та, то другая сторона уступит. Конфликт возможен только тогда, когда ни та, ни другая сторона не может пойти на уступки, т. е. когда бы тактика к.-д. или «трудовой группы» пошла вразрез с насущными еврейскими интересами, вела бы к прямой гибели всего еврейского дела. Но в таком случае, даже если не будет еврейской группы, ни один еврей-депутат сам не пожелает остаться в этой общей партии. Столкновение между дисциплиной нашей группы и общей партии возможно только при действительном конфликте между этой партией и основными интересами еврейской нации, а при таких обстоятельствах совесть каждого еврейского депутата должна сама заставить его отказаться от партии и пойти за нацией.

Вот три краеугольных принципа нашей нынешней политики в Думе: солидарность, имя, а для отдельных депутатов, входящих в состав общих партий, свобода от их чужой партийной дисциплины в области еврейского полноправия. Эти три принципа выражаются в требовании образовать еврейскую парламентскую группу. Она не помешает нашим депутатам действовать «враспынную» – напротив, поможет, ибо действия «враспынную» успешны только тогда, когда они направляются из общего центра и связуются общей дисциплиной. Эта солидарность и соответствующее ей имя – вот наши требования, вне которых мы не понимаем еврейской политики. Это минимум нашей совести. Осуществление этих требований, провозглашение еврейской парламентской группы принесет еврейскому народу и пользу, и всеобщее уважение.

К статье профессора М. Грушевского о «Встревоженном муравейнике» («У. В.», № 6) можно прибавить еще одну ценную черту. Это роль еврейского населения Галиции в тамошней польско-украинской борьбе.

Тяжела судьба той народности, земля которой поработана чужими владыками. Но бесконечно горше участь народа, который совсем утратил свою землю и ютится в рассеянии по чужим странам, повсюду составляя меньшинство. Ввергнутые исторической бурей именно в это положение, евреи вынуждены были отказаться от политического творчества. Национальная активность должна была свестись к пассивной самообороне, к мелочной и пугливой охране последних остатков национальной индивидуальности; ни о каких попытках «ковать самим свою судьбу» нельзя было и мечтать. Не творя своей истории, только пассивно и болезненно переживая чужую, рассеянный народ вынужден был во всех главных отраслях своей жизнедеятельности принимать безропотно то, что ему навязывала эта чужая история. Так было в области хозяйственной, где господствующие территориальные народы всегда отводили пришельцу именно те функции, в которых современное общество нуждалось, но само гнушалось ими или пренебрегало, то есть попросту утилизировало его для черной, грязной работы и, используя, презирали. То же повторилось и в области национальных отношений. Когда началась борьба между

²⁹ Не много, но многие (*латынь*). Украинский вестник, № 9, 16.07.1906.

разными народностями, территориальными или хоть имеющими территориальную опору, еврейству и тут была навязана ненавистная роль орудия, средства для чужих выгод. В каждом отдельном случае та сторона, которая в силу своей влиятельности или богатства обладала сильнейшими средствами давления, вынуждала местных евреев идти с нею заодно для порабощения другой народности. В Галичине этой сильнейшей стороной были поляки, они широко «использовали» и «утилизовали» забитое, невежественное галицкое еврейство для национального угнетения украинского народа.

В настоящий момент на всем пространстве Галиции вряд ли осталось много евреев, которые не поняли еще всей постыдности этой роли. Недавно умер д-р Бык, депутат рейхсрата, еврей, не гнушавшийся входить в состав реакционного и антисемитского польского кола: с ним, очевидно, сошло в могилу последнее поколение шляхетских прислужников, именующих себя «поляками моисеева закона». Ибо еще при жизни Быка, этой осенью и зимой, во время кампании за всеобщее избирательное право, когда австрийские сионисты и социал-сионисты выдвинули требование национального представительства для еврейского народа в рейхсрате и сеймах, галицкое еврейство поддержало это требование буквально тысячами собраний и митингов. Сотни телеграмм с аналогичными резолюциями были отправлены президенту Гаучу. Движение захватило самые широкие круги, проникло в самую глубь еврейской массы, ветхозаветные старики в пейсах и ермолках, молодые рабочие и интеллигенты – все толпами сходились на митинги и подписывались под требованиями национального представительства. Ни у одного наблюдателя не могло остаться сомнений: галицкое еврейство отныне хочет жить для себя и говорить за себя как самоцель, а не как орудие какой бы то ни было чужой политики.

Значение этой перемены оценили – только с разным чувством – и украинцы, и поляки. Первые прекрасно поняли, что в десятках смешанных округов, где только еврейские голоса давали польскому меньшинству перевес, кончилось шляхетское владычество и теперь, путем соглашения с евреями, можно будет пропорционально поделиться этими депутатскими креслами. Поэтому в качестве убедительного защитника еврейских требований выступил в рейхсрате украинский посол д-р Романчук, и в разных местностях Галиции украинские митинги приняли резолюции аналогичного характера.

Совершенно обратное отношение встретили еврейские требования со стороны поляков. Д-ру Быку, верному слуге «кола», было приказано во что бы то ни стало инсценировать контрдвижение. Эта затея не удалась, благодаря своевременной агитации сионистов. Тогда польская бюрократия произвела повальные обыски во всех социал-сионистских кружках и закрыла их на том основании, что они будто бы вышли из пределов своего устава. С грустью приходится отметить, что видную роль в борьбе поляков против еврейских требований сыграл социалист Ашинский; злейшие насмешки в рейхсрате над национальными правами еврейского населения принадлежат ему.

Из отношения украинцев и поляков к галицко-еврейскому движению легко понять, какое значение оно имеет для тех и других. В рос-

сийско-еврейской печати на разных языках приводилась подробная статистика³⁰ племенной группировки в Галиции, на основании которой можно было бы довольно точно определить, сколько депутатских мест теряли украинцы из-за союза евреев с поляками и, следовательно, сколько они выиграют при расторжении этого союза, даже за вычетом тех кресел, которые пропорционально должны принадлежать евреям. Здесь, в глуши, у меня этих данных под руками нет, но все интересующиеся движением галицкого украинства, несомненно, знают, что цифры эти очень серьезны. Дело, кроме того, не в одних депутатских креслах; во всей вообще польской гегемонии над Галицией значительную роль до сих пор играла еврейская помощь. Фальсификация переписи «причислила» к польской народности все еврейство края – 11 процентов населения, – и потеря этого «прироста» будет концом для легенды о польском большинстве и началом конца для реакционно-шляхетского владычества. Лучше всего это чуют сами поляки, – отсюда и ярость, с которой они преследуют еврейский «сепаратизм». И для них евреи *non multum, sed multa*.

Правда, на этот раз еврейское движение привело не к полной победе. Но и вообще вся избирательная реформа несколько затормозилась. Руководящие сферы австрийского еврейства не опускают рук. На чрезвычайном съезде сионистов в Кракове принято решение энергично продолжать борьбу за национальное представительство. В прениях один из делегатов от социал-сионистской фракции заявил при этом следующее: «Из нас хотят сделать орудие угнетения слабых народностей, как, например, русинов. Хотят, чтобы мы были рабами одних и тиранами других. Этого мы не допустим!»³¹

Я не оптимист и не верю в «любовь» между нациями. В частности несколько не скрываю от себя, что между евреями и украинцами в Галиции существует известный антагонизм, приобретающий малокультурные формы. Уверен, что с ростом просвещения эта некультурность форм исчезнет, но некоторое время останутся, до тех пор, пока не изменится общая политико-этнографическая карта края и общественно-хозяйственный строй. Но здесь я и не взываю к «любви». Я констатирую совпадение интересов на данный момент у галицких украинцев и галицких евреев. Идя каждый своей дорогой, они сегодня могут друг другу помочь. Это и надо сделать.

В чем должна заключаться еврейская помощь галицким украинцам? Во-первых, в полном разрыве с поляками – *не для того, понятно, чтобы отдать свои голоса украинцам, а для того чтобы жить и развиваться самобытно и самостоятельно*, не давая себя никому «использовать» для порабощения другой стороны. Во-вторых, – в совместной работе с украинскими народниками для полной демократизации обветшалого политического строя Австрии вообще, Галиции в частности и в особенности. В-третьих, – в поддержке восточно-галицких автономистов, помогающих гомруля для этой украинской половины теперешней «коронной» Галиции.

³⁰ См. статью Л. Пасманика в «Еврейской жизни» (№ 4, 1906) «Национальная борьба евреев в Австрии». Особенно об отношении украинцев см. стб. 79.

³¹ Die Welt. 1906. № 28. С. 10.

В чем должна выразиться украинская помощь австрийским евреям? В одном: чтобы за еврейством были признаны в Австрии права национального целого. На «автономию» безземельная народность претендовать не может, но она вправе требовать себе самоуправления в делах национального быта и справедливого представительства как в рейхсрате, так и в сеймах; наряду с уже признанными 8 языками Австрии должен быть равноправным в учреждениях, собраниях, в суде и школе язык еврейского населения. И когда Восточная Галиция, наконец, выделится в особую автономную область, пусть эти права национального меньшинства сохранятся неприкосновенными и в ней, и так же — *caveant Ruthem!* — в Западной половине, где, кроме евреев, все-таки остаются рассеянными среди польского большинства группы украинцев.

А когда придет время заговорить в *Российском* парламенте об автономии Польши, тогда и украинцы и евреи сами вспомнят и другим напомним о Галиции. Ни у первых, ни у вторых не вырвется, конечно, ни одного слова против самых широких полномочий варшавскому сейму. Царство Польское должно быть автономно, как должна быть автономна и Литва, и Украина, и Белоруссия. Но вопрос о неприкосновенных правах национального меньшинства должен быть решен *предварительно в общегосударственном парламенте и для всей территории государства.*

Не для того мы все, у кого есть братья за рубежом, столько лет уже со скорбью следим за событиями в Австрии, чтобы легко примириться с возникновением новой Галиции.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ³²

Любопытное сведение промелькнуло в прошлом «Дневнике» нашего органа: докладчик о студенческой организации на общей сходке заявил, что внутри студенчества, говоря коротко, не должны быть терпимы никакие идеалы, кроме идеалов коллективизма. Так или не так он выразился, не важно, если даже г-н докладчик сам оказался настолько тонок, что не рискнул пустить этот разухабистый афоризм без смягчающих оговорок, то внутренний смысл, по-видимому, все же был таков. Это несколько неожиданно. Признаться, мы думали, что с прошлого года общество и молодежь успели уже все-таки до известной степени проветриться и протереть глаза. Когда прошлой весной на курсах Лесгафта в Петербурге барышни-ораторши требовали упрощения программы, ибо физиология пролетариату не нужна, это было вполне в стиле момента: уличная психология захватила. Но ведь за эти месяцы можно было и очнуться от угара вандализма? Оказывается, есть еще люди, которые ничему не научились и ничего не забыли.

Я принадлежу к тем, которые полагают, что между интересами работодателя и работника существует непримиримое и непрерывно растущее противоречие; что единственное и в то же время неизбежное разрешение этого противоречия заключается в обобществлении орудий производства; что естественным носителем этого переворота является

³² Еврейская мысль, № 2, 12.10.1906.

крупно-индустриальный пролетариат, а путь к этому перевороту есть классовая борьба и захват политической власти. Как и огромное большинство моих сверстников без различия партий, я настолько проникнут этим пониманием социальной проблемы, что органически не могу мыслить по этому вопросу иначе. Я не работаю ни в одной из социалистических организаций, но если бы на этом основании кто-нибудь заподозрил во мне сторонника нынешнего индивидуального хозяйства, это было бы так же несправедливо, как если бы я заподозрил русского социал-демократа в жидоморстве только за то, что он, занятый своим любимым делом, не ведет специально антипогромной агитации. Ибо для человека с совестью и вдумчивого так же малоестественно быть поклонником эксплуатации труда, как и любителем еврейских погромов. Но можно до глубины души сознавать себя социалистом и в то же время понимать, что есть много важных вопросов и помимо социализма, и даже не только в области чистой культуры, науки, искусства и поэзии, а просто в области общественного созидания.

Конечно, существует сильная мода на то, чтобы все наличные «вопросы» наглухо заслонить одним социализмом. Выпущены тучи специальных книжонки для доказательства того, что и женское неравенство, и война, и чуть ли ни филоксера на винограде могут быть упразднены только введением демократически-общественного производства. Я же скромно полагаю, что по духу и букве социалистического учения миссия социализма сводится к решению одного только вопроса – вопроса о полном продукте труда, и все остальные преобразования, начиная с равноправия женщин и кончая разоружением, международным третейским судом и даже федерацией государств, могут быть и будут осуществлены сами по себе, еще в пределах капиталистического хозяйства. И не цыкать надо на тех, кто работает для этих ближайших идеалов, не отговаривать их под предлогом всеобщей панацеи, а ободрять. Ибо нельзя возлагать на социальный переворот задач, которые не вытекают непосредственно из его сущности, и все, что лежит вне плоскости собственно классовых противоречий, должно быть преобразовано, не дожидаясь трубных призывов социального мессии.

Это особенно относится к национальному вопросу. В этой области чаще всего раздаются звонкие фразы о том, что социализм всех рассудит, а пока получайте синяки и отложите попечения. Здесь эти фразы держатся всего упорнее, потому что здесь под ними лежит прочное психологическое основание – страх перед сложным вопросом, который еще ни одним авторитетом не разработан и в котором приходится самому творчески разбираться.

Выборы в студенческий орган не имеют теперь особенного значения, но для нас они интересны именно потому, что хочется знать, долго ли еще еврейская молодежь будет идти на эту удочку, где под приманкой общего идеала скрыт колючий крючок индифферентизма к еврейскому горю. Хочется знать, долго ли еще останутся молодые всходы нашей интеллигенции равнодушными перед картиной народного распада, национальной безысходности, перед ростом исключительной, фантастической нашей нищеты, перед метаниями бесцельной эмиграции. Долго ли еще дожидаться нам того дня, когда все силы еврейского

образованного слоя обратятся на решение народной загадки, на вскрытие корня наших мучений, на поиски целебного средства.

Я тут не о сионизме говорю, не ратую сейчас за то, что надо верить в еврейское государство и не доверять галуту. Я говорю о том, что наши массы поражены несказанными страданиями, которые к небу вопиют, и нет больше физической возможности не услышать вопля. Если еще три года назад разные веселые шарманщики могли уверять, что с евреями дело обстоит так же просто, как и со всяким другим народом, то ведь теперь этого больше порядочные люди не повторяют. Что наша беда особая и лекарство для нее нужно особое – это вышло из периода споров, это стало наглядным, это режет глаза, как живое мясо, с которого сорвали кожу. И раз нужно особое лекарство и его нет, то его нужно придумать. Пусть это окажется не мое лекарство, пусть совсем противоположное – но ведь думать о нем надо, искать надо, надо, чтобы в эту сторону пошла испытующая мысль еврейской интеллигенции, чтобы сюда врылся ее анализирующий взор. Пусть ее выводы будут выводами отчаяния, но пусть они будут результатами внимания, пусть загадочный вопрос о нашей народной судьбе займет ее вдумчивый ум, пусть не отмахивается она социалистической фразой от этой загадки. И именно потому, что это есть загадка, что этот вопрос, наиболее мучительный, меньше всего изучен, – именно потому в сознании нашей интеллигенции он должен занять главное место, должен стать средоточием ее углубленного исследования, если только в ней живут хоть какие-нибудь порывы творческой мысли, жаждущей проникновения во все невыясненное, ищущей новых ответов на все темное и спорное.

Я говорю «должен» не в смысле нравственного долга – я говорю «должен» в смысле жизненной неизбежности. Рано или поздно так будет. За это мы спокойны. Хочется только знать, не наступило ли уже время.

Пусть национально-еврейское студенчество – если оно уже назрело и собралось, не допустит вновь связать себе руки. Пусть оно помнит, что при нынешней изменившейся роли университетов у него на академической арене больше дела, чем, быть может, у всякой другой студенческой группы. Университетская молодежь утратила значение авангарда событий – это понято и признано всеми, но это не значит, что она выбыла с площади политического действия. В политике, кроме осязательных событий – кроме и прежде них, есть идея. В этом отношении за молодым слоем интеллигенции остается его будущая, оплодотворяющая роль. Когда одна идея претворилась в плоть и кровь массовых актов, тогда надо выдвинуть очередную за ней и дальше нести огонек идейного движения. Надо разбрасывать в обществе новые семена, открывать ему глаза на то, чего оно еще не поняло. – Именно таков национальный вопрос – наряду с землей и волей он один из трех, во имя которых преобразуется Россия. Общество знает о нем по смутной наслышке, разбирается в нем грубо и топорно, не улавливая оттенков, отличающих нашу национальную проблему от польской, прибалтийскую от закавказской. Надо внести в это ясность, надо сроднить общество с лозунгами национального равновесия так же прочно, как со

всеобщим голосованием или свободой союзов, общество должно понять, что задача мирного устройства народностей есть одна из благороднейших государственных задач, тем более заманчивая, что она почти нигде еще не решена до конца. Эта культурно-политическая роль по силам студенчеству, и если оно исполнит ее, то внесет новую страницу в свои заслуги. Пусть не забудут об этом разнородные национальные группы нашего многоязычного университета, и прежде всех та, для которой вопрос этот особенно мучителен, – национальная группа еврейского студенчества. Она должна объединиться для общей задачи с иноплеменными группами националистов, – если понадобится, она должна сама их пробудить и объединить, чтобы вместе, наперекор всем упрекам и нареканиям, призвать и приковать общественное внимание к одной из возвышеннейших проблем человечества, к знамени свободной самобытности, к знамени, которое не даст себя заслонить ни одному из знамен, развевающих над армией прогресса, и ни перед одним из них не склонит своего древка.

НАША ПОЗИЦИЯ НА ВЫБОРАХ³³

Наступает момент, когда необходимо выяснить нашу избирательную позицию – позицию партии, которая верит только в самопомощь еврейского народа и во всей своей тактике на политической арене России будет руководствоваться только одним стремлением: обеспечить еврейскому населению максимально возможную свободу развития национальных сил и национальной самостоятельности.

Каждая партия на выборах стремится провести своих кандидатов. К тому же будем стремиться и мы, насколько это возможно по условиям ценза, насколько это вообще допускается нынешней избирательной системой, которая требует от еврея во что бы то ни стало полного единения и потому сильно затрудняет борьбу течений внутри еврейства.

Но не в этом главная наша цель на предстоящих выборах. Главная задача, которую мы ставили себе в наступающей борьбе, есть прежде всего провозглашение наших национально-политических лозунгов – нашей сионистской платформы в России. Мы хотим бросить наши лозунги в гущу еврейской массы; они должны проникнуть во все углы еврейской улицы, в ее подвалы и бельэтажи, в ее синагоги и мастерские; еврейское население должно подхватить их, заучить их на память и понять, что в лозунгах сионистов содержится единственный возможный ответ на страдания нашего народа: право национального сплочения, право самостоятельно ведать и решать свои народные нужды. Но, поняв это – еврейская масса должна твердо и свято запомнить, что здесь пред нею только паллиатив, только начало огромного пути, который ведет через сплоченную национальную самостоятельность к полному восстановлению национально-государственной независимости еврейского народа на еврейской земле.

³³ Еврейская мысль, № 7, 16.11.1906.

Популяризация нашей программы и нашего *credo* – вот наша первая задача в предстоящей выборной кампании. Остальное – уже только вывод из этой главной цели. Признав наши лозунги, еврейская масса изберет и соответствующих депутатов. Будет ли, смотря по местности, наш партийный единомышленник, или просто национально-сознательный еврей, или даже честный и прогрессивный инородец, – он тогда будет вынужден или не принять мандата, или понести в Государственную Думу эти лозунги, как выражение общееврейских требований. Говоря коротко и ясно, мы провозглашаем перед народом нашу платформу и хотим, чтобы народ сделал из нее *conditio sine qua non*³⁴ для всякого, кто идет в Думу через поддержку еврейских голосов. И мы вправе надеяться, что так оно будет, сама справедливость принудит всех и каждого признать, что в нашей платформе выражены потребности не отдельного класса, не отдельной партии, а еврейства России, как единого целого.

Стоя на почве общенародных задач, мы подчиняем этому принципу и нашу тактику внутри еврейства. Мы, сионисты, выдвигаем наши лозунги не для того, чтобы идти войною против всех других течений в нашем народе; мы, напротив, стремимся объединиться с ними вокруг этих лозунгов. Эта наша тактика должна будет выразиться конкретно в призыве к образованию повсюду объединенных еврейских избирательных комитетов. В этих комитетах должны быть широко и равно представлены все течения, признающие наличности общееврейских интересов и справедливость борьбы за эти интересы; места в этих комитетах не должно быть только тем группам, которые или вообще принципиально игнорируют еврейское дело, или ради ложно понятого блага одной части еврейского населения отказываются в настоящий опасный момент служить благу всего еврейства в целом. Со всеми остальными, кто только стоит сознательно, недвусмысленно за общие интересы еврейства, мы, настойчиво проводя и отстаивая нашу платформу, согласны идти заодно, поскольку их деятельность не обратится против основных принципов нашей политики, гласящих: демократия, безусловное равноправие, национальные права.

Что касается до нашей тактики вне еврейства, то этот вопрос поневоле еще не может быть вполне выяснен. Мы не знаем еще, какова будет картина избирательной борьбы среди нееврейского населения черты оседлости, и потому, естественно, не можем точно назвать, кого поддержим и с кем будем бороться. Но и теперь мы можем установить незыблемо некоторые главные черты нашей политики в этой области. Мы твердо знаем, что вне коренного преобразования государственного строя невозможно сколько-нибудь прочное обновление нашего еврейского быта; и мы убеждены, что как бы ни была слаба Государственная Дума, она все-таки есть пока наиболее верное и для нас, евреев, наиболее выгодное средство для такого преобразования. Поэтому пусть не надеются на нашу поддержку ни те партии, которые вслух или про себя отказываются от полного коренного преобразования и от немедленного провозглашения равноправности, – ни, с другой сторо-

³⁴ Непременное условие (*лат.*).

ны, те партии, которые не дорожат Государственной Думой и легко мирятся с бурной и опасной перспективой строить новую Россию на ее развалинах. Та нееврейская партия, которой мы отдадим свою поддержку, должна быть ясно выраженной и безусловной поборницей полного проведения парламентского режима, политических свобод, четырехчленной избирательной формулы, равноправия и национальных прав, и должна быть способна бережно и расчетливо использовать Государственную Думу не для агитации (ибо не ради этого мы зовем еврейство к избирательной борьбе), а для той хотя бы малой созидательной работы, какая на этот раз окажется Думе под силу. Она должна быть способна и сохранить Думу, и в то же время осторожно и искусно усилить ее, увеличить ее вес, расширить ее полномочия, связать и сроднить ее с населением. Партия, которую мы поддержим, должна быть не только демократической: это должна быть партия государственного ума и такта. В надлежащий момент мы сможем выяснить, какая из действующих партий более всего подходит к этому идеалу, и, поскольку это понадобится, предложим ей свою поддержку, требуя взамен от ее кандидата принятия нашей национальной платформы, как не противоречащей общепризнанному демократическому принципу «национального самоопределения», – и, конечно, оставляя всегда за собою право личной оценки каждого из ее кандидатов с точки зрения его еврейской благонадежности.

Еще труднее предусмотреть внееврейскую конъюнктуру для тех местностей, где, по примеру прошлых выборов, партии не играют почти никакой роли, а борьба идет по линии национально-сословных разделений. Именно такова была и, вероятно, будет картина избирательной кампании в большинстве губерний черты оседлости. В последней инстанции – на губернском съезде выборщиков – эта картина принимает такой вид: друг против друга стоят три группы – крестьяне, землевладельцы и горожане, – причем последние обыкновенно сплошь евреи, а первые со вторыми в большинстве случаев разнятся не только по классовому признаку, но и по национальности и религии. Ни одна из этих групп (кроме Минской губернии, где у землевладельцев абсолютное большинство) не может победить без союза с другой; и так как помещики с крестьянами вряд ли теперь годятся друг другу в союзники, то евреям-горожанам придется, очевидно, выбирать между предложениями союза с двух сторон – от аграриев и от крестьянских выборщиков. Нет никакого сомнения: *caeteris paribus*³⁵, при равенстве прочих условий, мы должны предпочесть крестьян. Мы должны предпочесть крестьян не только в том случае, когда обе стороны одинаково благоволят к евреям, но и в том случае, когда они одинаково враждебны к евреям, ибо из двух антисемитов в Думе для нас мужик всегда выгоднее пана. Но все это именно и только при равенстве прочих условий, при одинаковом с обеих сторон отношении к еврейскому вопросу. Если бы где-либо крестьянская группа оказалась более антисемитической, чем представители землевладельческой курии, то еврей-

³⁵ При прочих равных условиях (*лат.*).

ские выборщики должны будут вспомнить, что, прежде всего, их послали сюда для защиты еврейских интересов.

Лучшею же тактикой с нашей стороны во всей этой внееврейской области было бы, несомненно, соглашение с другими местными группами национального меньшинства. Объединение национально-миноритарных элементов есть вернейший и естественнейший путь, по которому должна направиться еврейская политика в России. Но, повторяем, в вопросе о соглашениях с нееврейскими группами мы вообще вынуждены пока ограничиться общими формулами: по мере выяснения политических соотношений мы не раз еще будем возвращаться к этому предмету и с особенной тщательностью будем освещать именно вопрос о коалиции национальных меньшинств.

Зато совершенно ясно для нас то, чего мы требуем от депутата-еврея. Мы уже говорили, что наша поддержка будет обусловлена признанием нашей избирательной платформы: но есть кое-что еще более важное. Первое, главное, безусловно-категорическое требование наше гласит: идти в Думу от еврейства, для еврейства и под еврейским флагом. Если наиболее угнетенное из племен России проводит в Государственную Думу депутатов, оно это делает ради того, чтобы иметь там защитников, которые во всем и прежде всего будут исходить из его народных интересов!.. Или не принять мандата, или признать, что это есть прежде всего еврейский мандат – вот единственно честная постановка вопроса. А кто пришел в Думу защищать, прежде всего, еврейские интересы, тот должен гласно заявить об этом, назвать себя настоящим именем и показать свой еврейский флаг, чтобы не навлечь на наш народ постоянных упреков в неискренности, в действиях исподтишка, в политическом контрабандизме. Это не значит еще запрещение депутату-еврею принадлежать к нееврейской партии; но это значит, что в Государственной Думе, к какой бы партии он ни примыкал, он должен открыто заявить себя прежде всего членом еврейской парламентской группы и твердо заявить, что во всех пунктах еврейского вопроса он не подчиняется дисциплине своей партии и будет действовать свободно по указаниям своей национальной совести. Это требование мы считаем столько же вопросом пользы, сколько и вопросом чести еврейского народа, не отступимся от него ни при каких условиях и будем непримиримо бороться против каких бы то ни было уступок в этой области. Мы считаем преступным допустить, поскольку от нас зависит, избрание еврейского представителя, который в Думе будет выступать не как еврей. Все наше сознание и чувство достоинства протестует против этой перспективы, вся история наших ошибок в Австрии и Германии возмущается против их повторений на арене русской политической жизни. Этот пункт есть именно тот случай, в котором мы, сионисты, предпочтем кандидатуру нееврея и будем сознательно всеми силами содействовать его победе над еврейским претендентом, ибо лучше нам потерять в Государственной Думе одно еврейское место, нежели отдать его человеку, который принесет нам вред и стыд замалчиванием своего еврейства.

Екатерина Торбовская
Я ДРУЖИЛА С АКРОБАТАМИ..

* * *

По дому гуляет, по дому гуляет,
По дому гуляет сквозняк продувной –
За шторы цепляет, дверями стреляет,
Ознобом пронзает, пугает весной.
И, вслух повторяя, что было здесь ночью,
У форточки хлипкой срывает скобу.
Недобро пророчит всё то, что захочет,
И делает вид, что читает судьбу:
Зря силы потратишь,
Беду наканючишь:
О чём, дева, плачешь –
Всё то и получишь.

* * *

Ты уйдёшь из моих песен,
Ты уйдёшь из моих писем,
Станешь столь неинтересен,
Сколь далёк и независим –
Просто кто-то из которых,
Кто оглянется, не глядя...
Ты уже на тех просторах,
Где вы все чужие дяди.

* * *

Ой, как плохо всё закончилось,
Ай, как пошло...
А ведь так всё хорошо начиналось,
Даже кошка – даже кошка, даже кошка! –
Вот чего, казалось бы, –
И та улыбалась.

* * *

Мой друг говорит о хорошем.
И хочет вернуться к истокам,
К тем самым – звенящим, истошным,
Известным лишь нам подоплёкам.
И делает вид, что не знает,
Что сказка умрёт в пересказе,
Что в марте любви не бывает –
Лишь только случайные связи.

* * *

Кончилось время настало безвремье
Кончились песни настали слова
Кончились темы пришло мелкотемье
Вечных вопросов «откуда дрова?»
Там хорошо где нас больше не будет
Всё хорошо что случилось давно
Длинные ноги высокие груди...
Что вы смеётесь? Вам тоже смешно?

ТРИПТИХ

I.

*Но, как натянутой струной,
Я взгляды чувствую спиной...*

Аз грешныя, давно-давно когда-то

Было семь, осталось три –
Как на балалаечке.
Ты гори, гори, гори,
Догорай играючи.
Я б повыла под луной,
Каб не ночь безлунная.
Поговорил бы кто со мной,
С гитарой семиструнную...

II.

Я на это ваше солнышко
повелась –
разомлела и до донышка
пролилась.

а теперь гуляю по полю –
взад-вперёд,
говорю зачем-то тополю:
«Баный рот!»,
а потом себе, и снова тополю –
и назад,
и опять по полю топаю,
жду закат.

III.

Как любила я когда-то
Тот вертящийся вертеп,
Где и львы, и акробаты
Отрабатывают хлеб,
Где случись чему случиться –
То никто не виноват:
Кто разбился – тот не птица,
А оставшимся – виват!
Были горочки покатыми –
Слали саночкам привет.
Я дружила с акробатами,
А они со мною – нет.

* * *

За окном струится улица,
Ночь светла.
Ах, какая бабушка умница –
Умерла.
А на небе звёзды россыпью –
Божий храм.
Бабушка в простынке проссанной
Уже там.
А Земля летит и крутится.
Ты поспал?
Вот ведь бабушка какая умница,
Кто бы знал.

* * *

А мы заканчиваем вечер,
А мы приканчиваем вечность,
А почему, держась за печень,
Ты говоришь про бессердечность?

А то, что ты душою лысый,
Тебя спасёт от шага влево,
Ты попроси побольше риса –
Официантка, где вы, где вы?

А я божусь на пидараса,
Что отращу льняные косы...
Я слишком много съела мяса,
Чтобы иметь к тебе вопросы.

* * *

Всё, что нам, сукам, они говорят в этих случаях,
Вы мне сказали,
И даже про душу мою сучую не забыли.
...И полетела душа моя сучая в дальние дали,
Лающим кашлем давясь от поднявшейся пыли.

ДАЙДЖЕСТ

Какая тонкая материя –
Тот миг в преддверии доверия,
Та дверь у самого начала, ещё вначале...
А после смотришь одичало: «О Боже! Я ли?!»
И прочь от этих небо мглою коптящих бурь...

Проходит всё, как с белых яблонь дурь.
Так говорил последний царь Синая.
...Какая прелесть ваша рыба заливная!

* * *

Горизонт натянут на пальцы,
Люди все глаза проглядели,
А когда загнули все пальцы,
Получились дни и недели.

А потом и ждать перестали,
А потом и думать забыли,
И уже не стало печали,
А они – возьми да приплыли!

Ах они такие-сякие!
С ними только мука-морока.
Боцман снова любит Марию
И глаза отводит от кока.

Тут такие чёрные птицы
В тёмном небе ночью летают,
Ты приходишь к морю топиться,
А они глядят – подмечают.

Вдалеке маяк догорает.
Пусть Мария моет посуду.
Птицы покричат да полают,
А к утру про всё позабудут.

* * *

Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра,
И такие вещи случаются, такие вещи...
Тут у нас что ни день – то уже вчера,
Тут у нас что ни сон – то кошмар, но вещей.

А ещё приплыли к нам корабли,
А на них такие плохие люди...
Мы плетьюми их били, пока могли,
А потом сожгли – пусть их Бог рассудит.

А слепая девочка родила козла.
Родила козла и сама же съела.
Вот такие, парень, у нас дела,
Да тебе-то, парень, какое дело?

Ты иди отсюда, не жди утра –
Что ещё там море к утру наплещет...
Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра,
И такие вещи случаются, такие вещи...

ПЕСЕНКА

Ну зачем это я?
Вот какого рожна?
У него есть своя
Молодая жена,
У него с ней и так выше крыши забот,
А тут я прихожу, горожу огород.

И хожу, отвернувшись от Божьих икон.
Вот зачем это я?
А зачем это он?..
И не скажешь теперь: «Забирай, володей!»
Всё не так, всё не так, всё не как у людей...

Закатился закат. Чей-то голос в ночи
На любое «хочу!» отвечает: «Хочи!»
А я только хочу, чтобы стоя ворон
Пролетая, сказала, зачем это он.

Но я знать не хочу вороного вранья
Про «какого рожна?» и зачем это я.

* * *

Ворона каркала:
«Умрёшь!
Уже не гож, не доживёшь!» –
Крича на сотню голосов,
Пугала лес, будила сов...

А человек был мудр и стар,
Он говорил вороне: «Карр!»
И, на плечо к нему садясь,
Ворона спрашивала: «Ась?»

* * *

Я не то чтоб развесила слюни,
Когда Вы появились в июне,
А я просто сменила причёску
И купила чего-то в полоску.
А вдогонку – чего-то в горошек
И чего-то ещё без застёжек...
И мы с Вами почти что успели
Рассчитать гороскоп на неделю...
Только знаете, Вы, это...
Не крадите у меня лето.

* * *

Во саду ли да на лавочке-скамеечке
Хрустнет косточкой Петровна под Сергеичем –
Только эхо ухнет дальнею кукушкой,
Только сторож отзовется колотушкой.

У Петровны дома муж и стол со скатертью,
А Сергеич – он то здесь, то в Липках с матерью.
Ей, Петровне, жаль его, Сергеича.
А Сергеич с ней особо не жалеючи.

* * *

За той оградой – водопад,
Там есть и озеро, и сад,
И праздный взгляд лениво ловит ланей.
И там пажи среди деревьев
Гуляют белых королев,
Осознавая всю тщету своих гуляний, –
Лишь сладкий шелест:
«Николя, donnez-moi mon mouchoir»^{*}
И лёгкий запах миндаля,
Дождя, имбири...
И все пока что на доске,
Но жизнь висит на волоске,
И путь один: с E2 на E4.

^{*}Подайте мне мой платок [доне муа мон мушуа] (*франц.*)

НА СМЕРТЬ Т.

...Ни сраму мёртвые не имут,
Ни нашей славы не хотят.
Его Там примут?
Примут, примут.
Его простят?
Там всех простят –
Нам не измерить тех мерил,
И тех весов, и тех пределов...
Он сам не ведал, что творил,
Хотя прекрасно знал, что делал.

* * *

Я в Вас души не чаяла найти.
А ведь нашла... Теперь души не чаю.
Как хорошо, что нам не по пути
туда, где я путей не различаю.
Туда, куда уходят, чтоб плутать
и выхода искать, забыв про выдох.
Как хорошо, что мне не нужно знать
о Ваших машинах, танечках и лидах.
Как хорошо, мой Бог, как хорошо!
Какие птицы в небе пролетают!
А был бы вот листок с карандашом –
я б Вам тогда на память эту стаю...

А может быть, ещё и пару слов,
а может быть – потом ещё с полсотни,
потом ещё... и наломала б дров,
и вспомнила б слова из подворотни.
Как хорошо, что нет карандаша!
Как хорошо, что птицы улетели
и что ни слов, ни прочих антраша
мороки-карусели-канители...

* * *

А вы не думайте о прошлом,
Примите всё таким, как есть.
Вотмышь-вдова глядит на кошку,
Всю ночь вынашивает месть,
Но мы-то с вами понимаем,
Кто будет цел, кто будет сыт,
И чьё там масло под трамваем,
И для кого оно блестит.
Да, счастьем не было предела,
Но Бог его уже раздал,
А свальный грех такое дело –
Кто не успел, тот опоздал.

* * *

Когда бы Вы меня любили,
То Вы б не так меня любили,
Как Вы меня тогда любили,
Когда меня Вы не любили...

*Н.В. Очень важно не перепутать порядок слов,
остальное приложится.*

* * *

Вы снились мне мутной водой у причала,
Я Вас испугалась, я Вас не узнала,
А Вы мне сказали: «Ты мягче стели»,
И солнце почти что коснулось земли.
А в небе парила бескрылая птица.
Я утром хотела за Вас помолиться,
Сказать, что прощаю, поставить свечу,
Но я Вас не знаю. И знать не хочу.

* * *

Нет я не сбуду Ваших мечт
Мне не судьба быть Вам судьбою
И не сломаю Ваших мачт
Вы даже не готовьтесь к бою
На Вашу карту козырную
Я не поставлю и рубля
Я Вас миную
Как минуют
Нейдущих минные поля.

БЕЗ ГОМЕРА

Я, видно, не усну.
Я сосчитала всех быков и всех коров,
и все блага благие в этом лучшем из миров,
где всё рождаемое
поедает всё живое и растительное,
а всё желаемое
выдаётся замуж за действительное,
и, лёжа в состоянии покоя,
старалась забывать про всё плохое,
дыша, как нас учили йоги, кожей,
старалась вспоминать про всё хорошее...
Но с песней, как Ивану Кузьмичу
зачем-то в жопу вставили свечу,
я поняла, что не усну, и не хочу.

* * *

Сам ты злой и сам ты старый,
Сам ты «скоро под фанфары»,
Сам ты скоро «Богу – душу, чёрту – тело».
А она совсем не злая,
Она просто пожилая,
Она просто пожила и поумнела –
Той жизнью длинною
Судьбой чугуною...
За ней архангелы летят, трубя –
За той, за самою,
За девой юною,
Что по ночам так мучила тебя.

* * *

Вот самый дурацкий на свете вопрос,
А ведь задаётся в слезах и всерьёз,
И голос дрожит, и слабеют колени,
Как будто ответ ещё что-то изменит:
– Вот мы какие, привет нам, привет!
Ты меня больше не любишь?
– Нет.
– Это неправда, подумай сюда:
Ты меня больше не любишь?
– Да.

без посвящения

Мой друг был подл, как сто подводных лодок.
И многолик, как сорок тысяч братьев.
Он был моей последней из находок –
Кто ищет, тот себе и математик...
И не было бы этого стишка,
Когда бы мне не становилось жутко,
Что кто-нибудь теперь исподтишка –
Скажи мне, кто твой друг...
И я скажу, кто.

* * *

А если вам кто-то скажет,
Что птицы едят его счастье? –
Заплачет, покажет, спрячет
изрезанное запястье,
скажет, что птицы смотрят глазами жестоких лиц,
что нужно кота или кошку – таких, чтобы жрали птиц.
Вы скажете – да, конечно, птицы, они такие...
но это потом проходит в условиях терапии.
Вы всё ему объясните, расставите по местам.
Уйдёте.
И вдруг начнёте присматриваться к котам.

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

Велвл Чернин

*ДОМОЙ, В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ**

Начиная со второй трети XIX века основным центром новой поэзии на иврите становится Галиция, а затем – Российская империя. В Восточной Европе (или выходцами из Восточной Европы) начинают издаваться многочисленные журналы и газеты на иврите, сделавшие этот не употреблявшийся много веков в повседневном обиходе язык одним из заметных языков европейской прессы, в том числе литературной.

На 80–90-е годы пришлось первые практические успехи *гебраизма* – идеологии, поставившей задачу возрождения иврита в качестве языка повседневного общения. Инициатором, идеологом и лидером этого направления стал уроженец Белоруссии Элизер Бен-Иегуда (1859–1922), которого часто именуют «отцом современного иврита»). Гебраизм был тесно связан с палестинофильством, а впоследствии – с сионизмом, политическими движениями, имевшими своей целью решение еврейского вопроса путем возвращения из Изгнания на Родину и создания условий для восстановления государственной независимости в Эрец-Исраэль. Однако на рубеже XIX–XX веков, когда иврит после многовекового перерыва снова зазвучал в устах еврейских детей в Эрец-Исраэль, центр литературного творчества на иврите попрежнему находился в Изгнании, прежде всего, в Восточной Европе.

И не случайно центральной, знаковой фигурой ивритоязычной поэзии периода национального возрождения стал уроженец Украины Хаим Нахман Бялик (1873–1934), первый сборник стихов которого вышел в свет в Одессе в 1902 году:

Привет тебе, ласточка, снова вернулась

Ко мне под окно ты весною.

Из дальних краёв, где ни снега, ни вьюги,

Вернулась ты петь предо мною.

Быть может, спойшь мне, быть может, расскажешь

О странах чудесных Восхода?

Скажи, неужели там те же страданья,

Что множатся здесь год от года?

Привет принеси мне от братьев в Сионе,

Своё засевающих поле!

О знают ли братья-счастливы, как горько,

Как тягостно бремя неволи?

О знают ли, сколько врагов беспощадных

Меня окружают повсюду?

Пой, ласточка, пой о стране благодатной,

Подобной весеннему чуду!..¹

* Фрагменты статьи «Краткий очерк долгой истории поэзии на языке иврит».

¹ Перевод Хануха Дашевского.

В творчестве молодого Бялика, прежде всего, в его просодии, заметно влияние поэзии его старшего товарища Шимона Шмуэля Фруга. Однако вскоре известность и популярность Бялика намного превзошла известность и популярность его учителя. Написанная Бяликом после кишинёвского погрома 1903 года поэма «В городе резни» (в классическом русском переводе Владимира Жаботинского – «Сказание о погроме») сделала его одним из наиболее известных еврейских поэтов своего времени. Бялик стал одним из соучредителей издательства «Мория», специализировавшегося на издании литературы на иврите и закрытого советскими властями в 1921 году. Перу Бялика принадлежат переводы на иврит произведений Шекспира, Сервантеса, Шиллера. Наряду с ивритом Бялик, как и многие ивритоязычные поэты его поколения, писал стихи также и на идише. Еще при жизни Хаим Нахман Бялик был признан классиком национальной еврейской поэзии, гением и символом еврейского национального возрождения:

*...Верны мои слёзы – сам Бог это знает.
Весь сгусток страданья те слёзы вместили;
И с каждой слезой, что из глаз вытекает,
Частицу души хороню я в могиле.*

*Но есть у меня и слеза роковая,
Зачатая гневом, рождённая в боли.
Не спит и не дремлет она, разрывая
Отчаяньем душу: «Где помощь? Доколе?»*

*Как гной на костях, в моём прячется теле,
Как тайный мой грех, не даёт мне покоя.
Смущает мой день, гонит сон от постели –
Как смертная тень, всюду рядом со мною.*

*И всё же я верю: пророк ещё встанет –
Он землю слезою великой омоет,
И громом рыданье небесное грянет,
И мир содрогнётся, и в ужасе вззоет.²*

Бялик участвовал в Сионистских конгрессах 1907 и 1913 годов. В его стихах звучал призыв к национальному возрождению и уверенность в будущем еврейского народа на его исторической родине:

*Дальше, о скитальцы, бодрыми рядами!
Путь еще не кончен, бой еще пред вами.
Свершены блужданья по глухой пустыне:
Новая дорога стелется вам ныне.*

*Сорок лет скитаний – зной, пески, граниты;
Пали мириады, пали незарыты –
Пусть: они родились в рабстве Мицраима –
И рабами пали. Не жалей их. Мимо!*

*Пусть гниют, обнявши то, что сердцу мило, –
Тюк своих пожитков, принесенных с Нила;*

² Перевод Хануха Дашевского.

*Пусть им снится рабство, с чесноком, и луком,
И горшками мяса, и гусиным туком.*

*И поделит коршун с бурю пустыни
Жалкий прах последних из сынов рабыни.
Сладко будет солнцу озлатить впервые
Целый род свободных, не склонявших выи, —
И впервые взглянет, незнаком с бичами,
Целый род на солнце — гордыми очами!³*

В 1921 году по ходатайству Максима Горького власти позволили великому еврейскому поэту покинуть Советскую Украину. Бялик переехал сначала в Берлин, а в 1924 году репатриировался в Эрец-Исраэль, в которой иврит был провозглашен в 1922 году одним из трех (наряду с английским и арабским) официальных языков подмандатной Палестины. Поэт поселился в Тель-Авиве, способствуя самим фактом своего присутствия в этом городе его превращению в основной центр литературной, издательской и театральной деятельности на иврите.

Похороны Хаима Нахмана Бялика в Тель-Авиве в 1934 году прошли при огромном стечении народа и стали событием общенационального значения. Сразу же после смерти великого поэта городской муниципалитет Тель-Авива ввел поддерживаемую и в наши дни традицию ежегодно присваивать престижную литературную премию имени Хаима Нахмана Бялика выдающимся деятелям литературы на языке иврит. В 1935 году, в годовщину смерти Бялика, руководство Всемирной сионистской организации основало в Тель-Авиве существующее до сих пор издательство «Мосад Бялик», специализирующееся на публикации шедевров литературы на иврите.

Наряду с Бяликом классиком поэзии на иврите периода национального возрождения считается Шауль Черниковский (1873–1943), также уроженец Украины, который репатриировался в Эрец-Исраэль в 1931 году. Помимо лирических стихотворений его перу принадлежит поэма «Барух из Майнца» и целая серия исторических баллад:

*...С богатой добычей ещё со вчера
Телеги стоят на майдане.
Атлас в них и бархат, а также гора
Субботних подсвечников из серебра,
и жемчуг, и кубки, и ткани.
Там гогот весёлый стоит над толпой,
Но где атаман, атаман молодой?
Такая добыча ему не нужна —
Атлас её плеч ему нужен.
И груди, как шёлк, и лица белизна,
И брови, как бархат, и очи без дна,
И зубы прекрасней жемчужин.
Хмельней, чем заморские вина,
Уста этой дочки раввина.⁴*

³ Перевод Владимира Жаботинского.

⁴ Из баллады «Дочь рабби». Перевод Хануха Дашевского.

Черниковский был «эллином среди иудеев» в своей увлеченности древнегреческой культурой. В определенном смысле программным для его мировоззрения является стихотворение «У статуи Аполлона».

Увлекало Черниковского и семитское язычество, предшествовавшее принятию еврейским народом Торы и веры в единого Бога. Отражением этого интереса стали стихотворения «Песнь Астарте и Белу» и «Смерть Тамуза». Краткое упоминание пророка Иезекииля о женщинах, которые оплакивают смерть бога Тамуза – символа умирающей и воскресающей природы, Шауль Черниковский – в псевдобиблейском стиле – превращает в развернутую картину языческого богослужения:

*Идите и плачьте, о дочери Сиона!
Сияющий Тамуз – он умер, увь!
Грядущие дни – это время ненастья,
И душ омраченных, и жёлтой листвы!⁵*

Шауль Черниковский перевел на иврит «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, а также «Слово о полку Игореве». В 1943 году, после смерти поэта, городской муниципалитет Тель-Авива начал ежегодное присвоение премии Черниковского за переводы на иврит шедевров мировой литературы. Имя Черниковского носит тель-авивский Дом писателей.

С именами Бялика и Черниковского связано утверждение в поэзии на иврите силлабо-тонической системы стихосложения, сменившей принятую у поэтов эпохи Гаскалы силлабическую. В данном случае можно говорить о влиянии русской поэзии – как непосредственном, так и при посредстве Шимона Шмуэля Фруга, введшего силлаботонику систему в поэзию на идише. С его творчеством – на русском языке и на идише были хорошо знакомы оба классика новой поэзии на иврите.

В конце 20-х – начале 30-х годов завершается процесс превращения Эрец-Исраэль в основной и даже в единственный центр литературы на иврите. Иврит как язык живой еврейской литературы уходит из Восточной Европы, уступая место идишу. Это было связано как с репатриацией многих ивритоязычных писателей, так и с преследованиями литературы на иврите в Советском Союзе. В 1926 году вышло в свет последнее на советской территории литературное издание на иврите – альманах «Берешит». Символична судьба, пожалуй, самого значительного ивритского поэта, оставшегося в СССР, Хаима Ленского (1905–1943), который провел многие годы в заключении и погиб в лагере. Предвидя свою гибель, поэт описал ее одновременно и как гибель всей ивритоязычной поэзии в Советском Союзе в целом:

*...Буду схвачен. И в крике мой рот
Искажится от боли когтящей.
Так, настигнут, последний из зубров ревёт,
Окружён Беловежскою чащей.
Этот крик, белизну снеговой пелены
В муках брызгами крови усеяв,
Вам напомним о пасынке чуждой страны,
О последнем поэте евреев.⁶*

⁵ Перевод Владислава Ходасевича.

⁶ Перевод Валерия Слуцкого.

В Западной Европе литература на иврите не подвергалась гонениям, однако и здесь фактически перестала существовать в межвоенный период также вследствие репатриации многих авторов в Эрец-Исраэль и перехода большинства их оставшихся коллег к творчеству исключительно на идише. Последним значительным ивритоязычным поэтом Западной Европы был Давид Фогель (1891–1944), арестованный во Франции и погибший в Освенциме. Написанные им еще в 1916 году строки воспринимаются как реквием по ивритоязычной поэзии Европы: *Погасла свеча, / Радость была горяча и уже остыла.*⁷

Одновременно с насильственной ликвидацией литературы на иврите в Советском Союзе происходило агрессивное вытеснение литературы на идише на обочину литературной жизни Эрец-Исраэль. Идиш символизировал в глазах большинства приверженцев сионизма Изгнание, и творчество на этом языке воспринималось как несовместимое с возрождением еврейского народа на его исторической родине. В этом смысле показательны слова выдающегося израильского поэта, писавшего на идише, Йосефа Паперникова (1899–1993), родившегося на Украине и репатриировавшегося в 1924 году: «Я как немой среди родных братьев». На протяжении всей жизни Паперников хранил верность сионизму и одновременно поэзии на языке идиш, но был исключением. Вот строки из его стихотворения «Отбившийся»:

*С деревянной упряжкой пустой на горбу
И с обрывком верёвки на шее верблюд
Издалёка откуда-то к морю прибрёл.*

*Вот он, масти песочной, с облезлым хребтом,
Неподвижно стоит на песке золотом,
Отвисает живот, как порожний мешок,
Шею вытянув, голову гордо задрал,
Опираясь на жерди расставленных ног,
Тень свою сторожит он, лежащую сбоку,
Долговязый, нагой испокон,
Родич пальмы давнишних времен.*

*Не шелохнется, стоя, верблюд,
Будто врос он глубоко в пески.
Восседает согнувшийся день на спине у него
И глядит, как в озёра тоски,
В тусклоту его глаз, что слезятся
Тёплым светом и золотом блёклым
Против солнца, сходящего в море.
Вечерами, тревожа верблюда, оно
Шлёт к ногам его грохот прилива,
Но его головою лениво
Отстраняет верблюд:
простоит он хоть вечность у вод –
Никуда не пойдёт!..*⁸

⁷ Перевод Рахели Брехес.

⁸ Перевод Давида Бродского.

Идеология отрицания Изгнания выражалась не только в негативном отношении к идишу, но и в отрицании связи между формирующейся израильской нацией и еврейством Диаспоры. Радикальным проявлением этого отрицания стала идеология «кнаанизма», которую проповедовал Йонатан Ратош (Уриэль Гальперин-Шелах; 1908–1981). Вошедший в историю ивритской литературы тысячами неологизмов, а также своими переводами, Ратош обращался к «добиблейским» слоям иврита и к языческим, «доиудейским» мотивам древнееврейской культуры. В этом отношении творчество Йонатана Ратоша стало дальнейшим развитием тенденции, едва наметившейся в творчестве Шауля Черниховского. Однако радикализм Ратоша остался экзотическим исключением.

Гораздо большее значение для «конфликта поколений» в ивритской поэзии имел переход с ашкеназского произношения на сефардское. Различия между ними – в числе слогов во многих словах, расположении ударных слогов, произношении отдельных звуков (в первую очередь гласных, но также и согласных) – сложились на протяжении веков Изгнания. Поэты национального возрождения, включая Бялика и Черниховского, писали свои произведения на «ашкеназите». Однако в качестве нормативного произношения в возрожденном иврите было выбрано и утвердилось сефардское. В соответствии с этой нормой создавали свои произведения поэты нового поколения. Отказ от ашкеназского произношения воспринимался как один из элементов отрицания Изгнания, поскольку подавляющее большинство репатриантов, прибывших в Эрец-Исраэль в конце XIX – первой половине XX века, были выходцами именно из ашкеназских общин. Переход на сефардскую норму создал языковой барьер внутри самой ивритоязычной поэзии, усложнив для современного читателя восприятие музыки ашкеназского стиха.

Однако полного отказа от поэтического наследия, созданного в соответствии с ашкеназской нормой, не произошло. Достаточно упомянуть, что на «ашкеназите» написан и до сих пор звучит наш гимн «А-тиква».

Среди виднейших поэтов, родившихся в странах Изгнания, в основном в Восточной Европе, но начавших свой творческий путь в возрождающейся Стране Израиля и изначально ориентировавшихся на сефардскую норму, следует упомянуть Рахель⁹ (Рахель Блувштейн, 1890–1931):

*Предвестник мрачный приходил
Ко мне в полночный час:
Скелет без мяса и без жил
С глазницами без глаз.
И знала я уже тогда,
Что рухнул мост времён,
Что с прошлым больше никогда
Меня не свяжет он.*

⁹ В «ИЖ» опубликованы стихи Рахели в переводе Алекса Тарна (№№ 28, 33, 36), его посвященные поэтессе эссе «Пятая звезда» (№ 33) и роман «Дор» (№ 40).

*Худой кулак узрела я,
Раздался адский смех:
«Да будет эта песнь твоя
Последнею из всех!»¹⁰*

Не одно десятилетие «поэтом номер один» в Израиле многие читатели и литературоведы называли Натана Альтермана (1910–1970)¹¹. Он приобрел известность как автор злободневных стихов, выражавших политические устремления в борьбе против британских колониальных властей в 30-е – 40-е годы. Во все хрестоматии вошло написанное в 1947 году, накануне Войны за Независимость, стихотворение Альтермана «Серебряное блюдо», с эпиграфом из выступления первого израильского президента Хаима Вейцмана: «Государство не преподносят народу на серебряном блюде».

*И наступит покой. И багровое око
Небосвода померкнет в дыму,
И народ,
Всею грудью вздыхая глубоко,
В предвкушении близкого чуда замрёт.*

.....

*...Молчаливо пройдут они длинной тропой,
Их одежда проста, башмаки тяжелы,
Их тела не отмыты от копоти боя,
Их глаза еще полны и молний и мглы.*

*Как устали они! Но чело их прекрасно
И росинками юности окроплено,
Подойдут и застынут вблизи... И неясно,
То ли живы они, то ль убиты давно...¹²*

После Шестидневной войны поэт отошел от левой (в израильском смысле) идеологии и стал сторонником движения за неделимую Эрец-Исраэль, посвятив всю свою публицистику идеям этого движения.

Но Альтерман – и утонченный лирик, один из признанных лидеров литературного авангарда своего времени, и переводчик Шекспира, Мольера, Бёрнса и других зарубежных классиков.

Даже в самом коротком списке этой плеяды нельзя не упомянуть Давида Шимони (1891–1956), воссоздавшего на иврите поэзию Лермонтова и переведенного, в свою очередь, на русский такими выдающимися мастерами, как Маршак и Ходасевич. Вот строки из стихотворения Шимони «На реке Квор»¹³:

¹⁰ Перевод Хануха Дашевского.

¹¹ В «ИЖ» опубликованы посвященные Альтерману эссе Владимира Фромера «Поэзия как форма жизни» (№11) и Алекса Тарна «Ответственность и надежда» (№ 40; в этом же номере напечатана «Поэма о казнях египетских» в его переводе). В переводе Тарна опубликованы стихи Н. А. также в № 28.

¹² Перевод Рувима Морана.

¹³ Река на юге Междуречья, упоминаемая в книге пророка Иезекииля.

Со всеми, кто ушел в скитанье,
 Бреду и я в чужой простор –
 И без конца, без упования
 Твой вечный берег длится, Квор!
 Безжизненно, беззвучно годы
 Проходят, быстро дни летят –
 По гравию не шелестят
 Твои медлительные воды...
 А сверху белая луна,
 Не падая, не подымаясь,
 Висит. Давно мертва она.
 И вдруг я понял, содрогаясь:
 Мы все мертвы! Здесь нет живого!
 Куда идём и для чего?
 Довольно звука одного,
 Довольно оклика ночного –
 И всё исчезнет от него,
 Растает, как ночная мара...
 Но тщетно я кричать хотел:
 Мой голос умер... Я смотрел:
 Там мертвецы, за парой пара,
 Идут, идут... И чёрный Квор
 Не зыблется меж чёрных гор.¹⁴

Стихи Авраама Шлэнского (1900–1973), автора первого перевода на иврит «Евгения Онегина», тоже неоднократно переводились на русский. Приведу его стихотворение «Обет», написанное в 1943-м:

По велению глаз моих, видевших ад,
 Вопли сердца вложивших мне в грудь, как камня,
 И по воле тех чувств, что прощать мне велят,
 Но пришли уже дни, когда нету прощенья –
 Вот даю я обет, обещаю стократ
 Помнить всё и не ведать забвенья!
 До последнего рода жить памятью той,
 До предела времён, до последнего срока!
 Пусть опорой мне в этом Закон будет мой!
 Поклянусь: не пройдут ночи гнева без прока,
 Ибо если дневною займусь суетой –
 Значит, вновь не извлёк я урока!¹⁵

Заметный след в израильской литературе оставил считавший себя последователем Маяковского «официальный поэт компартии» Александр Пен (1906–1972). Его стихи переводили в СССР Давид Самойлов, Леон Тоом, Вильгельм Левик, Александр Ревич и другие замечательные советские поэты. Стихотворение А. Пена «Светоносцы» перевел Владимир Корнилов:

¹⁴ Перевод Владислава Ходасевича.

¹⁵ Перевод Хануха Дашевского.

Те, с кем пересекал глухую ночь,
 Сумевшие пройти и превозмочь
 Глухую ночь,
 Меня учили письмам Рассвета.
 Была расстреляна рассветом мгла,
 Повержена была глухая мгла.
 Я поклонился факелу Рассвета!
 В терроре билась ночь – проклятье ей, –
 Исполнена страданий и скорбей.
 Проклятье ей!
 И плаха наблюдала действие это.
 Ночь клятв и смерти среди бела дня,
 Ночь злобы, зверства и огня
 Средь бела дня.
 Хвала убившим ночь и стершим ночи эхо!
 А баррикадам мужества хвала!
 Мгла факелом повержена была,
 И факелу хвала!
 Мне жизнь дана – оберегать горенье это.
 Те, с кем пересекал глухую ночь,
 Сумевшие пройти и превозмочь
 Глухую ночь,
 Меня учили письмам Рассвета!

С творчества процитированных авторов, а также Леи Гольдберг (1911–1970), ставшей классиком детской поэзии на родном языке поколения евреев, родившихся в Эрец-Исраэль, и Амира Гильбоа (1917–1984) начинается новая, собственно израильская глава в многовековой истории поэзии на иврите.

Особое место в израильской поэзии занимает творчество уроженца Галиции Ури Цви Гринберга (1896–1981). Несмотря на острые идеологические расхождения между этим великим поэтом и израильским истеблишментом, не утратившие своей актуальности и сейчас, спустя три десятилетия после его смерти, по мнению многих исследователей, Гринберг был ярчайший еврейским поэтом XX века, ее классиком.

В языковом отношении поэзия Гринберга стала уникальным результатом творческого переосмысления всех этапов многовековой истории поэзии на иврите. По определению профессора Дана Мирона, «лингвистически творчество Гринберга представляет самую широкую и сложную лексическую и синтаксическую систему из известных нам в еврейской поэзии за последние столетия. Все исторические пласты иврита – от библейского и до модернистских стилистик, изобилующих заимствованиями из иностранных языков, нашли в нем свое место».

Тематически поэзия Гринберга связана с экзистенциальными проблемами истории еврейского народа в XX веке и проблемами универсальными, порожденными комплексом модернистских концепций,

которые формировали в минувшем столетии всю западноевропейскую культуру. Идейно она связана с бунтарским нигилизмом и с новейшим обращением к религиозной традиции, с крайним индивидуализмом и категорическим коллективизмом, с глубоко личными переживаниями и с общественно-политической жизнью возрожденной еврейской государственности. Эмоционально эта поэзия ставит на первый план почти невыносимый по своей мощи накал страстей и вместе с тем обуздывает себя глубоким рационализмом (даже трагедию Катастрофы поэт переводит в «науку скорби»). Поэзия Гринберга воплощает радикальнейший бунт еврейского модернизма против романтической нормативной поэзии периода бяликовского «Возрождения» и в то же время является главным сущностным продолжением поэзии Бялика с характерным для нее пророческим звучанием.

В случае Гринберга речь идет об уникальном поэте, вклад которого в еврейскую поэзию XX века на ее двух основных языках – иврите и идише – сопоставим по объему и масштабу. Он начал публиковать стихи на этих языках одновременно. После Первой мировой войны, в которой Гринберг сражался в рядах австрийской армии, он переехал из Галиции в Варшаву, где стал признанным лидером еврейских экспрессионистов. Изданные в начале 20-х годов на идише сборник стихотворений «Вечернее золото» и поэма «Мефистофель», по определению Дова Саdana, «вознесли его на самую вершину лестницы модернистской, бунтарской, ориентированной на экспрессионизм поэзии на идише». Вместе с писавшими исключительно на идише Мелехом Равичем и Перецом Маркишем Гринберг создал экспрессионистскую литературную группу «Халястра». Затем издавал получивший широкую известность литературный журнал «Альбатрос».

В 1924 году поэт репатриировался в Эрец-Исраэль, и основным языком его творчества стал иврит. Мессианское видение мира и радикальный нонконформизм Гринберга, примкнувшего с 30-х годов к сторонникам Владимира Жаботинского, привели поэта к разрыву с социалистически ориентированным культурным истеблишментом подмандатной Палестины. Поэзия Гринберга наполнилась призывом к вооруженной борьбе за независимость и к мести палачам еврейского народа, истребившим миллионы людей в годы Холокоста:

*Кричу вам, знающим язык мой, / Моему поколению и поколению грядущему: / Как с пылающего Синая, приказ единственный – и ничего святого в мире: / Дважды – кровь за кровь! / Дважды – огонь за огонь! / И семижды семь – позор всем врагам!*¹⁶

Творчество Гринберга на иврите получило широчайшее признание: Премия имени Х. Н. Бялика (1947 и 1957), Госпремия Израиля (1957), почётный доктор Тель-Авивского университета (1978)...

Тем не менее он продолжал писать и публиковаться также и на идише, что стало еще одним проявлением его нонконформизма.

¹⁶ Перевод Григория Люксембурга.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Так близко, как рука к ребру
и как стена к постели,
но далеко, так далеко, как звуки
умолкших голосов,
как голос твой в тот самый первый вечер,
в саду, в тревожном запахе сирени...
...Звучал так нежно, так призывно,
но до меня ещё не долетал.

А ты была, как день, благоуханна,
как поле созревающей пшеницы,
как солнцем напоённые плоды.
и волосы медовые твои –
янтарный лес, в котором свет и тени...
Я помню, ты стояла в белом платье,
под серебристой шёлковой фатой...
Зачем ты умерла, зачем?..
И мы – оставили тебя в могиле гнить,
как пса, закопанного в огороде.

И я, и все друзья любимые твои
с тех пор блуждаем в опустевшем мире,
в пространстве без тебя.
И в окруженье жизни лучезарной,
над пропастью меж нами и тобой
вдыхаем жадно, словно дикари,
как звери, стерегущие добычу,
как птицы хищные, твой запах нежный –
благоуханье зреющей пшеницы и аромат плодов.

При свете дня мы заняты другим,
но вечером, когда краснеет небо,
терзают душу прежние желанья
и образ твой одушевляет ночь.

О, если бы найти твоё отображенье
здесь, в этой жизни, в облике земном,
и воспевать тебя, и Бога славить...

Поймёшь ли ты, любимая, в земле,
как мы тебя любили, как желали
в горячей тьме ночной...

ИЗ ЦИКЛА «МИР ЗАБРОШЕННЫХ САДОВ»

1

О мир заброшенных садов – вселенная в миниатюре!
Тут змеи, скорпионы, сорняки,
гиены по ночам рыдают горько...
Со временем тут выкорчуют пни
и возведут дома. Но это – будет, а пока –
в стволах незримо бродит то, что накопилось.
И каждую весну здесь лопаются почки –
я это чувствую всем телом.

Печален мир заброшенных садов,
В нём ароматы увяданья и цветенья, весна и смерть.
От середины дерева до кроны –
скелет, но ближе к полосе земли и к сорнякам,
к крапиве, есть веточки, растущие из смерти
к весне. От них исходит запах скорби.
И если это выразить словами, пересыхает горло.
Деревья мёртвые, и птицы на ветвях.
И первозданное сиянье...

О мир заброшенных садов!
Нет, никогда на кладбище людском
картина смерти не бывает так жестока,
как здесь, в тепле, в пьянящем запахе весны.
На каменном надгробье можно
построить голубятню, и могила
уже не будет выглядеть так грустно.
Но только не в заброшенном саду!
Здесь голубятня неуместна...
Пишу – и слёзы на глазах,
и по спине – то жар, то холод...

2

Мама моя и сёстры (на замужних платки из шёлка,
У девушек рыжие косы уложены на затылке)
идут среди мёртвых деревьев на встречу к отцу и зятям.
Мужчины сюда приходят благословить луну.
Сухие листья шуршат, и слышится шорох крыльев...

Тут их никто не встретит, не скажет – входите с миром,
тут среди мёртвых деревьев – змеи и скорпионы,
растут по ложбинам колючки, крапива, дикие травы,
преют сухие листья – листопады минувших лет.

Когда мой отец с зятьями танцуют и возглашают:
«Царь Давид существует, жив, существует, жив!» –
в Яффо и в Тель-Авиве к луне вздымается море,
мама моя и сёстры светятся белизной...
Отец и его зятья поднимаются на деревья,
ветви под ними не гнутся – невесомы отец с зятьями,
стоят и смотрят на море, словно печальные птицы.
Но никак не приходят в гавань корабли из западных стран,
чтобы доставить кости с комьями влажной глины,
пропитанной их кровью, как святая земля.

Спустились отец с зятьями, ветви не потревожив,
склонились мама и сёстры... Подняли вой шакалы...

3

Не надо вопрошать у мёртвых, почему
встречаются они в заброшенном саду
благословлять луну, когда синеет воздух от мороза
в конце зимы и мёртвые деревья
скорбят и вспоминают лето и дуновение весны.
Она к ним приходила после смерти, в их сны.
Деревья умирали месяцами, без жалости людской,
пытаясь отыскать корнями влагу в земле сухой...

На ощупь – эта грусть нежнее шёлка
волос печальных избранницы моей души,
покинувшей меня,
когда я находился в юном теле, подобном скрипке.
И в ночь благословения луны она встаёт из моря
и по серебряной тропе идёт искать живого человека,
одного,
который вышел ей навстречу в смятенье,
в мерцающем сиянье
звезды Венеры, окружённой нимбом золотым.
...Ночная встреча в мире заброшенных садов,
как прежде в садах живых деревьев, летними ночами
когда-то в юности, которой больше нет и никогда не будет,
быть может, сохранится только в скорби
воспоминаний старческого тела...
Разбиты скрипок драгоценные тела, и их не починить...

ДЕНЬ ГИТАРЫ

Будет день... Будет ласково петь свою песню гитара,
Бог отец – в небесах... Птицы в гнёздах и птицы в сердцах.
По волнам не плывут корабли, и отец остаётся с детьми,
со своими деревьями, с кротким домашним огнём.
Всё, что было в скитаньях, запрятал он в сердце своём,
как запрятаны в сердце земли тайны древнего мира.
Собираются девушки, песни поют, на гитаре играют,
в них сияние, свежесть, цветущих садов аромат.
Будет счастье кому-то, а кто-то и песенкам рад...

Будет день... И не будет органа, довольно гитары простой,
потому что далёкие грёзы ушли и мечты достижимы.
Нет больших расстояний, Господь их закрыл пустотой,
крыльев нет, только руки и плечи любимых.
Всюду пенье ручьёв, и на сердце легко.

Посох странствий забыт. Кто захочет идти далеко?

ИЗ ЦИКЛА «ЧЕЛОВЕК В БЕЗДНАХ»

Мы взывали к Нему из глубин, о ничтожных потерях скорбя,
не умея измерить тоску и печаль в полноте бытия,
не умея понять настоящую ценность вещей,
взвесить боли и скорби – какая из них тяжелей.
Потерявший лишь малую часть или тот, кто лишился всего,
возносили молитвы и жалобы, каждый о горе своём,
тем же голосом скорбным,
одними слезами рыдали, склоняя чело.

Мы не знали, какое терпенье и силы нужны для великого горя,
небывалого, непостижимого горя,
и как мало вмещают болота в сравнении с морем.

Но ещё воцарится любовь на просторах земли,
и стихи воспоют нашу землю, где мы – короли,
и святые виденья откроются нашим очам,
и слияние тел будет словно Божественный дар,
как слияние Солнца с Луной,
как в раю... Это было давно. Это было дано.

Перевела с иврита Татьяна Соколовская

ИЗ НАУКИ О ГОСУДАРСТВЕ**1.**

Не силой меча одного, но *провиденья* силой
сбывается то, что знаменьем зовут в народе.
От посоха Моисея и меча Навина
до готового к войнам меча Давида –
в руках наших, отвыкших от боя, но верных свободе
и гимну Иерусалима.

Не одною лишь силою крыльев орёл вознесён,
но *стремленью* его покоряются выси и дали,
и в пределы заветных мечтаний вторгается он,
достигая пределов желаний.

Но, увы, наших всадников кони, ступая устало,
не взошли на Синайскую гору,
не испили воды из Великой реки Авраама,
не приблизились к Нилу-Еору.

Ибо в кузне войны на времён изломе
нам кузнец-полководец пока не явлен,
властелин раскалённой железной глыбы –
предводитель нашего поколения.

Мы б увидели: вот он раздул горнило,
а в горниле – вода Иордана, Нила,
и Ливан, и Хермон, и Моав с Гиладом.
И поток нефтяной потечёт *через землю нашу*,
поколенья будущие питая.

От потока того разгорится воля
даже немощных духом детей галута.
И сердца молодых, непривычных к пенью,
утоляющих жажду водой болота,
встрепенутся, забьются и вместе грянут
долгожданную песнь о Евфрате, Ниле,
о Дамаске, Моаве и о Хермоне!

О услышь, Иордан, как народ изгоев
воспевает союз свой с рекой Евфратом –
с той рекой Великой народ – *великий*.

Если на Иордане взойдём лесами,
им не жить – ведь извечные роци наши
на Евфрате, откуда навеки с нами
наша вера: Господь Един...

Мы всё те же и пьём всё из той же чаши:
власть и святость. *Одно с другим*.

2

Разума приговор:
«Будете жить мечом»,
ибо враги кругом,
жёстко земное лоно.
Всею моею кровью молю Всеблагого:
О, сократи приговор
«будете жить мечом».

Пусть, словно лес густой,
что на холмах зелёных,
встанет Израиль Твой,
с гомоном птичьим в кронах,
вечный и молодой!

Будете жить мечом,
ибо так надо,
и не видать мечу
конца-края.
Откроет пастух загон,
выведет стадо:

за спиной автомат,
на ремне граната.
Соколом глянет он,
землю обозревая.

Будете жить – мечом,
строить, пахать – мечом,
лёгким смычком – мечом –
музыку извлекая.
Думать про жизнь и смерть
будете вы с мечом
будет любовь – с мечом –
благоуханье рая ...

Муж и жена – с мечом –
и горяча их кровь,
и потому – с мечом –
нового ждут хасида.
Смех потечёт – с мечом!
Плач потечёт – с мечом!
Песнь расцветёт – с мечом –
псалмом Давида:

«Мне обещал Пресвятой,
что возликую ныне:
вот – обустрою Шхем,
долину Суккот измерю,
мне Гилад, и по праву –
Эфраим, и мне Менаше,
Иудея – моя твердыня,
Моав – моих омовений чаша,
Эдом под моей стопой,
Мицраим, со мною пой!»

Нас убоятся вскоре
племена Полумесяца –
и успокоятся
под крылом нашим.
Мы свидетели их союзов –
братство суши и моря.
И даже Крест перебесится.

Если же бросить меч
мы посмеем
и возжелаем течь
среди тихих мест
речкой тихой,
сдаться и дань платить...

будет лихо:
дани с нас не возьмут:
коварный Крест
Полумесяц на нас натравит,
и нас раздавят,
как филистимлян и кнаанеев.

Разума приговор:
«Будете жить мечом».
Сердцем – и день, и ночь,
совестью – днем и ночью...
Взор неусыпный наш
весь объял окоём
мира, что жив воочию
нашим в нем бытиём.

Если ж на миг один
взор затуманит сон,
тотчас воспрянет враг –
рядом его засада.
Тотчас восстанет он
на Иордан, Яркон
и вознесёт свой стяг
от Нила до Евфрата,

чтоб на Горе пустой
Солнцу служить с Луной.

3

Когда слышим «галут»,
 перед нами кошмары встают,
разверзаются души слезами –
 унынье и страх,
и трепещет в бессилии разум при слове «галут».

Я пришёл и пою,
 все со мною поют –
песню мужества, веры и силы из мира неволи.

И лежит у судьбы на весах
злое иго мытарства
против доли господства,
 владыки законного доли.
И я вижу: свобода и власть тяжелей, чем галут.
Ибо не о телесном заботы гнетут,
но о сущности царства.

Мне решать, мне судьбу выбирать и полёт направлять,
поднимая сады и леса там, где были болота.
Как ликут сердца!

Жив народ, обретающий власть
На земле!

В государстве народа!

Ну а плач не беда –

это плач на своей борозде,
где сыны от отцов получают Отчизну в наследство!
Где ликут сердца, где молитвы и песни везде
полной грудью –
от сердца!

Только этим деяния наши благословлены.
То итог нашей жизни для мира, семьи и страны.

И теперь каждый знает:

*Убивает наш разум галут.
А Родная Земля – возрождает.*

4

Ни покоя, ни сна – вот народа великого бремя.
Ведь задача его – успокоить стихию и время:
о чащобах лесных над берегами медлительных вод
размышляет, мечтает, поёт.

Не такая судьба у народа, подобного стаду:
лишь трава да вода из ручья – его жизни отрада.
Но *великий* народ – он рождается с норовом льва.
Это царь!
Над овечьим ручьём не склонится его голова.
Услыхав его глас – Солнце в небе заbleет –
и сомлеет...

А в ответ – Глас небесный народам на страх,
и откликнутся эхом пределы Земли,
покорятся ему всех морей корабли.
Враг – во прах.

лето 1948

Перевёл с иврита Михаил Польский

С ПРАЗДНИКОМ!

* * *

Когда он возвращается в Иерусалим, ко мне даже голос возвращается из любой ангины, потому что – как же не повидать Вадима Александровича и как тут не спеть? Для него – его же стихи?

Это началось ещё в Харькове. Чтобы спеть для него его стихи, достаточно было выучить пару песен Сергея Никитина, но В. А. в этот раз требовалось другое. Он только что написал стихотворение «Влюблённый чародей»:

*Что проще чародею – быть юным или старым?
А это, вероятно, смотря как посмотреть:
При вас я молодею, не прибегая к чарам.
Зато потом обратно не в силах постареть...*

Итак, 1985 год, идём с ним по Харькову, у меня в руках гитара, а у него – портфель, говорим про его стихотворение – скоро телепередача, и надо найти музыку к словам прямо сейчас. Времени нет, но отказать этому негромкому человеку невозможно. У него глаза улыбаются, а говорит так интеллигентно, что мой бесшабашный и грубоватый город начинает ходить на цыпочках, прислушиваясь...

Да, песенку, и поскорее. Ему всегда нужно *прямо сейчас*. «Ну, вы попробуйте, я знаю, у вас получится», – он как бы не настаивает, а просто говорит – но всё вдруг сразу получается, такая у человека искра зажигания, одной улыбки хватает, чтобы сочинялось само. У детей и у взрослых. На концерте и просто так. В Харькове и Иерусалиме... Под гитару и без.

И сейчас, накануне очередного возвращения в Иерусалим, к сожалению, ненадолго, он звонит и говорит: у нас с вами концерт послезавтра, и хорошо бы спеть-сочинить парочку новых песен, сейчас продиктую стихи... Да, конечно, о чём речь, для вас – всегда...

А Самую Первую песенку мы сочиняли на ходу, на бегу, между лекциями. В. А. преподавал в педагогическом. Мы с гитарой, за гипнотизированные его негромкими рассуждениями о поэзии, сидели на подоконнике, подбирая мелодию, через полтора часа он уже был свободен от преподавательской деятельности, и мы снова куда-то шли, чтобы показать В. А. почти готовую песенку.

Везде полно людей, петь неудобно, и мы успели обсудить песни Дикштейна; на взгляд Вадима Александровича, Дикштейн – первый юморист Харькова, хотя люди этого ещё не понимают, но когда-нибудь непременно поймут, а он, Левин, знает об этом уже сейчас...

По дороге случился Пушкинский въезд, там как раз жил мой отец, причём на первом этаже (до третьего нашей решимости могло не хва-

тить, мы говорили о ступеньках и лестницах с некоторым опасением – устали...), и В. А., хотя и повторял непрестанно: «А это удобно?», зашёл в подъезд. Нужна была пауза между строфами.

Папа открыл моментально, посмотрел на наши артистические, но усталые фигуры и мгновенно поинтересовался, кто тут голодный. Вадим Александрович через секунду получал два огромных бутерброда с колбасой, по одному в каждую руку. И мы с папой его научили фирменному способу поедания бутербродов – откусывать надо по очереди, неспешно отдыхая между Правым и Левым бутербродами.

Кстати, песенка таки родилась, но передача не состоялась – хотя намечалось, что исполнять её должен был сам Зиновий Гердт...

В свободное от преподавания время Вадим Александрович часто брал меня с собой к детям, в качестве музыкальной паузы. Дети всем залом радостно шумели, Вадим Александрович выходил к микрофону, молча улыбался, потом начинал говорить Очень Тихо... Ещё Тише... Почти Мысленно...

И все умолкали, стараясь вслушаться, а через некоторое время сочиняли стихи, отвечали на его вопросы, улыбки и просто фразы.

Однажды он сообщил, что сегодня мы выступим втроём, если получится. Если третий участник догадается, что он участник, и выйдет на сцену... То есть если придёт секретный человек, который появится прямо в зале. И вот.

В середине концерта, когда все уже впали в счастливый столбняк от поэзии, словесной игры, песен, воздух стал совсем домашний и праздничный... хорошо, в общем, было. И В. А. вдруг произнёс:

– А сейчас я хочу пригласить на сцену нашего гостя. Это Большой, Настоящий Русский Поэт. Я счастлив и горд, что этот человек сегодня с нами...

При этих словах я нечаянно увидела Большого Русского Поэта и даже сразу ее узнала, хотя прежде не видела никогда. В первом ряду, среди детей, сидела милая женщина, которая от смеха корчилась и сползала со стула. На ней было написано крупными буквами, что до сих пор её так никто не называл. И что это название у неё вызывает Большие Сомнения...

– Давайте поаплодируем Большому Поэту, – продолжил Левин, счастливо улыбаясь, – тогда Он, может быть, выйдет на сцену...

Дети радостно захлопали. Женщина легко вздохнула, хотя казалось, что она выходить не хочет вовсе, а хочет запустить в Левина ближайшим чьим-нибудь портфелем... вышла на сцену, продолжая смеяться.

И тут же рассказала, что стихотворений у неё пока ровно два, одно она сейчас прочитает, чтобы все в этом убедились... Это была Рената Муха. Стихи свои она читала со сцены чуть ли не впервые...

Хотя вообще я про Вадима Александровича, но как тут без неё...

Не говоря о том, что под таким почти незаметным влиянием начинаешь называть с большой буквы и Лошадь, и Столик, стоящий под боком, и Другое... И понимаешь, что детские стихи пишутся для

взрослых тоже – то есть для тех детей, которые уснули у взрослых в глубине души... но иногда просыпаются...

Многие годы у меня хранилась афиша с автографом В. А. Левина, а потом истрепалась и исчезла, но память продолжает настаивать и цитировать.

Ноябрь 1988-го, концерт в ДК Железнодорожников, фамилии большими фиолетовыми буквами: Владимир Васильев, Григорий Дикштейн, Вадим Левин, Марлена Рахлина, Борис Чичибабин, Фаина Шмеркина... И моя фамилия тоже. Большой концерт, каждый поэт выступал со «своим» бардом, и на память об этом событии В. А. отчеканил мне шариковой ручкой синего цвета:

*Я люблю тебя, Марина Меламед,
На тебе сошёлся клином белый свет.*

Потом смутился и попросил не принимать близко к сердцу, а песенки продолжать сочинять непременно, и обязательно – на его стихи...

Милый Вадим Александрович! За всё за это – за улыбающиеся глаза и Заглавные Буквы, за кучу песенок, которые выплеснулись из меня на Ваши стихи и по Вашему желанию, и просто – за негромкий голос, который хочется слушать и слушать... и любить людей, которые оказываются детьми... Спасибо Вам, что Вы есть, и дай Вам Бог быть и дальше, хотя и ближе...

Марина Меламед

* * *

*Один Вадим, один в один – представьте! – папа Карло,
при обработке буратин не применял лекало
и все торчащие носы, растущие нахально,
не подрезал он для красоты, а обучал дыханью.*

*Один Вадим, один в один брат Карлсона шустрый,
он то уроки проводил, кружа с детьми под люстрой,
то, вдруг ворвавшись из окна, шмелём наставив жало,
жужжжал на Муху, чтоб она старательней жужжала.*

*Один Вадим, один в один, напомним, Карло папа,
на днях итоги подводил начального этапа:
«За первых 80 лет... – и вдруг вздохнул негромко:
– Слонёнка не было и нет, а хочется слонёнка...»*

*Есть, буратины, мысль одна: несметны ведь, поди, мы!
Неужто, братцы, мы слона не купим для Вадима?
Чтоб дверь с петель лениво сняв, с улыбкой доброй глядя,
слон молвил: «Ты ведь звал меня? Я вот он, дядя Вадя!»*

Григорий Певзнер

Вадим Левин

НАБЛЮДЕНИЯ ШИМОХОДОМ

БИОГРАФИЧЕСКОЕ

Покой да благодать вредны поэтам:
они не пишут ничего при этом.
Зато когда им действуют на нервы,
они спокойно создают шедевры.

БОТАНИЧЕСКОЕ

Когда вас бьёт по голове дубина,
неважно — это клён или рябина.

ЗООЛОГИЧЕСКОЕ

Свинье бы вместо рыла жало —
она б ничуть не возражала.

АНАЛОГИЧЕСКОЕ

Мы осла называем ослом.
Не со зла.
И козлом не со зла
называем козла.

Просто многие
четвероногие
вызывают у нас
анalogии.

БОЖЕСТВЕННОЕ

Провидцу жить неинтересно,
дар ясновиденья — вериги.
Как скучно, если всё известно
и в жизни никакой интриги.
И если вдуматься — у Бога
жизнь исключительно убога.

ДУШЕВНОЕ

В Париже одна обезьяна
в минуты душевной тоски
Шопена на фортепиано
играла в четыре руки.

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ

Зачем Господь дал человеку разом
живую плоть, и разум, и маразм?

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ

Когда ты соврѣшь, а другой переверѣт –
выходит не ложь, а дурной перевод.

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ

Не искусство, а шукарство –
вместо водки пить лекарство.

АСТРОНОМО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

Научный факт, что солнце не без пятен,
вполне по-человечески понятен.

ХЕЛОМСКОЕ

– У бутерброда есть такой каприз:
Он любит падать только маслом вниз.
А у меня упал он маслом вверх.
Наверно, ребе, я счастливей всех?
Подумал ребе и сказал:
– Шлимазл!
Ты просто не ту сторону намазал.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ

А что предпочитают есть пираньи,
они не любят сообщать заранее.

Михаил Торелик

ПРИТЧИ О БЛУДНОМ СЫНЕ

Ваше благородие, госпожа чужбина...

У сюжета с ушедшим из дому, оказавшимся на чужбине и затем вернувшимся домой сыном большая история. И начинается она не с Иисуса. Дж. Фитцмайер в своем классическом комментарии сообщает, что «частичные параллели к этому сюжету были обнаружены в вавилонских и ханаанских текстах, равно как и в греческих папирусах»¹.

Вообще же, сюжет притчи о блудном сыне столь широко и многообразно представлен в мировой культуре, что идея посвящённой ему энциклопедии представляется перспективной и плодотворной. Всё дальнейшее можно рассматривать как ряд разрозненных набросков к этому фундаментальному труду. И богато иллюстрированному – притча о блудном сыне любима художниками: Босх, Дюрер, Рембрандт, вплоть до Гелия Коржева, герой его в джинсах и кроссовках – несть числа. Рассказ волнует воображение и побуждает к социально востребованной визуализации.

В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Хасидская притча

Сюжет с оказавшимся на чужбине и жаждущим возвращения сыном представлен в литературе талмудического круга. Через мидраши и каббалу он вошёл в разных редакциях в хасидский рассказ с присущим еврейским классическим текстам образным и символическим строем, всё это рассчитано на инсайдера, поддаётся внешнему пониманию только отчасти, требует комментария.

Первостепенное значение приобретают идеи галута (изгнания) и геулы (избавления).

В рассказе, точнее в рассказах, ибо эта история имеет несколько редакций, говорится о царе и царском сыне. В талмудическом и каббалистическом каталоге образов царь – это царь мира, Бог. Соответственно, созданный Богом по Его образу и подобию человек – царский сын.

Пожалуй, самый известный рассказ с этим сюжетом – «Царский сын и сын служанки» рабби Нахмана из Брацлава. В этом рассказе царский сын – аллегорическое представление божественной души. В рамках хасидской антропологии душа имеет сложную структуру, но базовое деление – это животная душа, курирующая телесную дея-

¹ Joseph A. Fitzmyer. The Gospel According to Luke. Anchor Bible Series. Garden City, N.Y.: Doubleday and Co., 1981, vol. 2, p. 1084. Благодарю Сергея Ружера (Еврейский университет в Иерусалиме) за эту ссылку, а также за эпистолярные обсуждения евангельских разделов.

тельность и связывающая человека с материальным миром, и божественная душа – образ Божий.

Коренное и принципиальное отличие хасидской фабулы от евангельской: уход сына от отца не доброволен, то есть совсем не то, чтобы по своей, по глупой воле пожить – отнюдь. Разлука с царём мотивируется в разных случаях двумя разными причинами.

Первая причина: царь сам помещает своего сына в чужой, испорченный мир. Сын должен научиться жить без отцовской помощи, сохраняя нравственные кондиции в мире, их не имеющем, стать полномочным представителем царя в мире, где и память о нём утрачена, поднять этот мир на более высокий уровень, найти дорогу домой.

Вторая причина: царский сын оказывается в чужом, далёком от отца месте случайно, в силу внешних обстоятельств. У Нахмана Брацлавского повитуха при рождении по рассеянности поменяла родившихся одновременно мальчиков: царский сын становится сыном служанки, сын служанки – царским сыном, со всеми вытекающими последствиями. Вариант «Принца и нищего». Задолго до «Принца и нищего». Но эта случайность вписана в провиденциальный план.

Попав в чужую страну, герой притчи, рассказанной рабби Нахманом, как и герой притчи, рассказанной Иисусом, «живёт распутно», но в отличие от персонажа Евангелия, царский сын пускается в разгул от отчаяния, чтобы заглушить тоску, ибо жизнь, которую он ведёт, не соприродна ему, бессмысленна, а другой он не знает. Рабби Нахман рисует долгий путь возвращения по мистическому лесу (символ галута).

Во всех вариантах сюжета задача сына – вернуться к отцу, вернуть себе утраченное достоинство и статус царского сына.

В одном из этих рассказов царский сын вместо того, чтобы поднять чужую страну на новый духовный уровень – задача, ради которой он был в эту страну помещён, становится одним из них, местным обывателем, забывает о своём царском происхождении и достоинстве, ничем не отличается от соседей, не видит смысла в возвращении, ему и здесь хорошо, связь с отцом становится формальной и условной, сводится ко всё более редким, ничего не значащим письмам.

Потерявший надежду отец сам пускается в путь, чтобы обнять сына. Приезжает в город, где тот живёт. Сын отца не встречает. Царю не воздают царских почестей, на него никто не обращает внимания. Метафора мира, утратившего не только веру, но и саму память о Боге. Только ночью царь находит дом сына. Стучит в дверь. Сын лёг спать, забыл о приезде отца. Кто там? Кого нелёгкая принесла? Это я, твой отец. Знаешь, приходи завтра: я сплю уже. Царь уезжает в печали. Потом начинается история возвращения.

Есть ещё рассказ о вернувшемся сыне, который одет так и вообще выглядит так, что никто никогда и не допустит его до царя. Отчаявшийся сын кричит из толпы нечто бессловесное – боль, отчаяние, призыв. По другой версии, сын забыл на чужбине родной язык² и не мог обратиться к отцу иначе как бессловесным криком. Такая притча

² Ср. у А. К. Толстого: *Там русский от русского края отвык. / Забыл свою веру, забыл свой язык.*

о шофаре: бараний рог, трубление перед Богом в *Рош а-шана*. Отец слышит крик, находит несчастного сына, обнимает, облачает в царские одежды, возвращает во дворец. Дворец – каббалистический символ, один из образов духовного мира.

Чужая сторона, разлука с отцом – важная часть педагогического (провиденциального) проекта царя. Сын остаётся один на один с испытаниями, он должен сам с ними справиться – отец не вмешивается, его как бы и нет совсем, а если и есть, то очень далеко. Пребывает (в терминах каббалы) в сокрытии. За исключением истории, когда отец сам отправляется к забывшему родную сторону сыну, но тот уже лёг спать.

В Зоар («Книге сияния»), базовой книге каббалы, рассматривается вопрос о злом начале в человеке, о его функции в мире. Притча о царе, заплатившем большие деньги проститутке, дабы она соблазнила царского сына. Сын должен устоять. Отец хочет, чтобы он устоял. Более того, проститутка, честно отработывающая свой хлеб, тоже хочет, чтобы он устоял. Мир, лежащий во зле, жаждет преображения. Восставая на добро, зло хочет быть побеждённым: ведь оно инструмент царя и бессознательно, а в этой истории и сознательно помнит об этом. Если сыну удастся преодолеть соблазн, он выйдет на новый духовный уровень. Невозможно подняться, не пройдя через испытания. Проститутка – воплощение злого начала. Функционально она выполняет роль чужбины.

Притча Агнона

В 1966 году Шмуэль Йосеф Агнон получил Нобелевскую премию за «глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами». Единственный Нобелевский лауреат, писавший на иврите. Сочинения оригинальные и странные, понимание неразрывно связано с породившей Агнона как автора хасидской культурой и требует комментариев.

Возвращение домой – важная экзистенциальная и литературная тема Агнона. В рассказе «К отчему дому» повествователь в мире, где явь растворена сном, пытается добраться до дома отца, он не был в городе своего детства много лет и теперь не может найти дом, отчаивается – и вдруг (финал):

Увидел я маленькую девочку. Указала мне малышка пальцем на дом и сказала: вот он. Хотел я спросить ее: откуда тебе известно, что я иду? Но тут раскрылись глаза мои, и увидел я отца с бокалом в руке, собирающегося произнести благословение над вином, но медлящего и выжидающего.³

Отчий дом рядом с заблудившимся на жизненных путях сыном, прямо перед ним, но то ли глаза не видят, то ли не узнаёт. То ли вообще не было, и вдруг душе настало пробуждение, явился из ниоткуда. Характерные для Агнона, он следует в этой точке за рабби Нахманом, метаморфозы пространства: был снаружи, «раскрылись глаза

³ Перевод Светланы Шенбрунн.

мои», оказался внутри. Блуждал и не мог найти, ибо глаза закрыты. Чтобы найти дом отца, надо открыть глаза: надо проснуться. «Раскрылись глаза мои» во сне ли, наяву – неизвестно.

«Медлящий и выжидающий» отец ждёт сына, о попытках которого добраться домой знать не мог. И всё равно ждёт и медлит.

События происходят в канун Песаха, праздника исхода из рабства, Египет – концентрированное выражение галута, чужбины.

Тема сна также связана с галутом и возвращением, прямая апелляция к псалму: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне» (Пс 125 (126):1). Пребывание блудного сына вдали от дома отца (и в притче Иисуса) – кошмарный сон.

В притче Иисуса возвращение не представляет проблемы – проблема в воле, в решении, по пути домой не случается ничего заслуживающего внимания, одного короткого предложения довольно: «Встал и пошел». «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец» (Лк 15:20). У рабби Нахмана и Агнона путь, важный элемент сюжета, труден и полон испытаний.

В 1924 году сгорел дом Агнона в Берлине, в огне погибли все рукописи, горят прекрасно – Аггон воспринял это как знак: «После того как сгорело всё моё достояние, даровал Всевышний мудрость сердцу моему, и вернулся я в Иерусалим» (из Нобелевской речи).

Рассказ впервые опубликован летом 1941 года. Еврейский мир Галиции был обречён.

«Госпожа и коробейник» – мистический триллер, одно из лучших сочинений Агнона. Еврей-коробейник заблудился на чужой стороне в дремучем лесу. Время и место действия не определены. С одной стороны, как бы Галиция конца XVIII века, с другой стороны – везде и всегда. Коробейник заходит в дом к странной женщине: заходит товар продать – застревает надолго. Начинает как работник, потом попадает к ней в постель, потом становится чуть ли не хозяином дома, последовательно отказываясь от еврейского образа жизни, как бы забывая себя, отчасти совпадая в этом пункте с героем притчи Иисуса. Отчасти – поскольку не бедствует, а преуспевает, правда, внешне и до поры до времени.

Возрастающая тревога и неуверенность заставляют коробейника предпринимать попытки выбраться из леса, но они неуспешны: заколдованный лес, коробейник блуждает по чаще и неизменно возвращается к дому госпожи.

В конце выясняется, что женщина убивала всех своих предыдущих мужей, выпивала их кровь, поедала их плоть – та же участь уготована и ему. Коробейник чудесным образом спасается: женщина случайно натывается на нож, который приготовила для убийства. Коробейник находит дорогу из леса. Теперь у него есть шанс вернуться домой.

В мистической историософии Агнона messiанизм соединён с сионизмом. Общий дом, общая постель – большой трагический роман заблудившегося на исторических путях еврея (Йосеф) с Европой (Елена).

Прекрасная Елена-Европа.

Сладко целовала ты – только не любила.

Или всё-таки любила?

По-своему.

Мотив христианства остро, в том числе и сюжетно, присутствует.

Естественно вспомнить о классическом церковном толковании притчи Иисуса, в котором персонажи предстают как сверхиндивидуальные религиозные образы: блудный сын – языческий мир, возвращающийся в христианстве к Отцу, старший сын – еврейство, не испытывающее от такого поворота событий никакого наслаждения.

Агнон написал «Госпожу и коробейника» в 1943 году в Палестине, под влиянием ужасных слухов, доходивших из Европы. Трагический образ катастрофы европейского еврейства. Конечно, в каком-то смысле он писал и о себе, мог бы и сам быть там, но он уже вышел из лесу, вернулся домой и теперь страстно желал спасения своим оставшимся в лесу братьям, был солидарен с ними, оплакивал их. Йосеф не только имя проданного в Египет – это второе самого Агнона: Шмуэль Йосеф Агнон. Писал, как если бы это был он сам. Война в разгаре, нацистская машина уничтожения перемалывает еврейские жизни. Финал новеллы – воплощение надежды, веры, любви Агнона.

В новелле Агнона нет ухода, причин его и мотивов, они остаются в контексте автора и читателя – нет и возвращения: есть предпосылки возвращения и надежда, что избежавший ужасной смерти в дремучем лесу Европы Йосеф найдёт дорогу домой.

Притча Шолом-Алейхема

Слово «притча» используется здесь, как и во многих других примерах сюжета с блудным сыном, условно. Собственно, и у Агнона, строго говоря, не притча, а парабола. Что касается Шолом-Алейхема, то непрерывный монолог его Тевье может показаться простодушным и безыскусным рассказом о семейных и деревенских событиях, ни на что большее не претендующим, в нём нет ни разных уровней, ни подтекста, он равен самому себе. Если в отношении рассказов рабби Нахмана и Агнона возникают вопросы: что бы это могло значить? как это понимать? – то здесь таким вопросам нет места.

Однако «Тевье-молочник» (1914) сложнее, чем представляется на первый взгляд. Монолог героя пронизан цитатами и аллюзиями на Танах, Талмуд, мидраши, сидур, создающими своего рода материнскую среду для событий, которые происходят здесь и сейчас. Самое мелкое событие в романе ставится таким образом в большой культурный контекст. Истории дочерей Тевье, сохраняя природу частных житейских историй, становятся, по существу, моделями возможных исторических путей русского еврейства: сохранение местечкового статус-кво, уход в революцию, эмиграция в Америку, уход в русский мир.

Палестина на обочине романа тоже возникает, это нереализованная возможность самого героя, но она лишена внятности и яркости, с которой описаны иные пути. Это несмотря на то, что Шолом-Алейхем в юности был членом «Ховевей Цион», а в 1907-м участвовал в VIII Сионистском конгрессе в Гааге. Но для Тевье Палестина не великий национальный проект будущего, а проект прошлого, тради-

ционный проект: последняя станция стариков, место молитв и упокоения.

Среди историй дочерей Тевье история Хавы самая сложная, хотя и здесь как будто ничего особо сложного нет: она принимает православие, порывает с домом и уходит в русский мир – в конце романа она возвращается «к своему отцу и своему Богу». Всё, кажется, ясно. Однако в понимании случившегося и в его оценке возникает контрапункт.

Тевье и деревенский священник понимают идентично: Хава уходит из еврейского мира в мир православный. Для одного это трагедия, для другого – торжество.

Но сама Хава православием вовсе не озабочена: она хочет выйти замуж за украинского парня, и крещение не более чем формальная процедура для достижения этой цели. Никак не затрагивающая её душу. Её избранник в религиозных переживаниях не замечен. Федьку занимают иные материи. Хава пленяется не только неотразимым парубком, но и его идеями. На самом деле Федька – заместитель Горького, в сущности, Хава влюблена в Горького, носит его фотографию на груди и выходит замуж именно за него: автор сосватал.

Шолом-Алейхема связывали с реб Горьким дружеские узы, и видно, что он, понимая чувства Тевье, всё-таки смотрит на дело много снисходительней и, пользуясь авторскими привилегиями, пытается внушить ему своё отношение.

Если герой евангельской притчи уходит из дома, посвистывая, к новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист, то Хава – со слезами, с тяжёлым сердцем, предпринимает отчаянные и безуспешные попытки уйти и в то же время остаться.

Тот же контраст и в возвращении.

Персонаж рассказа Иисуса возвращается с повинной головой, дойдя до последней точки падения, в том числе и материального. Возвращаясь, он меняет статус нищего на статус богатого, статус раба на статус свободного.

Не то Хава. Мы не знаем, как она жила вне родительского дома. Знаем, что душевно страдала. Можно предположить, что жила в скромном достатке, не уступающем, надо полагать, уровню её прежней жизни. Она возвращается даже не в разорённый дом – в дом, которого нет. Присоединяется к изгнанникам. Добровольно избирает бедность, незащищённость, неизвестность. В материальном и социальном отношении она не выигрывает, а сокрушительно проигрывает. Возвращается не с повинной, а с гордо поднятой головой.

«К своему отцу и своему Богу», но заметьте, это ведь говорит не Хава и не автор – так понимает Тевье, персонажное мнение. К отцу – определённо да. К Богу? Из общего контекста – скорее нет. Но тоже неопределённо. Всё-таки мы, читатели, только отчасти знаем, что происходит в горделиво поднятой голове Хавы, в её страдающем сердце. Можем только предполагать. Эта неопределённость важна для художественного мира романа.

Стоит упомянуть здесь такие художественные интерпретации романа, как «Поминальную молитву» Захарова–Горина (1989) и «Изы-

ди» Астрахана–Данилова (1991). В обоих случаях сюжет претерпевает метаморфозы, в обоих случаях художественный мир романа упрощается, приспосабливается к взглядам и вкусам референтной группы, особенно в истории Хавы. Люди элитарной интеллигентной тусовки России заметно уступают в сложности Шолом-Алейхему.

В ЕВАНГЕЛИИ И ЦЕРКВИ

Притча Иисуса

Притча о блудном сыне – шедевр лапидарной евангельской новеллистики, один из самых популярных текстов в мировой литературе.

Всем известен.

Тем не менее я его, структурировав по эпизодам, процитирую – благо он невелик. И здесь, и далее, если прямо не указано иное, цитируется Синодальный перевод.

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, и пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! Ты

всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк.15,11–32).

Притча, рассказанная Иисусом, кажется инвариантной, с лёгкостью переносится в любой хронотоп, в разные культурные миры, с лёгкостью впитывает новые смыслы, при поверхностном понимании кажется даже лишённой собственного контекста. Между тем притча встроена в контекст предшествующего бытования сюжета, в культурно-исторический хронотоп рассказа (или уж скорее записи) и в непосредственный литературный контекст Евангелия от Луки, а также в ряд других контекстов.

История выделения части наследства, более широко – механизм наследования, нуждается в комментарии историка.

Дальность «дальней стороны» измеряется если и километрами, то в третью очередь. Дальняя – культурно: порвав с отцом, сын порывает с еврейским миром и с еврейским образом жизни. В тогдашней Палестине для этого особенно далеко ехать не требовалось.

Образ чужбины «еврейски окрашен, отражает народное восприятие со всеми его предрассудками: чужая земля чужого этноса представляется как место, где женщины – проститутки, а экономика базируется на выращивании свиней»⁴.

Жизнь со свиньями можно понять как метафору: теряет на чужбине еврейский облик, становится одним из них, живя по-свински, сам в конечном итоге уподобляется свинье.

Бесстыдные и корыстолюбивые дамы представляются не менее очевидными, чем свиньи, хотя о свиньях сказано, о дамах – нет. В тексте «распутно» – без явного указания, в чём именно распутство заключается. Да в чём же ещё? Если, конечно, не предположить забав с мальчиками. Языческий мир, где прожигал жизнь пустившийся во все тяжкие блудный сын, такие опции предоставлял – во всяком случае об этом с большой горячностью свидетельствует апостол Павел (Рим 1:22–27) – надо полагать, образ чужбины у него тоже «еврейски окрашен».

Однако же не следует забывать, что «распутно» – это Синодальный перевод, и как раз в этом пункте с оригиналом он не вполне совпадает. В оригинале «асотос» – буквально: «неспасительно». В евангельском контексте и, соответственно, в контексте притчи это значит не соблюдал заповеди, жил во грехе, а грехи, как известно, бывают не только сексуальные и вообще относятся не только к нравственной сфере, но ко всему корпусу еврейского религиозного законодательства. Иисус обращается в своей притче к фарисеям (см. ниже «Притча Луки»), для которых «неспасительно» могло иметь именно и только такой смысл.

В переводе Валентины Кузнецовой: «Ведя беспутную жизнь, промотал всё»⁵ (Лк. 15:13). Жил беспутно, то есть непутёво, неправильно, глупо, по-дурачки. «Безнравственно» тоже, наверно, присутствует, но уж никак не на первой позиции.

⁴ Из письма Сергея Рузера.

⁵ Радостная весть. Новый завет в переводе с древнегреческого. Российское библейское общество. М. 2003.

Надо полагать, авторы Синодального перевода отдавали себе отчёт, что выбранный ими русский эквивалент не вполне соответствует греческому оригиналу, но они переводили с концептуальной оглядкой на церковнославянский текст, а там «блудно». Однако же семантическое поле этого церковнославянского слова шире, чем слова «распутно»: в нём присутствует неверность Богу – церковнославянский словарь⁶ демонстрирует ряд соответствующих однокоренных слов. Да ведь и в современном русском языке «заблуждение» и «заблудиться» тоже растут на этом кусте и никаких сексуальных коннотаций не имеют.

Однако в рассказе о блудном сыне приводится мнение, что очарованный странник вёл себя «неспасительно» всё-таки в женской компании. Мнение это высказывает старший сын: для него очевидно, что брат расточил «имение свое с блудницами» (Лк 15:30), или, как энергично переводит Валентина Кузнецова, «проел всё твоё имущество со шлюхами»⁷.

Может быть, старший брат хорошо представлял себе характер и интересы младшего.

Может, хотел дополнительно скомпрометировать вернувшегося и тем самым повлиять на столь задевшего его своим великодушием отца.

Может, «дальняя сторона» была не столь уж далека, а слухами земля полнится.

Может, не зная ничего определённо, высказал предположение, как естественнее всего распорядиться на свободе «имением».

Контекст рассказа делает каждое из этих предположений релевантным.

Вот словарная статья «Блудный сын» из церковнославянского словаря⁸ (не только филологическая, но и экзегетическая): «Блудный сын – грешник, нежелающий подчиняться спасительной вере и закону, предающийся воле страстей, которые губят его».

Первая часть этого определения соответствует нарративу Ииуса («неспасительно»), вторая – мнению старшего сына (с девками прокутил).

Важно, что мнение о шлюхах не авторское, а персонажное, оно не в меньшей степени характеризует высказавшего его. Иисус приводит это мнение, не комментируя. Определение Иисуса – обобщённо принципиальное, определение старшего сына – частное.

Притчу о блудном сыне естественно понять так, что именно неспасительный образ жизни (требование раздела имения, уход из отчего дома, чужая сторона – составные части этого образа) с необходимостью приводит младшего сына к материальному краху, а материальный крах, в свою очередь, – к страданию и смене вех.

А спасительный образ жизни – раскаяние и возвращение в родительский дом – приводит к полному восстановлению утраченного материального и социального статуса. Символически это представлено облачением в праздничную одежду (был в рубище), надеванием

⁶ Полный церковнославянский словарь. Протоиерей Г. Дьяченко. Издательский отдел Московского патриархата. М. 1993. Репринт издания 1900 года.

⁷ См. примечание 5.

⁸ См. примечание 6.

обуви (был бос) и получением перстня (не только украшение, но и символ власти) (Лк 15:22).

Простая мораль: живёшь праведно – всё с тобой хорошо, живёшь во грехе – ешь со свиньями, раскаешься – обретёшь утраченное во грехе.

Между тем, вопреки этой морали, живя «неспасительно», вполне можно в этом мире преуспеть, и ещё как преуспеть. Вот, скажем, богач в притче о богаче и Лазаре (Лк 16:19–31) жил «неспасительно» и, соответственно, посмертного спасения не удостоился, но в годы земной своей жизни вполне себе процветал.

Вариант несправедливого успеха вдали от отца, на чужбине, в притче не рассматривается: притча посвящена исключительно раскаивающимся грешникам (Лк 15:7,10), тем, кто «был мертв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лк 15:32).

Помимо метафорического смысла – религиозной драмы греха, покаяния и прощения – в рассказе Иисуса есть непосредственный житейский уровень, обыкновенная семейная история, повторяющаяся из века в век, трогающая сердца нынешних читателей так же, как трогала она сердца первых слушателей.

Притча Луки

Непосредственный литературный контекст Евангелия от Луки представляет собой корпус из трёх следующих друг за другом притч, связанных единой темой и по ходу дела комментируемых Иисусом. Во всех трёх притчах речь идёт о пропаже, её поиске и радости обретения. Первая притча о потерянной овце, вторая – о потерянной драхме, третья – о потерянном сыне.

Этому блоку предшествует краткая преамбула:

«Приближались к Нему все мытари и грешники – слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу<...>» (Лк 1:3)

И далее три притчи.

Из преамбулы с очевидностью следует, что притчи адресованы фарисеям и книжникам. Иисус отвечает на их «ропот» (недоумения и возражения), объясняет своё поведение, вызвавшее их критику. После этого блока из трёх притч происходит смена адресата: «Сказал же и к ученикам Своим» (Лк 16:1), то есть раньше обращался к одним, теперь – к другим. Для фарисеев дистанцирование от грешников – нечто само собой разумеющееся. Пирке Авот: «Отдались от дурного соседа, не связывайся с нечестивым» (1:7). Своего рода нравственная профилактика. Общение с грешниками опасно, даже если человек сам не совершает ничего предосудительного. В одном мидраше приводится пример: придя в мастерскую по выделке кож, вы можете ничего не купить, но запахом пропитаетесь.

Недоумение фарисеев связано с тем, что Иисус, как бы разделяющий их нравственные установки, ведёт себя вопреки им. Если бы, по мнению фарисеев, установки не совпадали, то и недоумения не было бы. Насколько эта позиция фарисеев была общепринята, свидетельствует тот же Лука: когда Иисус высказывает намерение посетить патен-

тованного негодяя, «все... начали роптать» (Лк 19:7) – «все», то есть не только фарисеи, но и беспартийный народ, и ученики, надо полагать.

Преамбула с указанием адреса и единство притч важны для понимания смысла в непосредственном контексте. Главный герой всех трёх притч – спасающий потерянное. Это полемическое назидание фарисеям и книжникам: вы нос от грешников воротите, а на небесах радость об их спасении (Лк 15:7,10). Старший сын – образ фарисея, не заинтересованного в возвращении брата, не радующегося его спасению. Ангелы радуются, он – нет. Модель неправильного поведения.

Отношение к фарисеям здесь амбивалентно: с одной стороны, полемическое, с другой стороны, Иисус не ставит под сомнение их праведность: ведь она необходимое условие реализации предлагаемого проекта отношения к грешникам. Высшая точка признания праведности фарисеев – беспрецедентные в Евангелии слова отца старшему сыну: «Ты всегда со мной, и всё моё твоё» (Лк 15:31).

Классическая христианская экзегеза рассматривает младшего сына как образ вернувшегося к Богу через Христа языческого мира, старшего – как образ еврейского мира, не принявшего возвращения. В контексте Луки такое понимание нерелевантно, поскольку здесь действуют евреи внутри еврейского мира, речь идёт о еврейских проблемах и еврейских смыслах.

Притча Церкви

Обыкновенно неспециализированный читатель воспринимает евангельские притчи внеконтекстуально – на самом деле, в своём собственном или предложенном со стороны контексте. Впрочем, почему же только неспециализированный? Для определённого типа экзегезы как раз характерно изъятие из непосредственного контекста и конструирование нового контекста как инструмента, выявляющего новые смыслы.

При рассмотрении притчи о блудном сыне вне контекста, предложенного Лукой, меняются акценты: в частности, главным героем оказывается в таком случае не отец, а младший сын.

Не следует забывать, что и название «Притча о блудном сыне» само по себе не нейтрально, но остро интерпретационно. Важный пример конструирования нового контекста – включение притчи о блудном сыне в православный литургический календарный цикл. Предшествующие Великому посту три недели носят названия «Неделя о мытаре и фарисее», «Неделя о блудном сыне», «Неделя о Страшном суде». В эти подготовительные к Великому посту недели читаются соответствующие названиям евангельские тексты, их темы звучат также в песнопениях и чтениях всенощной. Молящиеся уподобляют себя блудному сыну в его грехе, покаянии и возвращении, отождествляют себя с ним.

Вот типичный пример покаянной средневековой риторики, не ставшей музейным артефактом и сохраняющей живую жизнь в богослужении Русской православной церкви. Фрагмент великой вечерни «Недели о блудном сыне» (с сохранением синтаксических особенностей):

*«Яко блудный сын приидох и аз Щедре, житие все издивый⁹ во отшествии. Расточих богатство, еже дал еси мне Отче; прими мя кающаяся Боже и помилуй мя».*¹⁰

Очевидно, что в таком контексте акценты смысла меняются. Из евангельского назидания праведникам (пусть и несовершенным) притча превращается в назидание грешникам, в образ их покаяния. В том же духе интерпретирует притчу и митрополит Антоний Сурожский. Вот начало его слова в «Неделю о блудном сыне», кратко и точно выражающего смысл притчи в церковной ограде:

*«Эта притча <...> лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во Христе; в ней человек изображен в тот самый момент, когда он отворачивается от Бога и оставляет Его, чтобы следовать собственным путем в "землю чуждую", где надеется найти полноту, преизбыток жизни. Притча также описывает и медленное начало, и победоносное завершение пути обратно в отчий дом, когда он, в сокрушении сердца, избирает послушание. Прежде всего, это вовсе не притча об отдельном грехе. В ней раскрывается сама природа греха во всей его разрушительной силе».*¹¹

Новый контекст конструируется и в визуальной презентации притчи в интерьере православного храма.

Примеров множество. Вот знаменитая московская церковь Троицы в Никинках (роспись XVII века). Четвёртый (нижний) ярус росписи западной стены посвящён трём притчам: о богаче и бедном Лазаре, о разумных и неразумных девах, о блудном сыне. Три притчи, как у Луки, но только выбраны они из разных мест Евангелия, адресованы в Евангелии разным слушателям в разных обстоятельствах и, соответственно, принцип их объединения совершенно иной.

Для сравнения: в церкви Вознесения в Ростове (роспись XVIII века) изображение притчи о блудном сыне располагается на северной стене в обрамлении притч о неимущем одеяния брачна и о сучке в глазу брата.¹² В таком обрамлении образы получают новые коннотации, в особенности это касается старшего брата.

Я упоминаю о географии стен, поскольку, хотя и не существует обязательного канона, но есть тенденция и традиция. Стороны света семантически значимы и сами по себе контекстны. Один и тот же сюжет на разных стенах не вполне равен самому себе. Западная стена, в частности, ассоциируется со Страшным судом.

Евангельский текст рассматривается как состоящий из относительно независимых модулей, из которых по определённым правилам можно собирать разные композиции.

⁹ Издивый (церк.-слав.) – изживший, израсходовавший, расточивший, истративший, растративший. Очень близко к prodigal – англоязычному именованию блудного сына.

¹⁰ Богослужения триоди постной. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. М. 2002. С. 33.

¹¹ <http://www.pravoslavie.ru/put/2108.htm>

¹² Т. Л. Никитина. Евангельский цикл в стенописи церкви Вознесения в Ростове. <http://rostmuseum.ru/publication/historyCulture/1995/nikitina01.html>

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Притча Агаты Кристи

Возвращение блудного сына, картина художника Репина «Не ждали» – подарок для автора, пишущего детективы. Агата Кристи сполна и многообразно этим подарком воспользовалась. Наиболее яркий, пожалуй, пример – «Убийство под Рождество» (1939), самый кровавый её роман, хотите крови от тихой женщины, вот вам, пожалуйста, я тоже могу, с избытком, ведрами, расстаралась, кровь-строительница хлещет, ни у кого столько нет – так в предварении и написала (со скромной гордостью).

Взрывает сюжет притчи смена масок, отец – не милосердный отец небесный, а старый негодяй. Дом отца – образ не рая, а ада. Дети размножены: двое старших (домашних) сыновей, четверо младших (блудных).

Один из блудных – рефлектирующий, совестливый – не может жить под одной крышей с чудовищем.

Второй никакого наследства не получил, не тот папаша, вот так прям взял бы для удовольствия сына, мерзавца и мота, да и расстался с частью имения, дождётся от него – пришлось подделать родительскую подпись, прихватив денег, бежать из дому. Этот малый, чтобы мимо недогадливого читателя не пролетело, пару раз на притчу прямо ссылается: я, дескать, и есть блудный сын. Поощряемый автором, устанавливает связь с интертекстом, дающим роману культурный объём. В дом, который не имеет в его глазах ни теплоты, ни обаяния, его привело не раскаяние. Ни малейшего сантимента к отцу и дому детства. Скряга и «старый греховодник» позвал – ну так он и приехал: глядишь, что-нибудь да обломится. И вообще не для того, чтобы остаться. Вот его разговор со слугой:

– Как поживает мой старший братец Альфред, Трессилиан?

– Очень хорошо, сэр.

Гарри ухмыльнулся:

– Жаждет увидеть меня, а?

– Надеюсь, сэр.

– А я не надеюсь, совсем наоборот. Держу пари, моё возвращение – ему нож острый в сердце! Мы никогда не любили друг друга. Ты по-прежнему читаешь свою Библию, Трессилиан?

– Да, сэр, иногда, сэр.

– Ну-ка вспомни притчу о блудном сыне. Помнишь, как расстроился старший брат, когда узнал о его возвращении <...>

Трессилиан промолчал, опустив глаза. Его сгорбленная спина выражала несогласие. Гарри положил ему ладонь на плечо:

– Ну, веди меня, старина, – сказал он. – Упитанный телец ожидает меня. Веди меня прямо к нему.

Старший брат таки расстроился, и даже весьма расстроился: роман следует в этой точке евангельской истории.

Гарри откровенно глумится над притчей и её моралью. Трессилиан как единственный в этой компании читатель и хранитель библейского текста должен бы согласиться: старший сын, да, не рад – так уж ему по

притче положено. Но он не хочет с этим смириться – он хочет семейного мира и общей семейной любви, чего притча отнюдь не обещает.

Единственный в романе держатель религиозных акций, старый Трессилиан читает Библию «иногда». Расхождение священной книги с жизнью не бросает вызов его сознанию, Библия и реальная жизнь как бы существуют сами по себе, не пересекаясь, глумливая провокация молодого циника, разыгрывающего это несовпадение, не удаётся.

Блудные сыны номер три и четыре – пока пружинка работала, похотливый папаша не пропускал ни одну юбку, на стороне родились, прижиты по случаю, незнамо как и тут же позабыты, явились незваные на семейный пир, неожиданные, инкогнито, так сказать, в отчий дом, который никогда не был для них отчим. Всё равно – хоть и символическое, но возвращение. Да, ещё блудная дочь, бежала из дому с каким-то тёмным заезжим авантюристом, умерла на чужбине, представлена на рождественском собрании блудной внучкой – как выясняется, мнимой.

На сюжет наложены ещё «Братья Карамазовы», Агата Кристи определённо держала русский роман под левым локтём. Являются приглашённые Достоевским Фрейд с Эдипом. Любимая Достоевским атмосфера скандала. Папаша – упрощённый вариант Фёдора Павловича, и правильно, что упрощённый, классический детектив большой тяжести не выносит. Совесть блудный сын – типологический Алёша, диалог о покойнице-маме перенесён из «Карамазовых» близко к тексту. Трое других блудных – клоны Мити. Иван Агату Кристи не занимает: мысль разрешать – не по её части.

К этому сложному блюду добавляются ещё специи из «Макбета»: «Но кто бы подумал, что в старике столько крови» – и «Мельницы Господа Бога мелют медленно, но размалывают всё до конца» – это уже «Возмездие» Фридриха фон Логау, XVII век, для читателей с нетривиальным культурным бэкграундом. Само собой, анонсированное в заглавии Рождество, и на земле мир, и в человецех благоволение, бросает тень (или, напротив, проливает свет) на семейный праздник: зарезали не упитанного тельца, а папашу.

У Агаты Кристи притча не более чем культурная форма, лишённая религиозного содержания, идеально подходящая для большой детективной игры. Для игры. Никто не принимает её близко к сердцу.

Притча Андерсена

В истории блудного Кая отец отсутствует, то есть теоретически он есть, но гуляет где-то за границами сюжета. Роль отца играет дом – образ: Кай его покидает, обменяв «Отче наш» на таблицу умножения, – домой он и возвращается в полном соответствии с сюжетом притчи.

Кай покидает дом как бы и по собственной воле, но эта воля поражена мистической болезнью (осколки зеркала тролля), за которую Кай ответственности не несёт: болезнь отчуждает его от самого себя. Собственно, ещё до того, как Кай, подобно источенному червем плоду, упал с райского дерева в корзину Снежной королевы, физически находясь ещё дома, он уже покинул дом, стал блудным сыном, не переступив порог.

В отличие от страдающих на чужбине братьев по притче, он прекрасно себя чувствует, в полном порядке, не со свиньями, не в болоте, чертоги Снежной королевы – лучшее место на свете, во всяком случае для него, уж никак не чета убогому и заслуживающему лишь насмешки домику детства, который он перерос и из которого ушёл, как ему кажется, навсегда.

В истории, рассказанной Андерсеном, нет медленного, вызванного страданием изменения сознания – оно происходит моментально. Слёзы Герды исцеляют Кая от роковой болезни, морок развеивается, и, симметрично уходу, Кай оказывается внутренне дома, не сделав ещё ни шагу в его сторону.

Притча Андерсена расходится с притчей Иисуса в принципиальном пункте. Евангельский рассказ о блудном сыне предполагает свободу воли и связанную с ней личную ответственность – как в предпочтении греха, так и в покаянии. Кай, как он описан в этой истории, невменяем: не субъект действия, как евангельский персонаж, – объект внешних сил. Осколки тролля попадают в глаз и сердце случайно, хороший мальчик, ничем не заслужил, ни в чём не виноват, ни малейшей предрасположенности, своего согласия не давал. Точно так же и возвращение домой – плод не размышлений и страданий, а любви Герды и мистической силы её слёз. Он её не просил.

Типологически герой Андерсена скорее уж соответствует не блудному сыну, а овце и монете.

Притча Рильке

Вот подстрочник стихотворения «Блудный сын»¹³ (1906). Стихотворение изысканное по форме, чего подстрочник по самой природе своей отразить не может.

*Так вот, уйти от всего этого запутанного,
что является нашим и всё же нам не принадлежит,
что, как вода в старинных источниках,
отражает нас дрожа и разрушает образ;
от всего этого, что, как колючками,
всё снова цепляется к нам – уйти
и то, и тех,
которых уже больше не замечал
(настолько стали повседневны, настолько привычны),
вдруг рассмотреть: нежно, примирительно
и как будто при начале чего-то и вплотную;
и, смутно ощутив, осознать, каким безличным,
каким всеобщим было страдание,
которым до краёв было наполнено детство –
и затем всё-таки уйти, рука из руки,
как будто заново раздирая зажившее,*

¹³ Подстрочный перевод Владимира Авербуха (Силезский университет, Опава, Чехия). Комментарий к Рильке вырос из наших совместных обсуждений с автором подстрочника.

*и уйти: куда? В неизвестность,
далеко в глубь непохожего жаркого края,
который позади всех действий будет
безучастен, как кулиса: сад или стена;
и уйти: почему? Потому что порыв, потому что характер,
потому что нетерпение, потому что неясная надежда,
потому что непонимаемость и непонимание:*

*Всё это взять на себя и напрасно,
быть может, выпустить из рук то, что держал, чтобы
умереть в одиночестве, не зная почему –*

Это вход в новую жизнь?

Стихотворение Рильке написано в июне 1906 года. В мае произошёл мучительный разрыв с Роденом («отцом»), Рильке жил в имении скульптора в Мёдоне на правах полусекретаря-полуродственника. Рильке ушёл не сам – Роден его оскорбительно выставил из дому. Стихотворение (помимо всего прочего) – мучительная рефлексия на вынужденный уход.

Без названия обнаружить связь с притчей, рассказанной Иисусом, едва ли возможно. Название сообщает тексту ещё одно измерение..

В Евангелии Иисус рассказывает о блудном сыне – в стихотворении Рильке блудный сын сам рассказывает о себе.

В Евангелии рассказывается история ухода – у Рильке нет не только истории, но и самого ухода: есть только рефлексия об уходе. Но это проживание в воображении столь убедительно, что как бы осуществляется на наших глазах.

В Евангелии уход – трагическая ошибка. Сын оказывается потерянным не только для отца, но и для самого себя. Возвращение – возвращение и к самому себе, новое обретение себя. У Рильке уход – возможность обрести себя. Остаться – значит потерять себя, совершить трагическую ошибку. Возвращение не только бессмысленно – по существу, оно невозможно.

Правда, герой парного «Блудному сыну» стихотворения «Чужой» (1907), равно как и персонаж романа «Записки Мальте Лауридса Бриге» (1910), всё-таки возвращаются, но их возвращение лишь физическое, духовно они ушли навсегда, их возвращение как невозвращение. И потом – они всё равно вновь уходят.

История блудного сына завершает роман Рильке, что придаёт ей дополнительный вес. Вот её начало:

Меня трудно уверить, что история Блудного сына – не повесть о ком-то, кто не хотел быть любимым. Когда он был ребёнком, все в доме любили его. Так он рос и не знал иного, и привык к их нежности, когда был ребёнком.

Но подростком он решил всё переменить <...>¹⁴

Переменить – уйти из дома, чтобы уйти от любви.

¹⁴ Перевод Елены Суриц.

Здесь прямо назван парадоксальный мотив ухода, присутствующий в стихотворении только имплицитно.

Евангельский текст не даёт ни малейших оснований для такого понимания, даже тени нет. Рильке не только вливает в готовую культурную форму собственное содержание, но и модифицирует саму форму.

Важная вариация темы блудного сына – в стихотворении «Адам» (1908): в отличие от библейского рассказа, Адам добровольно, несмотря на угрозы Бога (отца), покидает рай (дом) – и готов заплатить за свой выбор жизнью. Блудный сын из стихотворения рассматривает смерть на чужбине как возможность, рильковский Адам – как неизбежность.

Цена предельно высока.

Уход того стоит.

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Начать следовало бы уж по крайней мере с комедии «О блудном сыне» Симеона Полоцкого (XVII век), упоминая об этом для будущей энциклопедии, но мы приступим сразу к Пушкину.

Притча Пушкина – Гершензона

Вроде как Баха – Бузони, Паганини – Листа или Бизе – Щедрина.

Гершензон – проницательный и конгениальный читатель.

Эссе о «Станционном смотрителе» (1919) – образец пристального, полного эмпатии чтения и последующего анализа, делающего имплицитное эксплицитным. И в то же время диалог с автором. Всё-таки диалог, а не унисонное пение. Больше, чем просто приложение к тексту. Равноправный собеседник. Пушкин, кажется, этим разговором вполне доволен: одобрительно кивает и улыбается.

Гершензон ставит в центр сюжета притчу о блудном сыне в картинках – картинки (наряду с горшками с бальзамином) украшают смиренную и опрятную обитель смотрителя.

Далее текст Пушкина – про картинки:

Они изображали историю блудного сына: в первой – почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женищинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу: в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу; блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи.

Далее комментарий Гершензона.

Жаль только фрагментами, ей-ей, процитировал бы без изъятья, с превеликим удовольствием – формат не позволяет:

Содержанием этих картин Пушкин формулирует – в нарочито сочном, немецки-филистерском виде – одно из положений ходячей мысли; и этому благочестивому обману он в своем рассказе противопоставляет живую правду <...>

А погиб смотритель не от существенной напасти; важно то, что погиб он из-за тех немецких картинок. Так, как в этих картинках рассказана история блудного сына, – так верит смотритель, и потому, что он верит именно так, ему уже все вещи видятся в неверном свете. Дуня, бежав с Минским, вышла на путь своего счастья; Минский действительно любит ее, и она – его, они венчаются¹⁵, она счастлива, богата, все пошло как нельзя лучше: если бы ложная идея не застилала глаза смотрителю, он постарался бы с самого начала узнать о намерениях Минского и тотчас успокоился бы, и все было бы по-хорошему: он был бы счастлив счастьем Дуни. Но он не хочет, не может видеть вещи такими, каковы они есть. Кажется, как было не поверить, когда Минский, разысканный им в Петербурге, искренне сказал ему: «Не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово»? как было не поверить, когда, ворвавшись в квартиру Минского, он увидел: «В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы»? Но смотритель непоколебимо убежден, что в немецких картинках изображена универсальная истина, что офицер, сманивший Дуню, несомненно, поиграет ею и бросит, – и потому он не видит вещей, впадает в отчаяние и стивается. <...>

Станционного смотрителя сгубила ходячая мораль; сама призрак, ничто, она совершенно реально высасывает кровь из людей; ее тирания – вот мысль, выраженная Пушкиным в «Станционном смотрителе». Этот рассказ не формальная пародия, как «Граф Нулин»: здесь самый оригинал (опошленная людьми евангельская притча) является в психике действующего лица той силой, которая искажает действительность.

Понимание Гершензоном картинок как сюжетного ключа представляется безукоризненным, оценка его единственно возможной не представляется.

Ходячая мораль, немецки-филистерский вид, ложная идея – всё это относится к картинкам и полностью соответствующему им примитивному сознанию героя. Немецкие картинки – «опошленная людьми евангельская притча». Так это видит Гершензон. «Филистерский» – слово, популярное сто лет назад, любимое Лениным, сегодня, кажется, требующее уже и словаря.

Позволительно спросить: чем, собственно, евангельская притча опошлена? Картинки нехороши? Эстетическому вкусу Гершензона не отвечают? Однако же содержательно евангельскому тексту вполне соответствуют.

¹⁵ Для Гершензона это очевидно – между тем в повести об этом не сказано.

«Смотритель непоколебимо убежден, что в немецких картинках изображена универсальная истина» – да как же иначе: ведь они визуализируют святое Евангелие, а герой повести, в отличие от Гершензона, относится к евангельской притче не как к литературе, пусть и почитаемой, а как к истине в последней инстанции – как к партитуре, написанной свыше и обязательной для исполнения.

Гершензон пишет: «А погиб смотритель не от существенной напасти; важно то, что погиб он из-за тех немецких картинок» – просто потому, что не хватило у Гершензона смелости сказать: смотрителя сгубила притча, рассказанная Иисусом. Да и что считать существенной напастью? Картина мира рушится – это существенная напасть или не существенная?

Скромный чиновник оказывается трагическим персонажем, мучеником веры, мучеником идеи. Сам он, понятно, не в состоянии это отрефлексировать, простой человек, не мыслитель, но что это меняет?

Судьба посылает ему случайный и, как выясняется, напрасный дар, выпасть который может чиновнику четырнадцатого класса раз в тысячу лет, а то и реже, точно реже, мечтать невозможно, журавль в руки залетел – герой сей билет без малейших колебаний возвращает. Хочет остаться с Господом Иисусом Христом – автором партитуры, а таблицу умножения с подлым Бернаром решительно отвергает, очевидные прагматические выгоды отвергает, отказывается пить чай, когда рушатся небеса, не может и не хочет смириться. Про неправду писано? Нет, писано-то как раз про правду – про неправду сыграно. Жизнью готов пожертвовать – в конце концов и жертвует. Несчастливая жертва когнитивного диссонанса.

Гершензон считает, что Евангелие опошлено.

Между тем герой погибает от того, что оно не совпадает с жизнью.

А коли в этой точке не совпадает – значит, всё под вопросом, счастье дочери, коли оно не соответствует евангельскому сценарию, не стоит медной монеты. Мир, где Минский бросил бы доверившуюся ему несчастную Дуню, смотритель готов принять, потому что такой мир соответствует небесному эйдосу, а со счастливой Дуней – нет, не готов, потому что не соответствует. Остаётся только прибегнуть к универсальному русскому средству – водке.

В конце концов блудная дочь всё-таки возвращается, но только не со сломанной, как ей положено, а с высшей степени удавшейся жизнью, не в позоре и поругании, а в триумфе: в карете с барчатами – и отец, в отличие от своего евангельского прародителя, не может (и не хочет) её обнять и простить, ибо жизненный успех её этому читателю Евангелия отвратителен; переселившись с вечным укором на смиренное кладбище, отец внятно говорит: нет! нет тебе прощения! – ни в сем веке, ни в будущем!

Пушкин предлагает альтернативный вариант развития сюжета, прямо сталкивая его с евангельским. Жертвою столкновения со смертельным исходом становится случайный прохожий Самсон Вырин.

Значит ли это, что Гершензон неправ? Простодушный рассказ Ивана Петровича Белкина тем, в частности, и хорош, что может быть понят по-разному.

И не понят – по-разному.

Справедливости ради надо сказать, что драма станционного зрителя всё-таки полностью не сводится к когнитивному диссонансу. Просто Гершензон увидел картинки, ахнул, прозрел и уже не мог говорить ни о чём ином. И я вслед за ним: «Станционный зритель» интересует меня здесь только в свете притчи о блудном сыне.

Притча Бунина

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»*

*И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

В притче Иисуса жизнь без отца – выжженная грехом и страданием пустыня, Господи, путь наш меж камней и терний. Единственное, что можно считать в этом свободном плавании позитивным – вызванное страданием изменение отношения к себе, к отцу, к жизни.

Между тем у Бунина путь не меж камней и терний – меж колосьев и трав. Всё плохое забыто, великая красота мира не только не обличается в лживой иллюзорности, но, освободившись от «всего», сияет у милосердных (определённо, рембрандтовских) колен ещё ослепительней.

Бунин написал своего «блудного сына» летом 1918 года, когда бежал из большевистской Москвы в Одессу. Жизнь рушилась. Прощался с прежней жизнью. Подводил итоги. Прощался с русской природой, которую никогда уже не увидит – только во сне.

Притча Нины Воронель

В «Готическом романе» (2005) есть бросающаяся в глаза аллюзия на притчу. Первая часть книги называется «Ведьма и парашютист». «Ведьма» приводит на ум лесную женщину Агнона, хотя у меня нет уверенности, что Нина Воронель эту новеллу читала, а если и читала, то вряд ли это как-то занимало её при описании романа израильтянина Ури с прекрасной Инге – ведьмой из средневекового немецкого замка. Тем не менее Ури попунктно повторяет путь агноновского коробейника в доме женщины: странник, работник, любовник, хозяин.

Инге – женское лицо Германии, женское лицо Европы. Под сурдинку дана тема блудного сына: герой – еврей-свинопас немецкой ведьмы – для повышения градуса занимается заодно ещё и убоем нечистых животных. Герой в сладостном плену у ведьмы-Европы с её замками, подземельями, ужасными тайнами, священными камнями, свиньями, неведомыми в Стране Израиля листопадом и летним дождем. И культурой, культурой, культурой. Как мог ты, смелый и свободный, забыть у ласковых колен? Так ведь у ласковых колен чего

только не позабудешь! Израильской маме-йеки всё это представляется полным кошмаром.

Мама бежала в детстве из Германии – сын возвращается в Германию (в еврейском сознании худший вариант чужой стороны). Приезжает ненадолго – остаётся навсегда. Там теперь его семья, его дом, его жизнь – назад он определённо не вернётся.

Воронель – сионистка чистых кровей, благородная алия семидесятых, но в романе ей нечего противопоставить обаянию Европы. Честь ей и хвала, предпочла логику образа, Агнон пришёл бы в ужас.

Во всяком случае озаботилась, чтобы детей у этой пары не было: сколько в прежние времена нарожали, хватит уже, общих детей у нас с Европой больше не будет.

Притча Фёдорова

Евгений Фёдоров, один из самых оригинальных и значительных ныне живущих русских писателей, читателям практически неизвестен. Социально и культурно не востребоваан. В литературной рефлексии представлен слабо. В интернете найти его можно, но на каких-то маргинальных позициях. Совершенно затенён более удачливыми одноклассниками. Ну не вошёл в обойму. Такое редко, но бывает.

Вот краткое содержание его повести «Проклятие» (2003). Россия, конец XIX века. Некий еврей принимает православие, а впоследствии и священнический сан. Отец даёт ему пощёчину и проклинает. Дочь нового православного потрясает прах религиозных предрассудков и уходит в революцию. Отец даёт пощёчину и проклинает. Оказавшись, как этой троцкистке положено, в Гулаге, она рождает дочку. Дочка, с омерзением относящаяся к материнским идеалам, принимает православие. Это уже шестидесятые. С младенчества вкушавший святое причастие её сын поражён внезапно открывшейся ему ослепительной истиной иудаизма. Совершив алию, становится профессором Иерусалимского университета. Профессорский сын приезжает в Москву изучать по архивам жизнь своей великой бабушки – отважной и чистой сердцем революционерки с трагической судьбой. И тут молодой израильтянин увлекается милой православной барышней. Занавес.

Как всегда у Фёдорова, отменно написанный плотный культурный текст. Изящная литературная стилизация. Карнавальная юмор. Острое воспроизведение канувших в лету кухонных дебатов. «Кухня» выполняет в повести функцию хора в греческой трагедии. Узнаваемые (узкий круг этих людей) и преображённые фантазией автора прототипы. Первый в этом ряду о. Иосиф Фудель – не еврей, кстати сказать.

На каждом этапе кармической саги блудный сын (дочь) покидает дом, отрицая его ценности и отправляясь в «дальнюю сторону», живёт в понимании отца «неспасительно». Возвращение происходит с другим сыном в другом поколении и само по себе становится новым уходом с новым задушением и проклятием.

И конца этому нет.

Притча Симашко

Никакого отношения к первому наркомун здравоохранения. Тот – Семашко. Симашко – псевдоним Мориса Давидовича Шамиса (Одесса, 1924 – Тель-Авив, 2000). Вполне еврейская игра: прочёл свою фамилию справа налево, завершив украинской завитушкой. Думал ли о первом наркоме?

Издавался полновесными советскими тиражами. Переведён на десятки языков. Сильный, оригинальный автор со своей темой. Парадоксальным образом мало кому известен. Тоже не в обойме.

Роман «Маздак» (1970) – самое значительное его сочинение. Сасанидская Персия, конец V – начало VI века, восстание маздакитов.

Верность исторической восточной фактуре и – просвечивающие через неё события французской и русской революции, большого террора, узнаваемые персонажи. Ужасные последствия, к которым приводит лозунг свободы и равенства. Всевластие спецслужб. Революция, пожирающая своих детей. Разорённая, измученная террором и страхом страна – свободный, благополучный Запад (Византия). Западные элитарные интеллектуалы, в своём безумии почитающие людоедскую восточную страну образцом свободы и демократии. Отвращение к идеологии.

Написано с большим чувством.

Введение в роман христианского и еврейского мира. Поздние амораи. Мар Зутра (второй). Религиозные преследования. Мученическая смерть Мар Зутры, спасавшего общину во главе маленькой еврейской армии. Семь лет оборонял город царь-экиларх от персидских войск. Небывалые в советской литературе события и персонажи.

Роман, ко всему, наполнен эротикой.

Первое издание – семидесятый год, позавчера Шестидневная война была, Совпис, тираж – сто тысяч. Потом ещё издавали.

Немыслимо.

Два героя романа, два мальчика-интеллигента (царские писцы) – несторианин Авраам и иудей Абба – порывают со своими общинами, уходят в революцию («дальняя сторона»). И оба возвращаются. В отношении Авраама есть неясности – насколько ушёл и насколько вернулся. Он скорее наблюдатель, нежели участник. История Аббы проще, острее, драматичнее – в чистом виде притча о блудном сыне. Участник расправ, в том числе и над евреями, Абба сам попадает под колесо репрессий – образ еврея-революционера и чекиста.

Двадцать лет спустя Авраам оказывается в доме нового экиларха. Встречает там приехавшего издалека мудреца. В старце, прижимающем к груди дрожащими руками Тору, Авраам узнаёт друга своей юности Аббу.

Что-то я не слышал, чтобы вышедшие из лагеря старые большевики так уж припадали к Торе. Разве что к хабадским продовольственным наборам. Нахмансон – чекист, арестовавший шестого Любавичского ребе и участвовавший в следствии, тем и вошёл в историю – восстановился в партии после лагеря и в конце жизни прикармливался от хабадских щедрот. Впрочем, мало ли чего я не слышал, да и в

незапамятные времена всё было не так, как ныне. Кроме того, есть логика сюжета, и она не обязана считаться с тем, как было «на самом деле».

Симашко добавляет ещё один элемент к сюжету о блудном сыне, очень в духе житийной литературы – увенчивает возвратившегося нимбом святости.

Метаморфозы

Сюжет блудного сына в общем случае состоит из трёх базовых элементов: конфликт с домашними ценностями, жизнь вне этих ценностей, возвращение к ним. Каждый из этих элементов может быть редуцирован – даже и до нуля.

У Агаты Кристи между отцом и сыном нет ценностного конфликта – есть просто конфликт. Ну так её история в известном смысле пародия.

Приведённые примеры, я старался подобрать поконтрастней, покрывают широкий спектр возможностей метаморфоз сюжета и интенций авторов, с чудесной лёгкостью вписываются в новые контексты, претерпевая по ходу дела различные, порой удивительные превращения, впитывает новые смыслы, порождает новые смыслы.

Изменение акцентов начинается уже в Церкви, и это при сознании святости текста, что, казалось бы, должно гарантировать от такого рода смещений. Но процесс этот неизбежен.

В новом контексте притча не может хотя бы в деталях, в акцентах не измениться, даже если автор не ставил себе такой цели. Но ряд авторов сознательно и полемически меняют её. Иной раз до неузнаваемости. До такой степени, что, если бы не маркирующее связь с притчей название, эту связь установить было бы не то что затруднительно, а вообще невозможно (Рильке).

Вплоть до изгнания религиозно-нравственного смысла, который кажется в этой истории неотъемлемым.

Одни авторы проживают историю блудного сына – это их личный экзистенциальный сюжет (Бунин), другие – смотрят на своего героя со стороны (Симашко), третьи – используют притчу как литературный игровой инструмент (Агата Кристи).

Рильке вписывает уход сына в концепцию творчества: одиночества, дистанции, сублимации.

Пушкин и Агата Кристи подвергают притчу рефлексии, сталкивают её с не вписывающимися в мораль евангельской истории жизненными образцами.

Во многих редакциях сюжета символом чужбины становится женщина: косвенно упомянутые распутные женщины у Иисуса, проститутки у рабби Нахмана, своеобразно любящая женщина у Агнона, просто любящая – у Воронель.

И ещё Снежная королева.

У Пушкина инверсия: не блудный сын – блудная дочь.

Соответственно, в другой жизни не женщина, а мужчина, и какой мужчина – гусар!

Константин Киконн

КАТАЛОГИ НИКОЛЬСКОГО

Человек, уже некоторое время назад потерявший право называться молодым, издает свою первую книгу стихов. У него есть какая-нибудь профессия, стихи приходили параллельно, и вот они сложились в убедительную стопочку. Как назвать книжку? «Лирика. Первая книга»? «Избранное/Собранное»? Наш автор, по первой профессии художник, нарекает свое детище «Каталог женщин»¹. Титул вызывает ассоциации. Ближайшая из них – знаменитая «ария со списком», которую уже двести с лишним лет с артистическим упоением исполняет Лепорелло, подручный и до некоторой степени двойник моцартовского дона Жуана. Он разливается соловьем перед несчастной доньей Эльвирой, увы, безвозвратно занесенной в этот список. Возникают и более отдаленные ассоциации с древними эпическими перечнями. Список кораблей и описание щита Ахилла из гомеровской «Илиады». «Эойя» Гесиода – поэма-список прекрасных женщин, любовниц богов, произведших от них легендарных героев, к которым возводили свои генеалогии предводители греческих племен. «Перечень Инглингов» – скальдическое описание тридцати поколений рода конунга Рёнгвальда, в начале которого, натурально, стоят боги и богини, населявшие Асгард – скандинавский Олимп... Для дебютанта заход неслабый.

Ну ладно, оставим эпические ассоциации эрудитам и ограничимся арией Лепорелло, тем более что у Никольского есть стихотворение и с таким названием, которое начинается довольно вызывающе: *Скучные будни и завтрак рвотный, / нестиранные рубахи, / надо бы завтра поехать к сводне / или сегодня к свахе...* Хотя, если вдуматься, начало моцартовской арии Лепорелло тоже не слишком оперное: *Madamina, il catalogo è questo...* Как пропели бы в Одессе, *мадамочка, вот вам прейскурант*. В «Каталог женщин» этот стих не вошел, скорее всего, потому, что возник, когда книжка была уже сверстана. Собственно каталог содержит двадцать одно наименование. Он составляет первую часть сборника и имеет подзаголовок: «Я опишу вам женщину». Еще тридцать стихов квалифицированы как «Не относящиеся к делу». А предпослано этим двум разделам вступительное «Путешествие под названием Эрос». Автор, как уже сказано, художник, так что я позволю себе предположить, что это название отсылает нас к знаменитой картине Антуана Ватто «Паломничество на остров Киферу» и ее неоднократным повторениям. *Первопроходец и открыватель / по наезженной трассе с названием «Эрос»...* Это введение в книгу указывает и положение составителя списка относительно его фигуранток – героинями называть их стило не поворачивается. Он, как и Ватто, как и Лепорелло, – более наблю-

¹ Никольский. Каталог женщин. Иерусалим: «Библиотека ИЖ», 2010.

датель, чем герой всех этих любовных историй. В конце первой строфы автор двусмысленно обещает: *Через пару дней я тут с любимой спарюсь, / в объятьях её согреюсь. / Боже, что я плету...* А пока он видит, как в окне напротив за занавеской / её силуэт нерезкий / снимает через голову водолазку / и от тени другой, мужской, принимает ласку. Или едет с ней в лифте высотного дома, замурованный, словно в крипте / или на дне колодца. Или наблюдает ее утреннюю пробежку трусцой по горсаду, мышцы, дрожащие под одеждой, / полузастегнутую, застиранную, небрежной. Или хотя бы ждет, чтобы она оставила свой голос на автоответчике – свой шёпот, свое дыханье, пять минут монолога... И вот этот Лепорелло, соглядатель, человек, персона, глазами вперясь / в мир, видит один лишь Эрос. / Эрос для пресного быта как соль и перец, / думать иначе – почти что ересь. Ну что ж, не будем в эту ересь впадать.

Название сборника, как это нередко случается, слегка вводит в заблуждение. Это не перечень имен с указанием цвета волос, возраста, телосложения и национальности, как у моцартовского Лепорелло. Это и не каталог. Это скорее дайджест. Двадцать одна история из жизни женщины. Или двадцать одна версия женской судьбы. И ни одна из них не счастливая. Но это вам и не новеллы Стефана Цвейга, от которых щиплет глаза у чувствительных читательниц. Это стихотворения, в которых каждое слово идет по цене дюжины, и почти каждая из историй умещается в три-четыре строфы. *Рядовая работница банка / в приличной юбке / живет, как в кабине танка, / не идёт на уступки...* Или вот она пунцовой краской румянит личико / и по площади Красной идёт без лифчика, / из-за резко-континентального, очень жаркого, / а вовсе не потому, что она из Харькова... С другой стороны, вряд ли она блондинка (если она японка). / А если она никакая не иностранка, / то стоит, икая, в зубах у неё баранка, / на ногах ботинки, во рту коронка, зовут Алёнка... Сочинитель, который умеет такое, никакой не дебютант.

Назвать эти стихи про любовь лирикой как-то не получается. В них нет ничего личного, в них описываются варианты женских несчастий, в них сарказм органически уживается с жалостью. Дамы иногда имеют имена, но имена эти прикреплены к ним как этикетки... или ценники. *Мадонна с именем из романа – Матильда или Рамона. Вот еще одна, носящая имя Ольги, Кристины, Анжели, / спешащая мимо меня по улице.* Если подыскивать определение этого жанра по аналогии, то в голову приходят примеры скорее из прозы, чем из поэзии: физиологические очерки, столь популярные в 30-е и 40-е года позапрошлого века в английской, французской, а затем и в русской литературе. Персонажи, запечатленные на тех дагерротипах, по преимуществу несчастливы по социальным и личным причинам. Но эту аналогию не следует понимать слишком всерьез – в книге Никольского мы имеем дело не с зарифмованной прозой, а с полноценной стиховой материей, оснащенной всеми традиционными поэтическими тропами и, сверх того, ухищрениями и украшениями, выработанными постмодернистским двадцатым веком.

Любимые тропы Никольского – эллипсис, метонимия. Замещение определяемого определением: *Дотянувшая до серебряной отличается от похожей, забытой в Ялте, от прохожей в Сочи*. Замещение биографии несколькими эпизодами, ее исчерпывающими. *Славянская красавица, перемещенная в северо-нидерландский Гронинген, небожительница для любого / жителя Львова, Винницы, Бологого, Курска, Космодемьянска, Орла; / сзади волосы собрала*. Она передвигается по улочкам Гронингена, а тоскующие мужики, оставшиеся на брошенной ею родине, *которые дома пьют, в подъезде соображают, / её беспрерывно воображают... Фея... Дева*. А на новом месте *она всего-то / соседка, сожительница, Ирена, / которая неудачлива, смертна, бренна*. Замещение героини косвенным определением: *любая, носящая ярко-синие блузки, не любима мужчинами по фамилии Салтыков*. Она, конечно, рослая голландка, *метр восемьдесят четыре без каблуков, / не говорит по-русски*. И свежеиспеченный нидерландец *торопится разнакомиться: / Салтыковы в его роду*. И несчастье нескладехи также описывается метонимически: *бесполезное тело, сидящее на диване, / руки, не обнимающие по ночам никого, / долгое, тщательное одеванье / одежды, отпугивающей его, – подмена опустошенной души телом, оказавшимся ненужным отдаленному потомку Салтыковых*.

Вернемся, однако, к Лепорелло. В разных версиях истории про Дона Хуана (который в русской литературной традиции почему-то зовется на португальский манер Жуаном, и виноват в этом, скорее всего, англичанин Байрон и его английское J – «дж», которое у нас прочли как «ж»)) слуга носит разные имена – Каталинон у Тирсо де Молина, Сганарель у Мольера и т.д. Лоренцо да Понте, либреттист Моцарта, дал ему имя Лепорелло. Пушкин в своей версии, сильно отличающейся от оперной, назвал Гуаном дона Хуана, но имя слуги сохранил. Никольский, как мне кажется, трактует Лепорелло скорее по Моцарту, чем по Пушкину. В маленькой трагедии нашего Первого Поэта знаменитый сюжет сжат в пружину, и Лепорелло там негде развернуться. В опере Моцарта Господин и его слуга правят бал на равных, поют в одной и той же тесситуре, меняются одеждами и ролями, замещая друг друга, а в некоторых постановках и дьявол прибирает к себе их обоих одновременно. На равных так на равных.

У Никольского Лепорелло начинает свою арию как слуга (см. выше). *Сваха скинет мне адресочек, / скинет мне телефончик... Пусть она ищет юфрау, деву, пани, подругу, зверет, / пусть она ищет мне Раю, Еву, Маню, супругу, Веред*. В общем, список. Однако к середине стихотворения этот порученец незаметным образом превращается в самого Дона. *Встретишь барышню, фрекен, фройлен, / все они выступают в роли... Пани заманит тебя в одну из комнат, / с мамою познакомит...* Ну и так далее. Кто тут регистрирует имена, а кто список приумножает, уже не очень ясно. Никольский встраивается в традицию, развивая ее, как бы осовременивая, но списки женских судеб составлялись во все времена, наше время ничем не лучше античного, а наши женщины – не хуже древних гречанок и римлянок.

Перелистаем теперь странички со стихами, которые квалифицированы автором как «не относящиеся к делу». Это все те же физиологические очерки, настоянные на плотной материально-жизненной основе. Персонажи обоего пола обитают в густозаселенной Европе, вспоминают покинутую навсегда историческую родину. Некоторые из них проживают там же, где и автор – в райских местах на крайнем севере королевства Нидерланды, проезжают, как призраки, на велосипедах через *блаженные острова / между Адорпом и Заудхорном*. Автор искоса поглядывает на обитателей этого рая. Сам он, конечно, неисправимый чужак в городе Гронинген и его окрестностях и наблюдает эту кажущуюся легкой жизнь местных уроженцев с высоты велосипедного седла. Каждый их местных *живёт разбавленно и расслабленно... Если тяжко лёгкими – дышит жабрами... Если град – то не сечёт их град, если гроза – их дождём не мочит*.

За спиной у автора *прошлое – вчерашнее, прошлогоднее, устаревшее, негодное и напрасное*. Перед глазами *настоящее – прекрасное, короткое, само по себе стоящее и сидящее*. А впереди маячит *надежда на послезавтрашнее – безмятежное и пустячное, на первые признаки амнезии, не капризное, не страшное...* Это такая странная амнезия. Когда помнишь все бывшее и понимаешь все сущее во многих удручающих или ободряющих подробностях, но забыл, зачем это все. Этот легкий флер, наброшенный на бывшее с автором или с другими, превращает ворох житейских подробностей в стихи. Жанр их – точно не лирика, хотя бы из-за отсутствия лирического героя. Немолодой уже человек водит неводом в житейском море, иногда вылавливает золотую рыбку, которая зазывно блестит чешуей, но отказывается исполнять желания. Это лирика? Скорее – хроника никуда не текущих событий. Потому и нет лирического героя в стихах Никольского, что их автор смотрит на создаваемые им стихотворные миры как бы со стороны. Демииург, скрестивший руки после акта творения и критически оценивающий результат.

Книжка Сергея Никольского открывается лаконичным посвящением «Маме». Маму зовут Лорина Дымова. Она в свое время тоже составила каталог. Даже два. Список любовных ситуаций, в которые попадают брюнетки, блондинки, шатенки и рыженькие, заключенный в обложку, на которой написано: «Сказала блондинка, сказала брюнетка», и каталог суженых и ряженных, названный «Откровенные стихи о любви» и посвященный, естественно, сыну. Он и начинал в манере, виртуозно разработанной мамой, – такой англазированный юмор, замаскированный под как бы стихи для взрослых детей (см. выпуски «Иерусалимского журнала» десятилетней давности). С той поры многое переменялось.

В качестве интерлюдии вспоминается почему-то другой дебют. Другое время, другой род искусства, другой еврей, пустившийся на этот дебют. Музыкант, выбившийся из глухой богемской провинции, сын владельца постоянного двора, ставший хорошим пианистом, сделавший профессиональную карьеру в качестве капельмейстера и оперного дирижера в провинциальных городах Австро-Венгерской

империи, а затем и в столичных Вене, Праге и Будапеште. Но, интерпретируя чужую музыку, он «в свободное от работы время» сочиняет собственную. И вот, наконец, премьера Первой симфонии 29-летнего Густава Малера. В симфонии пять частей, на одну больше, чем принято после Бетховена и Шуберта. За пультом сам сочинитель. В зале – весь музыкальный Будапешт. На карту поставлено все музыкальное будущее автора. Первые три части симфонии встречены публикой вполне благосклонно, и паузы между ними даже заполняются аплодисментами, что в концертных залах, вообще-то, не принято. Автор определенно следует традициям Бетховена и Брамса, но творчески их развивает. Ценители слышат то, что ожидают услышать, и блестяще оркестрованный тематический материал с ненавязчивыми ссылками на местный фольклор хорошо ложится на слух искушенных любителей и профессионалов. Четвертая часть начинается как похоронный марш. Тема, развиваемая в этом погребальном шествии, знакома любому музыканту «до детских припухших желез». Это знаменитый канон «Братец Яков» – Frère Jacques, Bruder Jakob, Brother John, возникший как французская детская песенка и включенный в программу музыкальных школ всего христианского мира. Слышать эту детскую песенку в качестве погребальной музыки как-то неуместно, но не успел зал заерзать от такого нарушения правил приличия, как Marche Funèbre плавно перетек... в клейзмерский шлягер, сделанный из того же тематического материала, развеселый, но с минорными слезами на глазах, как это водится у провинциальных еврейских музыкантов. И так, перемежаясь и переплетаясь, эти две струи доводят симфонию до заключительной части. В ней автор как ни в чем не бывало возвращается к брамсовской традиции, подлив туда чуть-чуть полета валькирий. Публика расходится в некотором смущении, а пресса определенно недовольна кощунником. «Мы всегда рады видеть его на подиуме, пока он не возьмется за дирижирование собственными сочинениями...» И вообще он «смертельно оскорбил чувство прекрасного». Дебютант услышал глас народа и переработал симфонию, сделав ее четырехчастной, как у всех. Но убрал он не четвертую часть, а вторую. Так что слушатели и по сей день наслаждаются издевательской переработкой знаменитого канона. А симфония получила название «Титан». Малер никогда не настаивал на своем еврействе, воспринимая его как (увы) неизменяемую данность, но от этого евреем быть не переставал. И его дебютная симфония стала, по его собственному определению, Человеческой комедией, в сочинение которой он вложил неизбывный иудейский сарказм.

Определение «Человеческая комедия» подходит и к корпусу сочинений Никольского. В своей дебютной книге он не пощадил ни чувство прекрасного (*Боже, что я плету...*), ни своих героинь, ни эмигрантскую братию, ни стойких гостеприимных голландцев... ни себя самого. Со времени выхода «Каталога женщин» прошло еще несколько лет. «Иерусалимский журнал» в своем 45-м выпуске отвел для новых стихов Никольского шестнадцать страниц под рубрикой «Книга стихов в журнале». Человеческая комедия продолжается. *Я видел сумасшедшую, она / всем говорила, что её страна / сдана*

властями инопланетянам... Никто! Никто не раскусил змею! / Я сумасшедших сразу узнаю. / У нас на Марсе с этим очень просто. Автор придерживается выработанной ранее манеры и продолжает пользоваться любимыми тропами. Это все те же «физиологические очерки», приправленные изрядной долей сарказма и самоиронии, но что-то неуловимо изменилось в характере стихов. Автор уже освоил новое пространство и находится в процессе получения голландского гражданства: зад мой оголённый снимут на фотоплётку, / как в сад к гулёнам ходил, как разбил солонку, / как выражался и уто- нул в текиле. / Получу гражданство – все тут у них такие. Как- то полиняла и обрюзгла Голландия. Народ теперь распустился, и подустал, / и наел телес. / А давным-давно здесь жил золотой телец / и королева была для нации как отец. А поэт туда опоздал, потому что родился при развитии, / когда границу стерёг часовой с винтом... Я попал сюда к шапочному разбору. / Опоздал, / а прекрасное прошлое уже покинуло пьедестал.

Женщины по-прежнему проживают в освоенной поэтом Ойкумене. Вместо каталога перепевается на новый лад Песнь песней: *У других груди, как низкие Аппалачи, / у тебя, как высокие Гималаи... Ни один придира / не нашёл бы пятна на теле, / не нашёл изъяна. / Хотя полмира её взглядами проводило... Он говорил, говорил, / пыл свой не умерял, / карандаш мусолил, / что-то пальцами промерял, / словно заполнял признаньями формуляр... Помню, помню – я и сам это повторял / разным Суламифям неоднократно. Нет, пожалуй, все-таки каталог.*

Позавчерашнее прошлое превратилось в туманное давно: *я помню, что когда-то был лимит, / а если кто режим сейчас клеймит, / он просто позабыл, что значит «жёстко», что значит «водка», «грязь» и «комбинат», / не вспомнит, хоть и будет вспоминать, / что это значит – «жить в райцентре Шостка». Да и вчерашнее прошлое уже пущено на размен: Я поменял ко.ил на местное пунт эн.эл – / я ни цента не получил взамен, / я позабыл, какой у совка домен... А пока вот так у моря хрипишь, си-пишь, / далеко в пустыне готовят гефилте фиш, / Рош а-шана у них по календарю.*

Время из дебюта перетекло в миттельшпиль, разорванное пространство стало единым, автор его объездил, оценил и описал. *Переврали, передёрнули или перехвалили – / в Риме, в Праге, в Вене, в Москве, в раю / люди плохо чувствуют себя к февралю. Доступное нам пространство и не забытое нами время превратились в длительность по Бергсону, и мы существуем в этой длительности. Только в ней и находит свое место космополит с запутанной родословной. Как там сказано в эпиграфе к набоковскому «Дару», упомянутом в одном из стихов Никольского? Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна. Но мы, покинув первую и не тратя времени на предвкушение второй, продолжаем составлять свои каталоги.*

Эдуард КАПИТАЙКИН. Преодоление [Статьи, эссе, очерки (1977–1992). Из воспоминаний друзей и близких. Составление и комментарии: Татьяна Азиз-Лившиц]. Иерусалим–СПб, 2013.

Название книги Эдуарда Капитайкина (1937–1992) можно отнести не только к ее героям, но и к судьбе самого автора. В 1977 году он, ленинградский театровед, критик, автор работ по истории театра, репатрировался в Израиль. Вхождение в новую жизнь оказалось трудным, израильский театр в сравнении с лучшими советскими театрами тех времен показался глубоко провинциальным, но главное – в этой «театральной провинции» его профессия не была востребована. «Кроме того, что тут я стал “русским”, я еще – на беду свою – театровед. Я пока не встречал в Израиле человека – от чиновника Сохнута до профессора университета, который знал бы, что это такое». Это цитата из статьи Капитайкина «Ищу место сторожа. Письмо в Россию», написанной в этот период, а отклики на нее в главе «О вкусах спорят» отражают настроение израильского общества, поглощенного совсем иными проблемами. Романтические представления многих *олим* об Израиле столкнулись с реальностью, к которой они не были готовы. Эта статья, опубликованная в 1979 году в журнале «Круг», высветила одну из проблем новых репатриантов, и в ходе дискуссии появились не только эмоциональные отклики, но и конструктивные предложения.

В 1980 году Капитайкин стал сотрудником радиостанции «Кол Израэль», где под псевдонимом Эди Капит вел обзоры и передачи по вопросам культуры и искусства до последнего дня жизни. Эта возможность помогла преодолению его изоляции и вхождению в израильскую культурную жизнь. Хотя главной его темой оставался театр в культурно-историческом контексте, работы Эдуарда Капитайкина неизменно отличала глубокая эрудиция в области искусства. В числе глав книги: «Балет», «Галерея», «Книжная полка», «Имена» – и в каждой из них увлекательные эссе о судьбах и творческих исканиях людей искусства, о трагедиях и высокой любви. Особой темой в творчестве Капитайкина стали исторические портреты, посвященные в основном российским евреям, внесшим важный вклад в искусство, науку, литературу. Они были объединены в три сборника «Имена» (1987, 1988, 1991) и вышли в Иерусалиме в серии «Евреи в мировой культуре».

Книга «Преодоление» – своего рода роман с множеством персонажей и фантастическими сюжетами, которые сочиняет сама жизнь, включая воспоминания друзей об авторе. Художница Галина Блейх создала точный визуальный образ книги. На подоконнике типичного арочного иерусалимского окна, распахнутого в первозданный библейский хаос каменного ущелья, сиротливо приютилась изящная фарфоровая чашечка с видами Петербурга. Замечательная метафора перехода из одной реальности в другую при том, что глубинная связь с прошлым сохранялась и даже углублялась. Книга, подготовленная к изданию при участии редакторов Игаля Городецкого и Юрия Вайса, воссоздает уникальную, но малоизвестную сегодняшнему читателю атмосферу духовной и культурной жизни Израиля и русскоязычной общины тех лет.

Елена Игнатова

ИМЕНА

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966). В Иерусалиме именем Агнона названа улица, здесь расположен дом-музей писателя; его архив хранится в Национальной Университетской библиотеке. В «ИЖ» произведения Ш. Й. А. опубликованы в №№ 2, 5, 8, 10, 39.

С. АН-СКИЙ (Шлойме-Занвл Раппопорт; 1863, Чашники, Витебская губерния – 1920, Варшава), поэт, прозаик, драматург, этнограф, публицист. Писал на русском и на идише. В юности порвал с еврейской средой, проповедовал идеи народников российским крестьянам и рабочим. Занимался переплётным и кузнечным ремёслами. Устраивал сходки, во время которых читал произведения русских писателей. Неоднократно подвергался арестам. Несколько лет проработал на угольных и соляных шахтах. В 1892 году по совету Глеба Успенского, опекавшего его в литературных делах, выехал за границу, сблизился с народолюбцами. В 1902-м участвовал в создании партии эсеров, написал гимн Бунда. Помогал писать революционные воззвания Гапону. В 1905-м вернулся в Россию, перевел на идиш «Интернационал». Сотрудничал с эсеровской прессой. Большое впечатление произвели его корреспонденции о Седлецком погроме. Организовал этнографическую экспедицию в «черту оседлости», после которой написал самое известное свое произведение – пьесу «Дибук, или меж двух миров». Переведенная в 1916-м на иврит Х. Н. Бяликом и поставленная в 1922-м в московском театре «Габима», она положила начало современному ивритскому театру.

Каринэ АРУТЮНОВА родилась в Киеве. Репатриировалась в 1994 году. Лауреат поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Рукопись рассказов К. А. вошла в шорт-лист премии Андрея Белого (2010). Автор книг прозы «Пепел красной коровы» (2011) и «Скажи красный» (2012). Последние годы живет также на Украине и в России.

Хамуталь БАР-ЙОСЕФ родилась в кибуце Тель-Йосеф. В 1961 году окончила Еврейский университет в Иерусалиме, в котором защитила докторат по ивритской литературе (1984). Преподавала также в университетах в Безр-Шеве, Париже, Киеве, Нью-Йорке, Москве, Кембридже. Автор тринадцати сборников стихов и сборника рассказов «Музыка». Перевела на иврит сборники стихов О. Седаковой и Ю. Винер, рассказы А. Чехова, И. Бунина, Ч. Айтматова, трехтомник И. Бабеля. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премии Объединения израильских писателей. Живет в Иерусалиме.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Окончил Киевский пединститут. С 1962 года жил в Москве, окончил МИРЭА. Репатриировался в 1992 году. Автор десяти сборников стихов, в т. ч. книг «Анфилада» (2008), «Из ТАНАХА. Стихотворные переложения» (2008) и «Контрапункт» (2010). Лауреат премии СРПИ (1999) и Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Живет в Ришон ле-Ционе. В «ИЖ» стихи Н. Б. опубликованы в №№ 4, 14-15, 20-21, 28, 31, 36; переложения из Книги Исаяи (№ 8) и Книги Псалмов (№ 12); эссе «Три аквариума» (№ 6), «...Созерцать красоту господню» (№ 16); рецензии на книги Ю. Колкера (№ 7), З. Палвановой (№ 14-15), Е. Аксельрод (№ 17); заметки о переложении Экклезиаста (№ 7). В 2000 году в «Библиотеке ИЖ» вышли книги стихов Н. Б. «Полнозвучие» (2000) и «Об осени духа и слова» (2004).

Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и в Узбекистане. Окончил Пермский политехнический институт (1971). Репатрировался в 1990 году. Один из основателей ташкентского КСП «Апрель» (1975) и «Иерусалимского журнала» (1999). Автор четырех сборников стихов. Живет в Текоа.

В «ИЖ» опубликованы стихи И. Б. (№№ 5, 6, 13, 14-15, 17, 20-21, 22, 23, 24-25, 41); переводы из Й. Амихая, Н. Альтермана, Э. Керета, В. Чернина (№№ 5, 11, 12, 29); посвящения Ю. Киму и С. Шенбрунн (№№ 29, 40); заметки о Д. Ханане, Ш. Маркише, А. Файнберге (№№ 3, 17, 31).

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. По образованию сценарист (ВГИК). Работала в документальном кино. Репатрировалась в 1971 году. Автор книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.» (1998, 2007), романа «Красный Адамант» (2006), сборника рассказов «Место для жизни» (2011). Стихи, переводы и проза публикуются в литературной периодике Израиля и России. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы повесть Ю. В. «Смерть в доме творчества» (№ 29) и главы из книги «Былое и выдумки» (№№ 40, 44, 46).

Екатерина ГОРБОВСКАЯ родилась в Москве. Училась в Литинституте им. Горького. Стихи включены в антологии («Московская муза 1799–1997», «Строфы века», «Русская поэзия. XX век» и др.). Автор книг стихотворений «Первый бал» (1982), «Обещала речка берегу» (2003), «Утро вечера» (2013). Живёт в Лондоне.

В «ИЖ» опубликована подборка Е. Г. «Оно, конечно, ёклмн...» (№ 43) и стихотворение памяти Игоря Царёва (№ 45).

Михаил ГОРЕЛИК родился (1946) и живет в Москве. Окончил МЭСИ (1970). Статьи и эссе публикуются в литературной периодике России, Израиля и других стран. В «Новом мире» (№ 8, 2000) напечатан его обзор первых номеров «ИЖ». Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2006).

В «ИЖ» опубликованы рецензии М. Г. на книгу Н. Воронель «Полет бабочки» (№ 4), «Российскую еврейскую энциклопедию» (№ 7); статьи «В поисках дома», «Наиновейший Плутарх», «Кто сказал, что нет Бога?» (№№ 5, 40, 43).

Лина ГОРОДЕЦКАЯ родилась в Киеве. Окончила ЛИИВТ. Репатрировалась в 1990 году. Сотрудничает с местными и зарубежными СМИ. В 2010 году Девятым каналом израильского телевидения была удостоена звания «Человек года» в номинации «Журналистика». Пишет прозу. Автор сборника рассказов «Русские корни». Живет в Кирыат-Яме.

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатрировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля (1957). Дом наследия У. Ц. Гринберга в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары переводчиков, презентации «Иерусалимского журнала», творческие вечера и заседания литклуба «ИЖ».

В «ИЖ» опубликованы стихи У. Ц. Г. (№№ 13, 16, 19, 20-21, 22, 23, 36), а также его «Манифест» (№19).

Владимир (Зеэв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал изд-во «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917–1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «*Давар а-йом*». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию В. Ж., его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Его именем названа одна из центральных улиц столицы. В «ИЖ» (№№ 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44) впервые после газетных публикаций 1902–1905 гг. напечатаны его избранные сочинения тех лет, а также статьи М. Хейфеца «Почему Жаботинский не стал еврейским вождем» (№ 29) и Л. Кациса «Начало пути», «1904: о Герцле и о себе», «*Русская весна*» Владимира Жаботинского», (№№ 34, 36, 39).

Алексей ИВАНТЕР родился в 1961 году в Москве. Учился в МГПИ им. Ленина, был рабочим в геологической партии на Верхоянском хребте, строил на Алтае линии электропередачи, жил сезонным сбором яблок под Россошью, в 1989 году возглавил (совместно с Алексеем Сосной) издательство «Постскриптум». В 2011 году издал хрестоматию «Шедевры русской поэзии (Вторая половина XX века)». Автор семи книг стихов. Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов А. И. «Красный «Данхилл»» (№ 44) и заметки об Игоре Царёве (№ 45).

Елена ИГНАТОВА родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. В 1990 году переехала в Израиль. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (1976), «Теплая земля» (1989), «Небесное зарево» (1992), «Стихотворения разных лет» (2006); сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989); книг прозы «Записки о Петербурге» (1997, 2003), «Обернувшись» (2009). Стихи включены в антологии русской поэзии XX века. Лауреат премии им. Н. В. Гоголя (2009). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы проза Е. И. (№№ 1, 20–21, 27); стихи (№№ 35, 44); эссе (№№ 7, 30, 38), рецензия на книгу С. Курилова (№ 6), заметки о В. Портнове (№ 24–25) и Д. Маркише (№ 46). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга ее стихов «Ранний снег» (2012).

Константин КИКОИН родился в Калинин (ныне Тверь) в 1945 году. Окончил физмат Уральского университета. Работал в Институте Атомной Энергии (Москва). Репатриировался в 1997 году. Стихи и статьи публиковались в литературной периодике. Автор четырех сборников стихов и книги прозы «По обе стороны свободы». Живет в Ришон ле-Ционе. Профессор Тель-Авивского Университета. В «ИЖ» № 44 опубликована статья К. К. «В мире Владимира Френкеля».

Керен КЛИМОВСКИ родилась в Москве в 1985 году. Репатриировалась вместе с семьей в 1990 году. Окончила университет Брауна (Провиденс, США, 2008). Стихи, проза и драматургия К. К., а также ее переводы с иврита публиковались в литературной периодике. Лауреат нескольких литературных конкурсов. Живет в Нетании. В «ИЖ» № 41 опубликован рассказ К. К. «Куда ходить нельзя».

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела «в отказе». Репатриировалась в 1987 году. Окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература», защитила докторат; занимается исследованиями в области современной израильской литературы, ее связей с еврейскими классическими текстами, а также с русской культурой; преподает. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (1998). Живет в Иерусалиме. Подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). В этом же номере – эссе З. К. «В новый край идешь ты...», в № 7 – эссе об Иегуде Амихае, в №№ 8, 10 – о Ш. Й. Агноне; в № 9 – о Гершоне Шофмане, в № 12 – о Натане Захе. В ее переводе опубликованы рассказы Иеуды Амихая, Биньямина Таммуза (№ 7), Ш. Й. Агнона (№№ 8, 10, 39), стихи Натана Заха (№ 12).

Хава-Броха КОРЗАКОВА родилась в Ленинграде в 1969 году, училась в ЛГУ на кафедре классической филологии. Репатриировалась в 1991 году. Преподает в Университете Бар-Илан. Живет в Кирьят-Арбе. Автор поэтических книг на иврите «Камни оникса» (1993), «На краю Луны» (1996), «Полосатая рубашка» (1998), «Закрытое море» (2002), «Анабайно» (1994, на русском). Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. Премии главы правительства.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов Х.-Б. К. (№№ 19, 30, 41), статья «Загадка 20-го псалма» (№ 1). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги ее стихов «Пятое послание» (2010) и «Один шаг» (2011).

Вадим ЛЕВИН родился в Харькове в 1933 году. По первому образованию – инженер-механик, по второму – филолог, по диплому кандидата наук – психолог. Член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук. Живет в Марбурге.

Автор многих книг, в т. ч. «Борькин тарарам» (1965), «Глупая лошадь» (1968), «Прогулка с дочкой» (1971), «Хвалилка для котят» (1998), «Куда уехал цирк» (2002), «Лошадь в калошах» (2003), «Между нами» (в соавторстве с Ренатой Мухой, 2009), «Соавтор мой крылатый» (2012).

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов В. Л. и его переводов с иврита «Адаптированный Чуковский» (№ 4), «Люблю четвероногих» (№ 28); эссе памяти Ренаты Мухи «Моя сестра, моя судьба» (№ 31).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград – Иерусалим» (1997). Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». Лауреат «Русской премии» (2011).

Один из основателей «ИЖ». В журнале опубликованы рассказы Л. Л. (№№ 1, 14-15, 24-25, 29, 42), эссе «И вот я увидел» (№ 11); повесть «Проект» (№ 6), заметки о Г. Кановиче (№ 30) и В. Александрове (№ 31), главы из романа «Сказочник» (№ 37).

Геннадий МАЛКИН родился в 1939 году в Брянске. Окончил 3-й Московский мед. институт (1962). Работал хирургом-стоматологом. Репатриировался в 2008 году. Автор многочисленных сборников афоризмов и трёхтомника в «Золотой серии». Лауреат премий «Золотой телёнок», «Тайм-аут» и др. Живет в Бат-Яме.

В «ИЖ» опубликованы воспоминания Г. М. «Секрет военного искусства» (№ 29) и подборки его афоризмов (№№ 29, 34, 41).

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музучилище и три курса филфака Харьковского университета. Основатель детского клуба

авторской песни «Товарищ Гитара» (1985). Репатрировалась в 1990 году. В Иерусалиме окончила «Школу визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской песни, поэтического турнира «Пушкин в Британии» (2005), премии «Олива Иерусалима» (2007). Автор более десяти дисков. Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликована проза М. М. – «Джаз в стиле идиш», «Прочие слова», «Годовые кольца», «Страницы», «Этюды для флейты», «Улица Иудейской пустыни» (№№ 6, 13, 20-21, 29, 36, 41). В «Библиотеке ИЖ» вышли ее книги «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду».

Евгений МИНИН родился в 1949 году в Невеле. Окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на заводе, преподавал в школе. Репатрировался в 1990 году. Автор семи сборников стихов и пародий. Лауреат Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов Е. М. «Без Мальчиша и без Гавроша» (№ 23); пародии (№№ 27, 35, 38); рецензия на книгу А. М. Кобринского (№ 32); заметки о Марке Азове (№ 34).

НИКОЛЬСКИЙ (Сергей Никольский) родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище (1983). Репатрировался в 1990 году. Стихи печатались в литературной периодике и коллективных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов С. Н. (№№ 7, 24-25, 30, 34, 38, 42) и книга стихов в журнале «Всего лишь шаг до рая» (№ 45). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга его стихов «Каталог женщин» (2010).

Григорий ПЕВЗНЕР родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинградский педиатрический институт. Автор книг стихотворений «Зелёный медведь» (2006) и «На этом берегу» (2012). В его переводе вышли классическая немецкая детская книга «Der Struwwelpeter» Генриха Гофмана (в русской версии – «Стёпа-растрёпа», 2010) и книга «Макс и Мориц» Вильгельма Буша (2012). С 1992 года живёт в Марбурге (Германия).

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов Г. П. (№№ 26, 39, 46); заметки об А. Дулове (№ 38); посвящения Д. Сухареву (№ 35), Ю. Киму (№ 40), А. Городницкому (№ 45).

Михаил ПОЛЬСКИЙ родился в Днепропетровске в 1952 году. Жил в Москве, где окончил Институт культуры и работал по специальности. Во время горбачевской перестройки был известен на Арбате как поэт Зиновий Каменев. Репатрировался в 2000 году. Публиковался в литературной периодике. Автор сборника стихов «Жизнь одна» (2004) и книги стихов и переводов «Мир без Храма» (2010). С 2005 года участник переводческого семинара при Доме наследия У. Ц. Гринберга. Лауреат Поэтического фестиваля памяти Ури Цви Гринберга. Живет в Текоа. Переводы М. П. из У. Ц. Гринберга опубликованы в «ИЖ» № 23.

Татьяна СОКОЛОВСКАЯ родилась в Москве, окончила мехмат МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, работала в ЦЭМИ АН СССР и на кафедре математических методов экономики в МГУ.

Репатрировалась в 1990 году. Последние три года участвует в переводческом семинаре при Доме наследия Ури Цви Гринберга.

Живет в Тель-Авиве. Преподаёт математику в школе «Шевах-Мофет».

Владимир ХАНАН (Ханан Бабинский) родился в 1945 году в Ереване. Жил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк. Работал слесарем, рентгенологом, сторожем, лифтером, бойлерщиком. Публиковался в самиздатских журналах «Часы», «Митин журнал» и др. Репатриировался в 1996 году. Автор книг стихов «Однодневный гость» (2001) и «Осенние мотивы столицы и провинций» (2007); сборников рассказов «Аура факта» (2002) и «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (2006); книги юмористических миниатюр «Неопределённый артикль» (2002). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы рецензия В. Х. на книгу Павла Лукаша (№ 2) и рассказы (№№ 10, 16, 24-25).

Велвл ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Окончил истфак МГУ (1981) и ВЛК при Литинституте им. Горького (1983). Репатриировался в 1990 году. Защитил докторат в университете им. Бар-Илана. Преподаёт еврейскую литературу. Автор нескольких книг стихов на идише и иврите. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премии им. Давида Гофштейна. Живет в Кфар-Эльдаде. В «ИЖ» опубликованы рецензия В. Ч. на книгу В. Слуцкого «Новый век» (№ 12), переводы еврейских средневековых сказок из «Майсе-бух» (№ 14-15), подборки стихов «Молитва о дожде» (№ 17), «Верлибры разных лет» (№ 29), переводы из У. Ц. Гринберга (№ 19), эссе «Исповедь поросенка» (№ 23) и «Моя родословная» (№ 23); перевод рассказа Шолом-Алейхема «Возносятся и падают» и послесловие к нему (№ 35).

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатриировалась в 1989 году. Живет в Ашдоде. В «ИЖ» В №№ 17, 28, 33 опубликованы рассказы С. Ш.; в №№ 14-15, 18, 20-21, 26, 39 – ее переводы рассказов Ицхокаса Мераса; в №№ 24-25, 43 – статьи о творчестве этого писателя.

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве в 1939 году. Окончила Высшие сценарные курсы (1964). Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1997), романов «Розы и хризантемы» (2000, шорт-лист премии «Букер») и «Пилюли счастья» (2006). Перевела на русский прозу и пьесы многих израильских писателей XX века, включая классиков ивритской литературы. Лауреат премии СРПИ (2001). Живет в Гиват-Зееве. В «ИЖ» опубликованы первая часть романа С. Ш. «Пилюли счастья» (№ 5), переводы прозы А. Шахана (№ 1), Ш. Й. Агнона (№№ 2, 5), И. Кацир (№ 4), Д. Орьяна (№№ 7, 19), Г. Шофмана (№ 9), Д. Гроссмана (№№ 24-25); главы третьей части романа «Розы и хризантемы» (№№ 32, 38); рассказ «Три богатыря» эссе «Когда есть "летучие почты"» (№ 29) и рецензия на роман Давида Маркиша «Тубплиер» (№ 44).

Алла ШИРОНИНА родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентский пединститут. Работала библиотекарем, литературным редактором, уборщицей, няней, психологом. Занималась в литературном семинаре Александра Файнберга. Стихи и переводы печатались в журнальной периодике и литературных альманахах. Автор книги стихотворений «Балансир» (1988). С начала 90-х годов живет в Калининграде. В «ИЖ» № 46 опубликована глава «При чем тут Бальмонт?» из повести А. Ш. «Сталинградская битва Фрау».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ВЛАДИМИР ХАНАН. Если забуду... <i>Стихи</i>	3
ЮЛИЯ ВИНЕР. Былое и выдумки (4). <i>Воспоминания</i>	10
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Семейное. <i>Монологи</i>	66
ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ. Мой дом. <i>Рассказы</i>	68
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Два рассказа	82
ЕВГЕНИЙ МИНИН. Колокольчики. <i>Стихи</i>	86
ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. Врач и изгнанная им жена. <i>Рассказ</i> . <i>Перевела с иврита Зоя Копельман</i>	89
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Есть место оптимизму. <i>Послесловие переводчика</i>	104
ХАМУТАЛЬ БАР-ЙОСЕФ. Жвачка. <i>Рассказ</i> . <i>Перевела с иврита Светлана Шенбрунн</i>	111

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

КОНСТАНТИН КИКОИН. Житьё во временном пространстве. <i>Стихи</i>	115
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ. Прошлое не отпускает. <i>Рассказы</i>	119
НАУМ БАСОВСКИЙ. Новые баллады	128
ГЕННАДИЙ МАЛКИН. Познать бесконечность. <i>Афоризмы</i>	134
КЕРЕН КЛИМОВСКИ. Банановый рай. <i>Рассказ</i>	136

ДОРОГА НА ХЕВРОН

ХАВА КОРЗАКОВА. «Счастье» уже тяжело писать без кавычек. <i>Стихи</i>	141
--	-----

УЛИЦА КАРМЕЛЬ

ЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ. Дождь. <i>Рассказы</i>	149
---	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

АЛЛА ШИРОНИНА. Всё наше здесь. <i>Стихи</i>	154
КАРИНЭ АРУТЮНОВА. Из цикла «Чужая линия». <i>Рассказы</i> ..	161
АЛЕКСЕЙ ИВАНТЕР. Над могилами Шварца и Каца. <i>Стихи</i> ..	165

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Из публицистики (1905–1906) ..	171
--	-----

УЛИЦА КОРОЛЯ ГЕОРГА

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ. Я дружила с акробатами. <i>Стихи</i> ..	214
---	-----

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

ВЕЛВЛ ЧЕРНИН. Домой, в Эрец-Израэль. <i>Фрагменты «Краткого очерка долгой истории поэзии на языке иврит»</i>	224
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Стихи разных лет. <i>Перевели с иврита Татьяна Соколовская и Михаил Польский</i>	234

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

МАРИНА МЕЛАМЕД, ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР. С праздником! <i>К восьмидесятилетию Вадима Левина</i>	243
ВАДИМ ЛЕВИН. Наблюдения мимоходом. <i>Стихи</i>	246

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

МИХАИЛ ГОРЕЛИК. Притчи о блудном сыне	248
КОНСТАНТИН КИКОИН. Каталоги Никольского	271

НОВЫЕ ВОРОТА

ЕЛЕНА ИГНАТОВА о сборнике Эдуарда Капитайкина	277
---	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	278
--------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (не заказным) письмом свои координаты
и чек на имя **Jerusalem Anthologia**
по адресу: **P. O. Box 32297, Jerusalem 91322**

или

перевести деньги на счет 215502, отделение 585, банк Апоалим
(Account 215502, Bank Napoalim, Branch 585 (Gilo), SWIFT: POALILIT),

уведомив редакцию о переводе по электронной почте:
jerusalemreview@gmail.com

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 180 шекелей, включая пересылку
В других странах – \$70 США, включая пересылку
Стоимость одного журнала:
в Израиле – 50 шекелей;
в других странах – \$20 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва),
Ольгу Аксютину (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила
Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую
(Кфар-Адумим), Инну Виняскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим),
Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея
Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана
(Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон),
Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петях-Тиква), Владимира
Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петях-
Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу
Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-
Ата), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа),
Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила
Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха
(Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Станислава Минакова
(Харьков), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед
(Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петях-Тиква),
Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда),
Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса
Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича
(Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского
(Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Александра Туркота
(Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила
Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петях-Тиква), Ехизля
Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит
(Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим),
Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим)
за поддержку журнала.

**Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью**

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2013 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,

«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»,

«Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»; Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»,

Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер», Ицхокас МЕРАС «На полпути»;

Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»; Лорина Дымова «Вальс в полночь»;

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,

Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Михаила ЗИВА, Владимира ДРУКА,

Феликса КРИВИНА, Семёна КРАЙТМАНА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

VLADIMIR KHANAN. Should I forget... *Poems*

JULIA WINER. Bygone and fibs (4). *Memoirs*

IGOR BYALSKY. Family affairs. *Monologues*

FELIX KANDEL. My home. *Short stories*

LEONID LEVINSON. Two short stories

EVGENY MININ. Bells. *Poems*

SHMUEL YOSEF AGNON. A physician and his wife banished by him.

Short story. Translated from Hebrew by Zoya Kopelman

ZOYA KOPELMAN. There is still place for optimism. *Translator's afterward*

KHAMUTAL BAR- YOSEF. Chewing gum. *Short story.*

Translated from Hebrew by Svetlana Shoenbrunn

JAFFA GATE

KONSTANTIN KIKOIN. Life in temporary space. *Poems*

SOPHIA SHEGEL. The past does not let me go. *Short stories*

GENNADY MALKIN. To perceive the infinity. *Aphorisms*

NAHUM BASSOVSKY. New ballads

KEREN KLIMOVSKY. The banana paradise. *Short story*

HEBRON ROAD

CHAVA KORZAKOVA. "Happiness" is hard to write

without the quotation marks *Poems*

KARMEL STREET

LINA GORODETSKAYA. Rain. *Short stories*

RUSSIAN COMPOUND

ALLA SHIRONINA. All ours is here. *Poems*

KARINE ARUTYUNOVA. An alien line. *Short stories*

ALEXEY IVANTER. Over Schwartz and Katz graves. *Poems*

ZHABOTINSKY STREET

VLADIMIR ZHABOTINSKY. From literary journalism, 1905-1906

KING GEORGE STREET

EKATERINA GORBOVSKAYA. I was on friendly terms with acrobats. *Poems*

DESIRED LAND STREET

VELVL CHERNIN. Coming home to Eretz Yisrael.

From "The Concise Treatise on the Long History of Hebrew Poetry".

URI ZVI GRINBERG. Poems of different years.

Translated from Hebrew by Michael Polsky and Tatiana Sokolovskaya

JUBILEE QUARTER

MARINA MELAMED, GRIGORY PEVZNER. Congratulations!

To the eightieth anniversary of Vadim Levin

VADIM LEVIN. Casual observations. *Poems*

MOUNT SCOPUS

MICHAEL GORELIK. Parables of the Prodigal Son

KONSTANTIN KIKOIN. Nikolsky's catalogues

NEW GATE

ELENA IGNATOVA on the new book by Edward Kapitaykin

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים

שער האריות

וולדימיר חנן. אם אשכח... – שירים
יוליה וויןר. היה ולא היה (4) – זיכרונות
איגור ביאלסקי. פרשת תולדות – מונולוגים
פליקס קנדל. ביתי – סיפורים
לאוניד לויןזון. שני סיפורים
יבגני מינין. פעמונים – שירים
שמואל יוסף עגנון. הרופא וגרושתו – סיפור. מעברית – זוויה קופלמן
זוויה קופלמן. יש מקום לאופטימיות – אחרית דבר מאת המתרגמת
חמוטל בר יוסף. מסטיק – סיפור. מעברית – סבטלנה שנברון

שער יפו

קונסטנטין קיקואין. החיים במרחב ההזמן – שירים
סופיה שגל. העבר אינו עוזב – סיפורים
נאום בסובסקי. בלדות חדשות
גנדי מלכין. לדעת אינסוף – אמריזמים
קרן קלימובסקי. גן עדן המוזי – סיפור

דרך חברון

חנה קורזקובה. "אושר" כבר קשה לכתוב בלי מרכאות – שירים

רחוב הכרמל

לינה גורודצקאיה. גשם – סיפורים

מגרש הרוסים

אלה שירונינה. הכול שלנו דוקא כאן – שירים
קרנה ארוטיונובה. מהמחזור "קו זר" – סיפורים
אלכסי איוונטר. מעל קבריהם של שוורץ וכ"ץ – שירים

רחוב ז'בוטינסקי

וולדימיר ז'בוטינסקי. מהפובליציסטיקה (1905-1906)

רחוב המלך ג'ורג'

יקטרינה גורבובסקאיה. הייתי ידידה של לוליינים – שירים

רחוב ארץ חפץ

וולוול צ'רנין. הביתה, לארץ ישראל.
קטעים מתוך "הסקירה הקצרה לתולדות הארוכים של השירה העברית"
אורי צבי גרינברג. שירים משנים שונות.
מעברית – מיכאיל מולסקי וטטיאנה סוקולובסקאיה

קריית היובל

מרינה מלמד, גריגורי פבזנר. מזל טוב!
לקראת הגיעו לגבורות של וודים לוין
וודים לוין. תצפיות בחטף – שירים

הר הצופים

מיכאיל גורליק. המשלים על בן אובד
קונסטנטין קיקואין. קטלוגים של ניקולסקי

השער החדש

ילנה איגנטובה על הספר החדש מאת אדוארד קפיטייקין

שמות

הדמויות והיוצרים

המוסד הקליטה שליד בית
הדין ל. פרץ 22 הפתח 533
ספריות
10024

ספרות ישראלית בשפה הרוסית
רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, זאב גייזל, רומן טימנצ'יק, וולוול טשרנין, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: הלנה ברלאנד, מיכאל בסין, דניאל בורשטיין,
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,
וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עיריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2013 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-5370087, 0544-745322, 02-9960302

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

